



---

**ЮРИЙ  
НАГИБИН**

---

**РАССКАЗ  
СИНЕГО ЛЯГУШОНКА**

**ЮРИЙ  
НАГИБИН**

---

**РАССКАЗЫ  
СИНЕГО ЛЯГУШОНКА**

**МОСКВА  
1991**

---

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО  
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ АВТОРА

### СОДЕРЖАНИЕ

Срочная командировка, или Дорогая Маргарет Тэтчер . . . . .	3
Рассказ синего лягушонка . . . . .	119
Постоянный подписчик . . . . .	151
Любимый ученик . . . . .	177
О Галиче — что помнится . . . . .	201
Голгофа Манделъштама . . . . .	295

**СРОЧНАЯ КОМАНДИРОВКА,  
или  
ДОРОГАЯ МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР**

*Рассказ*

---

Поездка оказалась трудной, куда более трудной, чем можно было ожидать. Хотя легкой жизни для себя Суржиков и не ждал. Вначале говорили, что поедут три человека: химик, электронщик и строитель. Но затем одну единицу сократили, а еще одну забрало Министерство культуры, поскольку там из руководства никто в Японии не бывал, оставили химика, ибо прямого специалиста по тому оборудованию, которое приобреталось, у нас не существовало. С таким же успехом можно было оставить электронщика, строителя или заменить их атомщиком. В Министерстве культуры работало немало толковых людей: бывшие агрономы, паровозники, инженеры-строители, корабелы, но и тут не повезло: на поездку оформился заместитель министра Олег Петрович, бывший директор фабрики мягкой игрушки. Он же, естественно, стал руководителем делегации.

Надо отдать ему справедливость: никакой помехи от него не было. Он в первый же день сам всё поставил на свои места. Когда они собрались в кабинете президента «Цибимуси» за кофе с коньяком и очень вкусными песочными пирожными, он внушительно сказал атлетически сложенному японцу с черным жестким бобриком, похожему не на предпринимателя, а на

борца сумо, чтобы по всем вопросам, связанным с технической стороной дела, обращались к Суржикову. «Не знаю, как в Японии,— добавил замминистра культуры,— но мы своим специалистам полностью доверяем». Его слова произвели большое впечатление на японцев. Они все встали, включая президента, и, сложив вместе кончики пальцев, стали отвешивать главе советской делегации глубокие поклоны. Олег Петрович не остался в долгу и с ловкостью, неожиданной в его громадном чреватом теле, отвесил каждому из присутствующих отменный японский поклон. Японцы осведомились, каковы будут пожелания высокого гостя. Ему нужны — переводчик, машина и шофер в полное распоряжение, на весь день. Кроме того, он привык два раза в неделю играть в теннис. Японцы, исполнившись еще большего уважения, спросили: нужен ли ему тренер. Нет, тренер не нужен, только организовать игру, найти партнера, да и хорошие мячи не помешали бы, он предпочитает шлезиингеровские.

Олега Петровича заверили, что все будет сделано, как он пожелает. После этого последовал новый обряд поклонов, в котором сквозь традиционность выверенных жестов и поз проглядывала неподдельная сердечность, и Олег Петрович отбыл, шутливо попросив хозяев «не обижать его мужика». Японцы, обнажая в улыбке крупные белые искусственные зубы, снова кланялись и продолжали это делать, когда глава делегации скрылся за дверью.

Работать с японцами оказалось, с одной стороны, приятно, с другой — довольно обременительно. Приятно, потому что они были очень вежливы, никогда не повышали голоса, готовы

по десять раз объяснять одно и то же, к тому же со стола не сходили пиво, кока-кола, кофе, маленькие бутербродики, у нас их называют «пыжи», и хрустящее печенье. Суржиков столько выпивал жидкости и всего съедал, что обходился без обеда, кроме тех случаев, когда его приглашали пообедать за счет фирмы. Завтрак, очень легкий, «европейский»: хлеб, масло, джем и кофе с молоком — входил в оплату номера, на ужин Суржиков открывал баночку консервов, которые привез из дома. Был у него и кипятильник, а пакетики с чаем и сахаром он сохранял от завтрака. Словом, с питанием затруднений не было. Сложность работы заключалась в том, что почти к каждому слову надо добавлять «сан», а значит, и помнить об этом, а голова у Суржикова была чисто техническая, рассчитанная на цифры, формулы, точные умозаключения, и очень слабая на всякую гуманитарную: он не знал наизусть ни одного стишка и затруднялся в подборе отвлеченных слов, к тому же ему мешала некомпетентность в деревообделочной и пищевой промышленности. Он, конечно, запасся литературой и пользовался каждой возможностью подрастрясти общительных японцев на интересующие его темы, но эта самодеятельность не могла заменить специальных знаний. Выручало Суржикова — во всяком случае, спасало от грубых промахов — то, что он был гением, ничуть об этом не догадываясь. Будь у Суржикова условия для научного творчества, он бы потряс мир открытиями. Но таких условий у него не было. Более того, на работе смутно догадывались, что у Суржикова в черепушке содержится что-то необязательное для ведущего специалиста, избыточное и даже опасное, и потому старались максимально загрузить его,

заморочить, чтобы отвлечь тайные умственные силы от попыток воплощения. В людях говорил бессознательный инстинкт самосохранения,— известно, что мании одних не приносят счастья другим,— и тайная боязнь чужого возвышения. Разносторонностью и невезучестью Суржиков напоминал Леонардо да Винчи, конечно, не художника, а технаря. Рисовать Суржиков не умел, равно ваять и играть на лютне, да и к отвлеченному умствования не был склонен, но широтой изобретательского дара не уступал великому флорентийцу. Если Леонардо большинство своих открытий доводил только до чертежа или рисунка, то Суржиков останавливался еще раньше: на мысленном, к тому же недодуманном представлении. Порой — на первом озарении. Домыслить и перевести хотя бы в чертеж не хватало времени: постоянно сверхурочная работа, общественные обязанности. А не мешали бы Суржикову, у нас были бы синтезированы новые химические вещества, открыто средство против СПИДа, построен автомобиль с вечным двигателем, налажен пошив костюмов из антиматерии, черные дыры превращены в хлопковые поля, а не наоборот, как было до сих пор. Повторяю, Суржиков не догадывался о своей умственной неординарности, он думал, что у всех так, к тому же по службе не слишком преуспевал, что отражалось и на его семейном авторитете, в доме главенствовала жена. Слепота к своей тайне освобождала Суржикова от мук нереализованности.

Омраченность Суржикова в Японии шла не от деловых сложностей, тут он как-то справлялся, но промелькивали дни, а он так и не мог выбраться в магазин. Жена дала поручения, ко-

торые он обязан выполнить. Ему было наказано не возвращаться без ползунка для младшей, без носочков, трусиков и башмачков для старшего. А еще она велела привезти ей батник, беретку синюю и, если есть в Японии магазины уцененных товаров, то какой-никакой плащик. Это была программа-минимум. Ни сам Суржиков, ни тем паче его жена не имели представления о японских ценах. И как назло, у них не было ни одного знакомого, побывавшего в Японии. А люди, болтавшие с чужих слов, противоречили друг другу: одни уверяли, что Япония самая дешевая страна в мире, часы «Сейко» — один обед, проигрыватель — два обеда; другие же уверяли, что в Японии все очень дорого, особенно навывоз. Суржиковы сбили себе сон, обсуждая по ночам эти проблемы. Как люди не избалованные жизнью, они решили исходить из высоких цен и составили очень скромный список. Суржиков записал в блокнотике размеры детских вещей, объем бедер, талии и бюста жены. Перед самым его отъездом жена, как-то девичьи розовея, сунула Суржикову бумажку, где он с удивлением обнаружил костюм женский-джерси, кимоно, две пары колготок, дамские часики и мужскую обувь на осень — это ему. «Можно раз в жизни помечтать», — застенчиво сказала она. Суржиков был тронут ее вниманием, хотя отлично понимал, что даже при самой строгой экономии и демпинговых ценах его денег хватит, дай бог, на самый скромный список.

И вот катятся дни, он сидит в Токио, в самом центре, из окон видны неоновые рекламы магазинов, гигантских универсамов, набитых товарами вразрыв, а он только облизывается, тратя золотые часы на улыбающихся во всю пасть и,

как неожиданно оказалось, очень несобранных, порой до растерянности, японцев. Да у них бардак почище нашего! — удивлялся Суржиков. В последнем он глубоко заблуждался. Он мерил японцев на привычный аршин, по обычаям страны, где нет ничего своего, кровного, кроме семьи, все общее, государственное, то есть ничье. Наша путаница, бессмыслица, неразбериха и волокита идут от безразличия, помноженного на некомпетентность, коренящуюся в том же равнодушии, нежелании сделать поступательного, творящего усилия. Другое дело японцы — они все были специалистами, до тонкости знавшими свое дело, и работали на фирму, которой были преданы не меньше, чем жене и детям. Преуспевание фирмы гарантировало им высокие оклады, регулярное денежное поощрение, и даже самые маленькие служащие не отделяли себя от хозяев дела. Поэтому они старались надуть Суржикова, сразу обнаружив его неосведомленность в ряде позиций, необходимых для оформления сделки. Их очень устраивало, что глава торгово-промышленной делегации устранился от участия в делах, ибо сразу поняли, что он малый не промах и, даже не имея ни о чем понятия, может создать куда больше осложнений, чем самый квалифицированный специалист. И неприятной неожиданностью для этих дельцов оказалось, что скромный, всего стесняющийся и, видимо, не преуспевший у себя на родине инженер, к тому же без языка — переводчик, нанятый фирмой, не столько помогал ему, сколько пытался запутать, — непостижимым образом разрушал их хитро-сплетения, имевшие целью прибавить к тем ста миллионам долларов, которые они получали за свой товар, еще миллиончиков десять. Японцам

в голову не могло прийти, что они схватились не с насморчным заморышем в поношенном полушерстяном костюме, застиранной рубашке и безвкусном розовом галстуке, а с тем, кого при жизни называли Божественный Леонардо. Суржиков начал переговоры почти в полной слепоте, но с каждым днем прозревал. Он понятия не имел ни об устройстве «Системы», ни о правилах установки и эксплуатации, но по ходу переговоров изобретал ее наново и все отчетливей видел, как все должно быть. Единственное, чего не мог ухватить гениальный мозг Суржикова: зачем нужна нашей стране циклопическая машина по производству деревянных палочек, заменяющих обитателям земель, откуда восходит солнце, вилки и ложки. От Москвы до самых до окраин, насколько Суржикову было известно, существовал один-единственный китайский ресторан «Пекин», но ему не освоить продукции «Системы»: полтора миллиарда палочек в день. Для этого надо, чтобы все население Советского Союза, от грудных младенцев до истлевающих старцев, трижды в день поглощало японо-китайскую еду. Но не исключено, что мы будем сбывать палочки через СЭВ социалистическим странам в обмен на пароходы, порталльные краны, редкие металлы, обувь, помидоры, мороженую клубнику и вино «Саперави», изготовляемое по нашей лицензии. А есть ли в социалистических странах японские и китайские рестораны — роли не играет, должны брать, коль вошли в СЭВ и пользуются его преимуществами. Но это Суржикова не касается, его дело — обеспечить доброкачество покупки.

Отдавая свое время и мозг единоборству с фирмой (наивному Суржикову это казалось пре-

одолением расхлябанности), помыслами он был далеко от ристалища: в универсамах, у прилавков; он рылся в больших коробах, набитых бросовой продукцией в одну цену, растягивал резинки детских трусиков, мял в руках теплые полтунки, прикидывал к себе батники, гладил скользкую прохладную ткань кимоно. Мозговые извилины автоматически делали свое дело, но душа витала далеко, сморщиваясь и съеживаясь все сильнее с каждым днем от горького разочарования: ему не вырваться в единственно влекущие пределы.

Фирмачи чувствовали, что с тихим, хотя и настырным человеком, которого они, пройдя через незлое презрение, снисходительную иронию, смущение, оторопь, начали уважать и даже побаиваться, не теряя надежды объехать хитрым японским колесом, происходит что-то неладное. Он и с первого знакомства не выглядел весельчаком, а тут вовсе разучился улыбаться, а пиво стал пить с алчностью, вызываемой не жаждой, а желанием что-то заглушить в себе. Они вспомнили, что все русские — пьяницы, и попытались использовать открывшуюся так кстати слабинку Суржикова. Теперь к кофе регулярно подавалась бутылка «Мартеля». Гость пошел на провокацию, но хозяева вскоре убедились, что его пронзительный технический ум только обостряется от поспешного и неопрятного вплескивания в рот жгучей жидкости, и коньяк отменили. А Суржикову решили чисто по-человечески помочь. Ему предложили на выбор: шоу с раздетыми девочками, с полураздетыми, с одетыми, но играющими на лютне, чайный домик с гейшами, порнокино, дискотеку, борьбу сумо, ресторан, где готовят живую рыбу прямо на глазах у заказчика,

ресторан, где подают сырое мясо громадных черных быков, вспоенных пивом и сбитых мощным массажем чуть не в пену, ресторан с сукияки и шабо-шабо на угольном мангале, турецкую баню с женским обслуживанием и «спешиэл» — все, разумеется, за счет фирмы. Суржиков холодно отказался. Он ненавидел капиталистов и не верил ни одному их слову. Ему внушили в молодости, что с капиталистами можно делать дела, но верить им нельзя ни на грош. Враг силен и коварен, у него нет иной цели, как погубить социализм. Болтун — находка для шпиона, а чтобы выведать наши секреты, они пойдут на все, особенно — ради самого сокровенного секрета, что у нас никаких секретов нет. Суржиков прекрасно понимал, что капиталисты хотят соблазнить его, и решительно отверг все коварные приманки.

Японцы недоумевали. Потом решили, что Суржиков нездоров, и наперебой стали предлагать ему разные лекарства: от желудка, печени, почек, сердца, давления, простуды, мигрени. Но и на эту приманку Суржиков не клюнул, прекрасно зная, каким запасом наркотических, расслабляющих волю, подавляющих психику советского человека средств располагают враги.

Один из наиболее наблюдательных фирмачей обратил внимание на то, что Суржиков не ходит обедать, отговариваясь сытостью: «набил курсачек (переводчик долго не мог докопаться до простого смысла этого слова — желудок) орешками и печеньем». Что может быть вреднее? Фирмачи отменили все заедки к кофе, потом отменили и пиво. Два дня Суржиков крепился: не тратить же конвертируемую валюту на жратву, но потом проглянул еще одну хит-

рую провокацию. В газетах напишут, что советская власть морит голодом своих специалистов. Вот, мол, до чего доведена техническая интеллигенция в стране зрелого социализма.

Суржиков быстро просчитал варианты. Отсидеться в уборной весь обеденный перерыв можно; там чисто, уютно, хорошо пахнет, приятный матовый свет, горячая вода, сушилки, несколько разных одеколонов — бесплатно, только нажми кнопку, тихая, убаюкивающая музыка, но если засыплешься — сраму не оберешься. Просто побродить по улицам, посмотреть витрины — опять же засекут. Зайти в магазин? Во-первых, магазины тоже закрываются на обед, кроме гигантских универсамов. Но если он туда зайдет, то уже не выйдет. Это будет выше его сил. Так рисковать нельзя. Цепкая зрительная память подсказывала, куда направить стопы. Когда их везли из аэропорта, он заметил в китайском квартале, очень бедном и запущенном, харчевню с серебряным драконом на грязном стекле. Даже не зная цен, можно смело сказать, что это найдешевейшая забегаловка в Токио. Там питаются забитые китайские кули, последние на социальной лестнице. Он попытался представить себе, где это находится. Получалось довольно далеко. Но если бегом? Он вполне успеет. Не покажется ли окружающим странным, что советский специалист бежит по городу, как спринтер или стайер? Чепуха! Бег трусцой узаконен во всем мире. Убегаю от инфаркта, с усмешкой скажет он, если кто прицепится.

И в следующий обеденный перерыв он осуществил свое намерение. Он не сомневался, что найдет это место, причем кратчайшим путем, хотя совершенно не знал города, а карты у него не

было. Он не осознавал эту свою способность ориентироваться на незнакомой местности как некое данное ему преимущество, он полагал, что все люди устроены так, равно как не видел и других отпущенных ему природой редких свойств.

Японцы, в отличие от европейской толпы, привыкшей ничему не удивляться (в Париже можно выйти на улицу голым, никто бровью не поведет), сохранили свежесть взгляда, и стремительно бегущий по раскаленной улице представитель белой расы в тяжелом костюме, с поношенным портфелем в руке вызывал на их лицах недоуменную усмешку. Иные улюлюкали, впрочем беззлобно. Суржиков не оглядывался.

Он знал, что найдет харчевню, и он ее нашел. Не нашел даже, а выбежал прямехонько на нее. В маленьком залеце на четыре-пять столиков было пусто и темно. Уличный свет едва просачивался сквозь грязноватые занавески. На буфетной стойке патефон хрипел тремя веселыми поросятами. Рядом на высоком табурете подремывал старый китаец. Когда Суржиков, усаживаясь за столик, двинул стулом, китаец открыл обманные красным, слезящиеся глаза, тупо уставился на вошедшего, будто не мог взять в толк: во сне или наяву явился ему этот посетитель — европейцы сроду сюда не заглядывали, затем сполз с табуретки, взял с соседнего столика меню и положил перед Суржиковым. Тот не затруднился выбором: просто ткнул пальцем в самое дешевое блюдо. Старик вздохнул и потащился на кухню, палками ставя ноги в широких китайских штанах. Проходя мимо патефона, он покрутил ручку и поставил поросят сначала.

Вернулся он почти сразу с миской похлебки. Большой палец, загнуто окогченный, находился

и пределах заплеска красноватой жидкости. Ложка была обернута в обрывок тонкой бумаги, напоминающей пипифакс. Он о чем-то спросил Суржикова, тот отрицательно мотнул головой. Наверное, поинтересовался, чего он будет пить. Чего, чего, а ничего, вот чего!..

Чуть теплая похлебка была так круто заправлена соей, что вкуса ее Суржиков не почувствовал, быть может, к лучшему. Он быстро очистил миску, расплатился, пересчитал сдачу и кинулся в обратный путь. И пока он бежал, расталкивая прохожих, по мягкому, поплывшему асфальту, он все время мучился мыслью, что проел детские носочки, а может, и лифчик для жены. Успел он вовремя.

Меж тем бесполезно истаивала вторая неделя, а Суржиков так и не попал в магазин. На субботу — воскресенье его возили в старую столицу Японии Киото, где показывали разные, но для Суржикова одинаковые храмы и таинственный дом, где обитал потомок клана ниндзя — «умеющих нападать и защищаться». На улицах, площадях и особенно в парках города было очень много черноголовых неотличимых скромно-веселых и прекрасно — весело, ярко — одетых японских детей. Среди них было немало однолетков его сына, и Суржиков пригорюнился, почему дети этой нации, проигравшей войну, ошарашенной двумя чудовищными атомными взрывами, не имеющей ни нефти, ни других полезных ископаемых, зато постоянно терзаемой тайфунами, цунами и другими стихийными бедствиями, так нарядны и ухожены, что его сынишка выглядел бы среди них оборванцем. И дочка его — нищий грудняк. А он с женой, что ли, лучше выглядят? Тоже нищие. И вот сейчас,

когда появилась первая и последняя возможность чуть подлатать дыры, он не может прорваться в магазин и каждый день съедает с красной пересоенной похлебкой, в которой старик-китаец купает свой грязный когтистый палец, нужную для семьи вещь. Сколько он уже сожрал носочков, трусиков и подгузников? И хотя Суржиков был человеком, закаленным в терпении, несопротивляемости и рабьей покорности, хотя обобранность его гражданским чувством, неспособность думать о своей жалкой судьбе и социальной несправедливости приближались к абсолюту, ему впервые показалось, что не все так прекрасно в том лучшем из миров, где он приговорен жить.

Суржиков решил, что если не случится чуда, то в конце недели он угробит все свои деньги в первом попавшемся универсаме: не сдавать же ему в бухгалтерию эти несчастные иены. Себе он, разумеется, ничего не купит, но ребятам привезет все, что задумали, и жене наскребет на батник и пару колготок.

Приняв это решение, он с омраченной душой — разбилась еще одна хрупкая надежда бедняка — продолжал сражаться за государственный карман. Упрямые японцы, хотя и убедились в железной стойкости Суржикова, не оставляли попыток вырвать для фирмы добавочную выгоду. Они не впервые имели дело с «товарищами» и привыкли к тому, что агрессивная деловитая алчность тех рано или поздно скисает то ли от непривычки к труду, то ли от равнодушия. Ведь по-настоящему люди борются только за свой карман. Суржиков нарушал сложившийся стереотип мышления, с этим нельзя было согласиться.

Но время стремительно убывало, и фирмачи и Суржиков неотвратно приближались к гавани разбитых надежд, и тут вмешалась третья сила, о которой все как-то подзабыли, благо она ничем не напоминала о себе.

В четверг вечером в номере Суржикова раздался телефонный звонок, повергший его в панику. Он был уверен, что это очередная провокация, и долго не брал трубку. Но телефон звонил неумолимо, и нервы советского командированного не выдержали: а вдруг ему придется оплачивать из своего кармана эти долгие гудки? Узнать, что он находился в номере, ничего не стоит, значит, он сознательно не брал трубку, а коли так — плати. От общества, где все продается и покупается, не жди пощады.

Суржиков снял трубку и, зачем-то изменив голос, произнес тихо и хрипло:

— Алё.

— Ты что там — с гейшей залег? — ворчливый, но благодушный разлив знакомого вальяжного баритона теплом разлился по жилам Суржикова.

— Извините, Олег Петрович, в туалете сидел.

— Ну силен! Я уже полчаса звоню. Видать, здорово тебя японцы кормят.

— Нет, Олег Петрович, я на свои питаюсь. Раньше хоть орешки давали, а сейчас пустой кофе.

— Капитализм,— вздохнул Олег Петрович.— У нас в магазинах пусто, а на столе густо, а у них наоборот. Вот что, ты можешь ко мне заглянуть?

Суржиков надел пиджак и спустился в бельэтаж, где находился люкс руководителя делегации.

В номер он едва пролез: прихожую и часть холла загромождали разного рода аппетитные ящики из серого гладкого картона с красивыми наклейками. Неделikatно было приглядываться к ним, но в глаза сами лезли яркие знаки фирмы «Санио» и «Сони», в ящиках находилась видео-аппаратура, магнитофоны, проигрыватели, усилители, стереотумбы. Олег Петрович тоже неплохо поработал за минувшие дни.

Сам он щеголял в черном шелковом, лоснящемся, как шерсть орловского рысака, кимоно с белыми отворотами на рукавах. На столике в холле стояла полупустая бутылка коньяка «Наполеон», ваза с фруктами, конфеты.

— Хочешь выпить? — спросил Олег Петрович.

Суржиков отказался: завтра последний и самый ответственный день — подписание бумаг.

— А как там дела? — поинтересовался Олег Петрович, закуривая сигарету «Кент».

— Нормально. Как условились, так и отдают.

— А скидки не делают?

— Какая скидка? — У Суржикова глаза на лоб полезли.— Я бился, чтоб за старую цену все в комплекте получить. У них такая бестолковщина: или недодать, или лишнего запросить.

— Не такая уж это бестолковщина,— улыбнулся Олег Петрович.— Ты отоварился?

— Ни разу в магазин не зашел.

— Ну, брат, ты комик. Разве можно все на последний день оставлять? Мне тут помогали: и японцы, и посольские хлопцы, и то я половины не купил. Знаешь, перенасыщенность товарами так же плохо, как и «дюфцит».— Слегка вытянув губы, Олег Петрович скопировал Райкина.— У нас глядеть не на что, а тут глаза разбегаются.

Не знаешь, за что хвататься. И того хочется, и этого. Я, конечно, наглупил, погорячился. Не спросясь броду, сунулся в воду. Мы ведь дикари. Для нас «Сейко» и «Сони» — выше крыши, а для японцев — вчерашний день. Это все,— он махнул рукой на ящики с аппаратурой,— просто барахло — подарки музыкальных коллективов. Да ведь дареному коню в зубы не смотрят. Раздам в Москве.

— А что это за музыкальные коллективы? — спросил Суржиков, забывший, какое ведомство представляет Олег Петрович.

— «Фудзияма», «Треснутые гитары», «Голубая горлинка» и «Фью-фью». Слышал, наверное, они у нас гастролировали. Мы договорились о новых гастролях. Знаешь, у меня состоялась встреча с профессором Кусака.

— А кто он такой?

— Ну, Суржиков, ты даешь! Главный босс сумо. Он открыл Китанофудзи и самого Тайхо. Мультимиллионер, но очень прогрессивный. Он готов прислать большой гукихан, или как там по-ихнему, борцов и сам приехать, если ему отведут этаж гостиницы. Ну, это мы, конечно, сделаем.

— А чем им будут платить? — Суржикова это ничуть не интересовало, само спросилось.

— Нефтью, газом, зеленым шумом наших дубрав. Природных богатств России хватит на всех борцов сумо и еще останется. Ладно, я тебя не для того вызвал. На подписании документов можешь не присутствовать. Отпускаю тебя на весь день. Топай прямо в «Судзуки», знаешь, громадный универсам в Гиндзя. Там спокойно отоваришься. Понял?

— Понял. Спасибо. Мне бы хоть пацану...

— Не кашляй. Все купишь. Самый дешевый и насыщенный магазин. Детские вещи на первом этаже, женские на втором и третьем. Фирменные — на шестом, но там тебе делать нечего. Пойди-ка сюда. Я думал выбросить, а потом о тебе вспомнил.

Олег Петрович поманил Суржикова в ванную комнату. Она была вся в зеркалах, а сама ванна утоплена в мраморном полу. Оба вошедших отразились в бесчисленных блестящих плоскостях, даже потолок был зеркальный. Суржиков не помнил, когда он в последний раз смотрелся в зеркало. С тех пор как он стал бриться электрической бритвой «Пионер», он, наверное, ни разу не видел себя в зеркале, тем паче в рост. Конечно, он отражался в окнах, в стеклянных дверях и витринах магазинов, в зеркалах общественных уборных и лужах, но никогда не приглядывался к своему отражению. А здесь он пялился на себя со всех сторон, попробуй не заметить. Суржиков знал, что он не принц и не маркиз, но все же не ожидал, что настолько плюгав. Его мизерность, приплюснутость, серость подчеркивались ростом, дородством и статью Олега Петровича в вороном кимоно. Эк же ты выветрился, изжился и обносился, дорогой товарищ Суржиков!.. Он вспомнил нарядных, раздушенных, скрипящих от промытости японцев, с которыми вожжался чуть не две недели, как только терпели они рядом с собой такого помоечного человека! И твердо решил купить себе рубашку и галстук, чего бы это ни стоило.

Олег Петрович показал Суржикову десятка полтора пластмассовых безопасных бритв с лезвиями, небрежно валявшихся на стеклянной полочке.

— Знаешь, что это? Бритвы одноразового пользования. Их дают бесплатно в самолетах, турецких банях и туалетах дорогих ресторанов. А бреют лучше любого «жилетта». Хочешь, возьми на подарки. Наш человек такой бритвой раз десять побреется.

— А вам они не нужны?

— Я ими уже пользовался.

— А на подарки?

Олег Петрович внимательно поглядел на Суржикова и понял, что не ирония — само смирение говорит устами этого невзрачного человека. Он ответил мягко:

— У меня есть что подарить друзьям.

Он взял бритвы и ссыпал их в красивый полиэтиленовый мешочек с изображением танцующей японской девушки на фоне Фудзиямы.

— Мешочек — это отдельный подарок, — предупредил он.

Суржиков поблагодарил так душевно, что расстроганный Олег Петрович сделал подарок ему самому: упаковку персиковой жвачки. Суржиков тут же сообразил, что этим он ублаготворит женскую часть отдела, обеспечив мужскую — бритвами. Хотя жена предупреждала: никаких сувениров этим стукачам, он сильно беспокоился, как бы такой нетороватостью не навлечь на себя еще большую ненависть со стороны сослуживцев. Но не мог же он тратить на это собственные средства. Щедрость Олега Петровича снимала все вопросы.

Руководитель делегации присоединил к подаркам наставление. Девиз советского командированного за рубежом: ничего не оставлять врагу. Уезжая, надо забрать из туалета гостиничное мыло, шампунь, трубочку с одеколоном, пипи-

факс, моечное средство для ванны и умывальника, бумажные салфетки и одоратор, из комнаты следует взять металлическую пепельницу с названием отеля — они предназначены для рекламы; перед самым отъездом выгрести из холодильника все бутылочки с виски, джином, коньяком, водкой, кампари, мартини, шампанским, сухими и креплеными винами — пусть оплатит фирма.

— Некоторые наши туристы, — поучал Олег Петрович, — выдирают розетки, выключатели и штепсели, вывинчивают лампочки, иногда вместе с патроном, срывают со стены градусники и барометры, но я лично против этого. Несколько плечиков из платяного шкафа, рожок для обуви — куда ни шло. В конце концов, мы же цивилизованные люди.

Суржиков заверил, что не польстится на такую мелочевку. Но в холодильниках, помимо бутылочек, есть палочки сухого печенья, орешки и жареная картофельная летучка в полиэтиленовых мешочках, как с этим поступить?

— В баре не оставлять ничего, кроме холодильного устройства и полок, — веско сказал Олег Петрович.

Похоже, начинали обрисовываться те чудеса, которые связываются с понятием зарубежья и были наглухо закрыты для Суржикова до сегодняшнего вечера. Преисполненный благодарности к своему руководителю и не зная, как ее выразить, он спросил юношеским голосом:

— Олег Петрович, а вы видели Леонида Ильича?

— Сколько раз!

— И близко?

— Как тебя, — улыбнулся тот.

— А какой он?

Считая неприличным говорить о вожде в санузле, Олег Петрович надавил животом на Суржикова и вытеснил его в холл. Он подошел к столу с коньяком и разлил по рюмкам смуглый напиток.

— Он великий коммунист. За Лёню!

Мог ли вообразить Суржиков, что ему придется так интимно пить за первого человека в государстве? От сладкого и ошеломляющего приближения к средоточию власти у него закружилась голова раньше, чем в нее ударил крепкий французский коньяк.

— Зажри.— Олег Петрович подтолкнул к Суржикову шоколадный набор, сам же занюхал тост долькой лимона.

— Понимаешь, Суржиков, Лёня открыл главное: путь наступления коммунизма. Он не теоретик, как покойный Сталин, и не раскладывает все по полкам, а осуществляет на практике интуитивно открытый им закон. Коммунизм не может наступить сразу для всех — это утопия. В Леониде Ильиче сочетается художник с практиком, он знает промышленность, и он воевал, был на советской работе, партийную прошел снизу до самого верха, это дало ему громадный опыт и мудрость. Коммунизм должен осаживаться на землю, как туман. Знаешь: сперва накрылись верхушки деревьев, потом вся крона, потом стволы, наконец, травы и цветы, и вот уже он простерся по самой земле, все сущее ушло в него. Сейчас начальный момент: земля еще в социализме, а верхушка общества уже подернулась туманом коммунизма. Хрущ хотел отнять дачи, машины, закрытые распределители и все привилегии у номенклатуры, он хотел убить коммунизм, хотя пророчил его на восьмидесятые годы.

Видать, думал войти в него с доярками, ткачихами и работягами-алкашами. Он идеалист-волонтерист. Не отнимать надо, а дать как можно больше верхушечным людям, удовлетворить все их потребности и запросы, не ставя этого в зависимость от труда — осел, может, больше всех трудится, а все равно осел. К тому же кому дано вычислить количество трудовой пользы, которую приносят самим фактом своего существования, пребывания в мире люди, стоящие ближе к солнцу? Если вернуться к моему сравнению, а оно верное, потому что правильное, сейчас туман коммунизма покрыл самый островершек: Лёню, его семью и самых близких к нему людей. Следующий виток — туман сойдет ниже, в коммунизм вступят Лёнины соратники со своими семьями и окружением и так далее. Чем ниже ярус, тем шире круг охвата, но все происходит постепенно. Ведь нельзя же всем скопом входить в неизвестное, неведомое и неопробованное. А сейчас коммунизм уже обживаетея, наполняется теплом и дыханием. Народ будет погружаться в него не как в склеп, а как в уютное человеческое жильё.

— Вот бы взглянуть одним глазком на коммунизм, — мечтательно сказал Суржиков.

— Ну и гляди, кто тебе мешает. Гляди на Леонида Ильича, вот человек, живущий при коммунизме. Он дает по возможности, а получает по потребностям. Очень высоким, Суржиков, очень! Недавно ему хотели «Октябрьскую революцию» дать, чтобы поднять престиж ордена, — закапризничал: не возьму, хочу Золотую звездочку. Седьмую там или восьмую по счету. И учли его потребность, дали.

Суржиков вернулся в свой номер исполненный телесной приобщенности — через Олега

Петровича — к «Лёне», как он с замиранием сердца называл про себя великого коммуниста, десантника будущего, заброшенного негласным волеизъявлением народа в тот светлый рай, где все по потребностям и ничего по труду.

А на другой день он погрузил дрожащие от нетерпения руки в короб с детскими трусиками, слюнявчиками, фартучками, лифчиками, рубашками и шапочками, похожими на жокейские, головными платочками для девочек, шейными для мальчиков, галстучками и какой-то сбруей из байки, назначения которой Суржиков не знал. И была масса разноцветных платочков, похожих на носовые, но слишком нарядных, чтобы в них сморкаться. И стоил каждый предмет... полдоллара в переводе на знакомую валюту. Что там ни говори, а капитализм — это рай, — сладостно пискнуло в душе Суржикова, но мгновенно сработал диалектический карабин, удержавший его от падения в идеологическую бездну. Обман все это, хитрый обман. Как может детское платьице идти в той же цене, что подгузник или пара носочков? Значит, все наоборот: носочки и подгузник идут в цену платья и остальные дешевые вещицы подымаются до этой цены. Экономически и психологически тонкий ход. И лишь советскому человеку, владеющему марксистским методом, дано проглянуть истину: самая дешевая вещь идет в цену самой дорогой. Крайне низкая себестоимость изделий — и соответствующее качество — позволяют проделать этот нехитрый трюк.

Восторг Суржикова несколько поубавился, но плотная, теплая, мягкая реальность вещей под его пальцами вернула ему радость, правда без эйфории. И слава богу, а то он мог наделать глу-

постей. И все же нервозность сильно мешала ему поначалу. Он нашел чудный синий с красной полоской носочек, но никак не мог отыскать ему пару. Раз за разом перерывал он всю кучу, носочка и след простыл. У него мелькнула бредовая мысль, что второй носочек кто-то взял для своего ребенка-инвалида. Да нет, глупость какая! Все равно человек заберет оба носка, ведь один носок не стоит дешевле. Он взял себя в руки и еще раз спокойно, вещь за вещь перебрал короб. В какой-то миг он заметил, что за его спиной образовалась очередь, он мешал другим покупателям копаться в коробе. «Пусть привыкают, — злорадно думал Суржиков, — социализма никому не избежать». Второй носочек упорно не находился, и очередь за плечами Суржикова покорно нарастала. «Ничего, это полезно. Мы шестьдесят с гаком из очередей не вылазим, и вас не убудет. Больно шустрые стали — швырк-швырк — и все в руках! А кто вас от фашизма спас? — заговариваться можно и про себя. — Как за свободу и независимость — так Суржиков, а как уцененка — пошел вон!..» По счастью, второй носок нашелся, он запрятался в подгузник, и Суржиков избежал нервного срыва.

Теперь дело пошло толковее и быстрее. Он уверился, что короб у него не отберут, а очередь за плечами не смущала ветерана. Суржиков так и не узнал, что самые влиятельные газеты посвятили этой очереди в крупнейшем столичном универсаме серьезные и глубокие статьи, анализирующие природу нового социального явления.

Суржиков отобрал еще три пары носочков для дочери, два подгузника, несколько замешкался с ползунками, они были на разные сезоны, но вдруг сообразил, что может позволить себе

взять байковые на зиму, фланелевые с подстежкой на осень и весну и легкий, из сквозной, дышащей ткани — летний. Он по завязку обещал своему наследнику трусиками, майками, рубашками из синтетики, не поскупился на шортики с трехцветным ремешком и белый вязаный свитерок с надписью через всю грудь: «Ай лав Дженни».

Когда Суржиков отвалился от короба, за ним колыхалась толпа и, деликатно разывая ее, катилась тележка с новыми бросовыми товарами. Администрация магазина с присущей японцам способностью быстрого реагирования сразу отозвалась на непредвиденный бум.

А Суржиков, расплатившись за покупку и получив в премию бумажного тигра, уже шурувал в корзине с детской обувью. Но теперь он во всеоружии опыта не порол горячку, а умело вытягивал из перепута вещей самое лучшее. Отсюда Суржиков перешел в женский отдел и застрял тут надолго, но в результате выполнил все пожелания жены: костюм-джерси, плащ, батник, беретка синяя, две пары колготок составили роскошную упаковку, повысившую самоуважение Суржикова. Купил он и дамские часики «Сейко» и на свой страх и риск — туфли на модном каблуке. Затем подался в мужской отдел и вышел оттуда счастливым обладателем кремовой рубашки, в тон ей галстука и мужской обуви «на осень». И тут он почти с испугом обнаружил, что осталась довольно крупная сумма.

Он стал обходить магазин по этажам, заглядывая во все отделы, даже в такие, куда с его деньгами нечего и соваться. Лучше бы он этого не делал. Человек, никогда не имевший хороших вещей, считанное число раз перешагивавший по-

рог промтоварных магазинов, которые не могли пробудить интереса к материальной стороне жизни, закрученный колесом однообразных и всепоглощающих обязанностей, он открыл для себя сияющий, сверкающий, блещущий, переливающийся невысказанными красками вещный мир. Лучше не знать, что все это есть, а главное, что есть люди, которые любую вещь могут сделать своей. Невольно думаешь, а чем же ты так проштрафился, чем провинился, что для тебя все это под замком?

Господи, чего тут только нет! Сотни разных магнитофонов и проигрывателей, радиоприемники — от спичечной коробки до шкафа, телевизоры-малютки и телевизоры-гиганты, колонки парные и счетверенные; тысячи систем часов: для мужчин, женщин, детей и младенцев, для плавания, подводной охоты, скалолазания, бега трусцой, часы для женихов и невест, часы-кастеты для гангстеров, будильники с боем, с пением, с музыкой, со звоном и ласковым шепотом: пора вставать, пора вставать. И вдруг он обнаружил, что некоторые из этих дивных вещей ему по карману. Открытие почему-то не принесло радости, а повергло в грусть.

До самого вечера разъезжал Суржиков на эскалаторах по магазину, не в силах сделать выбор. Перед ним проплывали малолитражные машины «хонда», «тойота», «дацун», гигантские рогатые мотоциклы, мопеды и велосипеды, сверкающие никелированными частями, на него пялились бесчисленные объективы кино- и фотоаппаратов невысказанных конструкций, таинственно мерцали в матовом сумраке скрыто подсвеченные меха, лакированным многоцветьем били по глазам фантастические детские игрушки.

Суржиков понимал: что бы он ни купил, все будет самоволкой, которая не сойдет ему с рук. Но санкционированные покупки он все сделал, и, хочешь не хочешь, придется выбирать. Ни в коем случае нельзя брать ничего такого, в чем проглядывала бы его собственная заинтересованность, пусть вещь будет и для семьи: фотоаппарат или магнитофон. Тема: только о себе думаешь — была самой ходовой в доме, хотя Суржиков никогда о себе не думал и даже порой утрачивал чувство своей отдельности в мире, настолько растворялся в семье. В конце концов, усталость, полная душевная вымотанность погасили в нем все страсти, и он принял единственно правильное решение — купил жене сапоги. Если она и буркнет что-нибудь, то лишь для порядка, перед сапогами не устоит ни одна женщина страны постоянных временных затруднений.

В гостиницу он притащился без задних ног и свалился на кровать. А через час проснулся бодрым и свежим и сразу начал собираться.

В разгар сборов к нему явился Олег Петрович в отменном настроении, с большой плоской коробкой в руках.

— Фирмачи дают отвальную, — сообщил он. — У тебя есть приличный костюм?

— Нет. Только этот.

— Смени хотя бы рубашку и галстук. И отдай брюки погладить. Платить не надо, за счет фирмы.

— А как это?.. Я не сумею.

— А тут и уметь нечего. Вызови горничную, дай ей штаны. Скажи: шабо, шабо. Она все делает.

Олег Петрович снисходительно оглядел пакеты, загромождавшие маленький номер.

— Отоварился?.. Молодцом! А меня ты ни о чем не хочешь спросить?

Суржиков смущенно пожал плечами.

— Вот те раз! Сегодня вроде бы решающий день. Подписание.

Совсем из головы вон! Магазин и связанные с покупками переживания вытеснили из сознания все другие мысли и заботы. Да он и не сомневался, что у Олега Петровича все будет в ажуре. В этом лестном смысле Суржиков и высказался.

— Ты даже не знаешь, в каком ажуре, — самодовольно усмехнулся Олег Петрович. — В последний момент, на финише, можно сказать, спас для нашей страны пятнадцать миллионов.

Вот почему он из директоров захолустной фабрики мягкой игрушки прыгнул в замминистра, да и здесь не долго задержится, пойдет дальше и дальше и, может быть, на себе испытает спускающийся сверху коммунизм.

— А знаешь как?.. Отказался от фундамента.

У Суржикова рухнуло сердце.

— На чем же она станет?

— На земле. Как Антей.

Все магазинные удачи, давшие крылья мечте, разом померкли. Личные заботы, радости и тревоги ничего не стоили перед губительным поступком руководителя делегации.

— Да ведь она работать не будет. — Голос прозвучал на слезе.

— Ну и что? — спокойно сказал Олег Петрович. — А кому она нужна? Ты ешь палочками, я ем, наши знакомые едят? Назови мне хоть одну советскую семью, которая ест палочками. Никто и не собирался запускать эту дуру. Ты что, не знаешь, сколько иностранного оборудования ржавеет на складах и просто под от-

крытым небом? Ваше КБ закупало у фирмачей оборудование?

— Закупало.

— Много его реализовали?

— Н-нет... — проговорил Суржиков, удивленный, почему раньше никогда не думал об этом.

Аппаратура, купленная на валюту, обычно даже не распаковывалась. В тех редких случаях, когда ее пытались использовать, она сразу выходила из строя.

— Как правило, мы покупаем то, что нам заведомо не нужно. Мы не учитываем ни наших реальных потребностей, ни наших возможностей освоить заграничную технику. Кроме того, мы часто покупаем некомплектно, ради удешевления. Хочешь пример? Мы приобрели у чехов завод баночного пива, но отказались из экономии от состава, которым банки смазываются изнутри. Пиво стало портиться буквально на следующий день. Завод пытались перевести на безалкогольные рельсы, потом закрыли. Но самый страшный бич — рационализация. Творческое мышление отличает нашего производственника от западного — приписка к машине. Просто запустить иностранную технику — без выгоды. Надо над ней поколдовать, что-то заметить, упростить, можно и усложнить, но с умом. Тогда сыплются поощрения, премии, вплоть до государыни, ордена, всякая сласть. Беда в том, что иностранные машины и станки не терпят чужих прикосновений и сразу отказывают.

Суржиков слушал его, и, хотя в частности тут было много правды, целого он как-то не ухватывал и уже боялся ухватить. Он пробормотал, что не понимает, зачем вообще тогда покупают иностранную технику.

— А потому что она нужна. Не вся, далеко не вся, но кое-что нужно. А главное, страна участвует в мировом обмене, мы осваиваем науку международной торговли, учимся на своих ошибках. Если раньше мы учились на уровне средней школы, потом техникума, то сейчас мы проходим университет ошибок. И при всех обстоятельствах это толкает вперед научно-техническую и коммерческую мысль. Наша с тобой дура заведомо не нужна, но не исключено, что кому-то захочется ее поставить. Идиотизм? Да. Но чем глупее, тем вероятнее. Я оставил ее без фундамента, значит, техническая мысль будет напрягаться над созданием нашего советского фундамента. Это потребует денег, но наших, отечественных, которые ничего не стоят. А сто миллионов все равно пропали, их уже нет в бюджете. И тут мы делаем подарок: пятнадцать миллиончиков. Их можно вложить, скажем, в приобретение кожаных поясов для борьбы сумо. Ты скажешь, у нас нет борьбы сумо. Но и дзюдо у нас тоже когда-то не было, а сейчас мы первые на татами. Я даю тебе слово, если эту дуру поставят, я добьюсь, чтоб нас включили в список на государыню.

Сверху виднее, подумал Суржиков и перестал ломать голову над проблемой, которая отныне его не касалась. Он сделал, что мог, и Олег Петрович сделал, что мог. Видать, сделал лучше, если запахло государыней. Конечно, Суржиков ни на мгновение не допускал, что получит государственную премию, но даже слабая причастность к делам, заслуживающим столь высокой награды, подымала душу.

Они расстались до вечера.

Фирмачи расстарались на славу. Сперва по-

вели гостей в тот самый роскошный ресторан, где кормят сырым мясом вспоенных пивом черных быков. Заложив прочный фундамент, отправились по барам, которых не счесть в Гиндзе, и каждый со своим лицом.

Суржикову запомнился бар, где посетитель мог за плату спеть под оркестр свою любимую песню. Здесь отличился Олег Петрович, спевший приятным баритоном японскую песню «Прозрачное небо над нами» и заслуживший дружные аплодисменты зала. На бис Олег Петрович исполнил «Гори, гори, моя звезда».

Потом был полутемный уютный барчик с пищей острова Хоккайдо. Судя по тому, что им подавали, жители второго по величине острова Японии питаются водорослями, превращенными в тепловатую, квелую, дурно пахнущую кашницу, моллюсками и крупной бледно-розовой икрой, похожей на кетовую, но пресной и тугой — каждую икринку надо прокусывать. У Суржикова сразу возникло скверное подозрение, и он не удивился, когда оказалось, что икра — лягушиная. Может быть, эта подготовленность помогла ему добежать до туалета. Было жалко отдавать еще не переваренное высококачественное парное мясо, но зато он освободился и от виски, которое плохо держал его вообще-то крепкий к спиртному желудок.

Затем был бар, где гейши показывали чайную церемонию, и здесь Суржиков был ошарашен открытием, что гейши — вовсе не уличные проститутки, а очень уважаемые артистки. Пригласить на вечер гейшу стоит больших денег, и это далеко не каждому по карману. Гейша будет разливать чай, улаживать слух беседой, сыграет на лютне или на каком-нибудь другом старин-

ном инструменте и удалится после долгой церемонии прощания, прямо и высоко держа черно налакированную голову. И боже упаси залезть к ней под юбку или за пазуху, они недоступны, как весталки. Девочки, которые изображали чайную церемонию в баре, не настоящие гейши, а ученицы, но такие же недотроги. Суржиков думал, как поразит он отдел этим сообщением. Впрочем, едва ли ему кто поверит. Советское общество едино в своем представлении, что гейши — представительницы древнейшей профессии на земле. Наши люди могут поступиться многими убеждениями, но не этим, иначе нарушится вся система нравственных, эстетических и социальных ценностей.

А затем они зашли в голубой бар, напоенный тихой музыкой. Юные девушки в кимоно, с фарфоровыми кукольными личиками щебечущей стайкой накинулись на вошедших и ласково-настойчиво освободили их от пиджаков. Суржикову было очень стыдно, хотя в новой кремовой рубашке и галстукe он выглядел куда приличнее, чем в тяжелом полушерстяном пиджаке. Девушки с той же назойливой ласковостью усадили их в мягкие кресла, дали в руку стакан с ледяным напитком, а в зубы — душистую сигарету. Суржиков не курил и постарался избавиться от сигареты, незаметно раздавив ее под креслом.

— Это гейши? — спросил он переводчика.

— О нет! — засмеялся тот.

— Проститутки? — испугался Суржиков.

— Да нет же! Это отессы.

Он не уважает меня, поэтому нарочно несет вздор, подумал Суржиков, и в то же мгновение свет погас, раздался визг, словно десятку кошек разом наступили на хвосты, и на коленях Сур-

жикова оказалось что-то легкое и упругое, пахнущее женщиной. Он поднял руку и коснулся гладкого шелка кимоно. И вдруг шелк как-то продернулся под его ладонью, и с невыразимым ужасом Суржиков понял, что держит женщину за обнаженную грудь.

— Провокация! — вскричал Суржиков, и тут загорелся свет.

Отесса прыгнула с его колен, легкое движение корпусом — и грудь скрылась в разрезе кимоно. Сделай она это чуть раньше, никто бы ничего не заметил. Но она промешкала, и весь зал разразился хохотом, криками и рукоплесканиями. Суржиков понял, что не один он подвергся нападению во тьме. Каждый из присутствующих мужчин получил по отессе на колени, и, судя по тому, как девушки охорашивались, поправляя прическу, брови, промокая салфетками рты, кавалеры не теряли времени даром, но ни один не зашел так далеко, как бедняга Суржиков, ни сном ни духом не повинный в своей нескромности.

— Я ничего не делал, — беспомощно сказал он Олегу Петровичу, — она сама...

— Брось зубы заговаривать!.. — хохотал тот. — Ну, ты ходок! В тихом омуте черти водятся!.. — но, увидев несчастное лицо Суржикова, перестал резвиться. — Очнись! Что ты, шуток не понимаешь?

— Хороши шутки! Напишут в профком...

— Кто напишет?.. Фирмачи?.. Я?.. Девки?.. Это игра такая. На приз самому смелому и находчивому мужчине. Ты не посрамил русской земли. Держи приз.

И действительно, три отессы, среди них та, чью упругую грудь ласкал Суржиков, с низкими поклонами поднесли ему фарфоровый сосуд,

красиво разрисованный цветами. Оказалось, это жаровня — согреть постель. Олег Петрович поднял руку Суржикова и объявил:

— Победил Суржиков! Москва. Советский Союз.

Толмач, давясь от смеха, перевел его слова, покрытые восторженным гоготом и воплями.

А ведь это он подстроил! — сообразил Суржиков и немного успокоился. Только бы до жены не дошло. А ей он скажет, что жаровня — это японская супница, традиционный фирменный подарок.

Остальной вечер смазался в памяти Суржикова, отуманенной крепкими напитками, пестротой впечатлений и шумом. В мозгу горел золотой слиток, уши ломило от оглушительной музыки. И какая-то странная печаль была на сердце. Это осталась в нем девушка, чей нежной теплой плоти он ненароком коснулся.

Проснувшись утром, он первым делом хватился супницы. Слава богу, она была на месте.

Он уже собирался идти вниз, когда явился представитель фирмы и вручил ему большой пакет в хрустящей бумаге, перевязанный красной шелковой ленточкой, под которую была засунута визитная карточка с эмблемой фирмы. Вручил и сгинул, как не бывал. Суржиков не на шутку струхнул: подарок от иностранной фирмы — поди докажи, что это не взятка. Ну там — значок, открытка с видом Фудзиямы, какая-нибудь картинка — куда ни шло. Даже технический справочник — передал бы в библиотеку КБ. Но тут пахло не открыткой и не справочником. Он стал щупать, встряхивать пакет и установил, что он содержит две коробки: одну плоскую, другую ящичком. Скрупулезное прощупывание

подказало, что в плоской коробке находится что-то легкое, скорее всего ткань, увесистость и твердость другой толкала смятенную мысль к чему-то аппаратурному. Суржиков, естественно, не мог принять такой дорогой подарок, но ужасно хотелось посмотреть, что там находится, глянуть хоть одним глазком, как на коммунизм. А если аккуратно распаковать?.. Ну да, распакуешь, а назад не запакуешь. И все же соблазн был слишком велик, и Суржиков трепеща, но с крайней осмотрительностью принялся развязывать ленточку.

За этим занятием его застал Олег Петрович, вошедший без шума — представитель фирмы неплотно притворил дверь.

— Зря развязываешь, я и так скажу, что там. Мужское кимоно и магнитофон «Сони». Ты собрался? Пора ехать. Машина ждет.

— А мы успеем заскочить в посольство?

— Зачем?

— Сдать вещи.

— С какой стати посольство будет заниматься нашим багажом?

— Я о подарках.

— Пойди опохмелись! Кто же сдает подарки?

Ты что — никогда за границу не ездил?

— Ездил. В Голодандию.

— Чего тебя туда занесло?

— Комбинат строили.

— Понятно. В Голодандии подарков не дарят. В общем, выкинь дурь из головы. И не зайкайся об этой чепухе, если кто из посольских объявится. Иначе — смотри! — И тут в бархатистом окатистом голосе Олега Петровича появилось что-то такое жестяное и зазубристое, что Суржиков съежился.

— А перевеса не будет? — пробормотал он.

— Да твои консервы больше весили! — Голос Олега Петровича вновь умаслился. — Неужели ты думаешь, что аэрофлотовцы будут цепляться к своим? У меня лишку килограммов на триста, а я спокоен, как пульс покойника.

— Откуда ж столько?..

— Надарили, — с мягким укором безудержной японской тороватости сказал Олег Петрович. — А «хонду» я отправил малой скоростью.

— Какую «хонду»?

— Восьмицилиндровую. Передние и задние ведущие. Электронное зажигание. Четырехдверную. Я двухдверные на дух не выношу. Кусакасан презентовал. На редкость любезный чувачок.

У подъезда гостиницы их поджидали две машины, вторая предназначалась для сувениров Олега Петровича...

Последующие за возвращением дни были самыми счастливыми в жизни Суржикова. Когда он распаковал чемоданы и выложил на диван свои покупки, полученные от фирмы дары и предметы, прихваченные по совету Олега Петровича из гостиничного номера, его замученная, осунувшаяся жена прижала руки к груди, помолодела на двадцать лет и стала той светлой доверчивой девушкой, которую он полюбил первой юношеской любовью и как-то незаметно утратил в кошмаре скудной, замороченной жизни, не оставляющей времени даже для взгляда в сторону близкого человека. Сейчас она вся лучилась каким-то бедным, изможденно-нежным светом, и Суржиков, не выдержав, кинулся в уборную и отплакался за себя и за нее.

Суржиковы устроили прием. Оба встретили гостей в кимоно, что повергло тех в состояние

шока, от которого они не могли оправиться до конца застолья, отчего и выпито было меньше обычного. Когда же стали приходить в себя, в естественность зависти и злобы, Суржиков включил магнитофон, и под стереофонические раскаты японского рока гости вновь выпали из ума. То была полная капитуляция перед величием Суржиковых. Все дурное, мелкое ушло. И вот уже чей-то искательный голос с игривой робостью задает томивший всех гостей с самого прихода вопрос:

— Ну, как там гейши?

Это волновало всех. Едва Суржиков появился на работе, как проблема гейш оказалась в центре внимания КБ, далеко потеснив служебные заботы. К Суржикову началось паломничество. Даже такие вечные зарубежные темы, как продукты, магнитофоны и джинсы, ушли далеко в тень. Судя по этому страстному, какому-то больному интересу, все советские мужчины томилась по гейшам. И женщины не меньше любопытствовали о таинственных существах, воплощавших утонченный разврат и чаепитие.

Строго оглядев гостей, Суржиков начал тоном опытного лектора:

— Гейши — совсем не то, что мы привыкли о них думать...

Вечер завершился раздачей сувениров.

Благословенно будь мудрое наставничество Олега Петровича. В КБ из-за дольки жевательной резинки вцеплялись друг дружке в волосы, из-за бывшей в употреблении одноразовой бритвы рвались старые дружбы, партком и профком не справлялись с потоком доносов; принимали — брезгливо и хищно — упаковочную бумагу и шелковые ленточки, целлофановый пакетик

из-под галстука, наклейку от батника. Своему начальнику Суржиков подарил пепельницу, прихваченную из отеля, и суровый, надменный человек сразу предложил ему идти в отпуск в августе, а не в ноябре, как обычно.

И хотя все дружно ненавидели Суржикова, но умягченно, сходясь на том, что он, конечно, debil, свинья, пролаза, никудышный специалист, но в общем неплохой парень.

Одаренные забугорными диковинками гости были о Суржикове примерно того же мнения.

И в эти подъемные, счастливейшие дни нависла над Суржиковым страшная угроза.

Зародилась она весьма далеко от тех мест, где шла жизнь нашего скромного героя, в стране Голодандии, отгороженной от остального мира высоченными горными хребтами. Там произошла авария, подобная стихийному бедствию, поставившая под угрозу будущее страны.

Некоторое время назад Советский Союз, верный интернациональному долгу, построил для Голодандии промышленный гигант, который должен был решить продовольственное положение страны, безнадежно переходившей от засухи к засухе, усугубляемыми суховеями, песчаными бурями и смерчами. Советскому Союзу, блестяще осуществлявшему собственную продовольственную программу, в самую пору было подставлять плечо другим слаборазвитым странам, выводить их к всенародной сытости и преуспеванию. Впрочем, положение в самой Стране Советов не играло никакой роли, ибо интернационализм — краеугольный камень социалистической идеологии — заставлял спешить на помощь всем страждущим в человечестве, независимо от ее собственных дел, равно и от того — желательна

эта помощь или нет. То была импортная модель интернационализма, поскольку внутри страны скрыто бурлила национальная рознь и открыто процветал антисемитизм, не сказать, что поощряемый, но как-то ласково допускаемый идеологическими вождями страны.

Голодандии позарез нужен был этот агротехнический гигант, и Советский Союз взялся его осуществить, опередив в своем бескорыстном намерении коварные расчеты Соединенных Штатов, Израиля, ФРГ и ЮАР. Особенно лютовали американцы: их проект ни в чем не уступал советскому, хотя и ни в чем не превосходил. Тут не было ничего удивительного.

Обыватели думают, что всякое техническое новшество возникает в результате настойчивого поиска и самоотверженного труда наших ученых, конструкторов, инженеров и техников. Это верно, но бывают исключения, когда применяется иной, более мобильный, хотя и рискованный метод. К научно-техническому поиску привлекаются испытанные кадры разведчиков. Секретные агенты, резиденты, завербованные граждане других стран мощно задействуются во имя технического прогресса. Осечек не бывает. Не было и с проектом для Голодандии. Лопоухие американцы еще наводили марафет на свой проект, а творение американского технического гения, помноженного на русскую смекалку, уже было предоставлено правительству Голодандии. За эту ловкую и дерзкую операцию одна пожилая американская чета, работавшая более четверти века на советскую разведку, села на электрический стул и один наш резидент получил девяносто семь лет тюремного заключения, но вышел через неделю, обменный на третьего секретаря аме-

риканского посольства, взятого прямо на месте преступления: он фотографировал на улице Горького витрину продовольственного магазина.

Автору, человеку дотошному и обстоятельному, очень хотелось бы дать подробное описание агрономического гиганта Голодандии. Но есть такое грозное понятие, как разглашение промышленной тайны, а проект этого объекта до сих пор засекречен. Желающие могут ознакомиться с ним на страницах популярных американских журналов (в том числе излюбленного органа наших культурных атташе — «Плейбой»). А что американцам — прохлопали проект, так зачем его скрывать? Мы же в этом важном вопросе крайне строги и щепетильны. Когда мы построили первый в мире атомный ледокол, американцы прислали ко дню Военно-морского флота в ленинградское судостроительное КБ, разработавшее проект, макет этого чудо-судна, выполненный с изумительным тщанием — один к одному (на стене гальюна даже было нацарапано микроскопическими буквами самое короткое и распространенное русское слово). Дарители допустили лишь маленькое хулиганство: приложили к макету список членов команды, указав возраст каждого, рост, вес, объем груди, цвет волос и глаз. Макет немедленно засекретили даже от работников КБ. Так что американцы автору не указ, он имеет дело с вдумчивой отечественной цензурой, поэтому скажет лишь о том, что необходимо для понимания бедствия, постигшего предприятие, а с ним и всю страну.

Предприятие изготовляло особую питательную массу, которая разжижалась и по трубопроводу поступала в коллектор, откуда системой труб-капилляров распространялась по полям,

получавшим и орошение и подкормку одновременно. Но что-то случилось в системе: питательный раствор перестал поступать в капилляры, а вместо него устремилась ядовитая жидкость, губившая не только урожай хлопка, риса, маиса, ячменя, чая, кофе и какао, но, что куда страшнее для экономики государства, и маковые плантации, дававшие сырье для наркотиков — основы экспорта и всего бюджета. Теряла Голландия и на туризме, ибо высыхали луговые травы, цветы, кусты и деревья, вся растительность сходила с тела страны, как волосы с головы больного стригущим лишаем. Дело шло к уничтожению страны, которая уже много лет мужественно боролась в рамках ООН за признание ее самой отсталой в мире.

В этих губительных обстоятельствах Голландия попросила помощи у Америки, явив неожиданную, дурного тона пронизательность. Министерство иностранных дел СССР усмотрело в этом поступке умаление престижа нашей страны и направило МИДу Голландии ноту протеста. Но голодандцам было так плохо, что они даже не ответили на эту ноту, хотя, как и все развивающиеся страны, любили играть в дипломатические тонкости. Меж тем американцы, рьяно взявшиеся за дело, опозорились: не могли найти причину аварии. Как-то не везло им с этим проектом, сперва его украли уютные старички Грета и Аксель, за что и поплатились, к великому негодованию всего прогрессивного человечества, а сейчас — новый афронт.

Беду усугубило вовсе не предвиденное обстоятельство: Священная корова — величиной с избу — залегла прямо у запасного входа, загородив его своим громадным лоснящимся ту-

ловом. А по обычаям Голодандии никто не смел не только прогнать корову, но даже замахнуться на нее или повысить голос. Ни душистое сено, ни сочные травы, которыми ее пытались выманить, не привлекали привередливое животное. Вызвали заклинателей змей, чья пленительная игра на дудочках превращает самых ядовитых и агрессивных гадов в послушных плясуний. Надеюсь, что мелодии духмяного луга и прохладных речных вод уведут корову прочь от двери, но разве проймешь ленивую, забалованную, своевольную скотину с равнодушно-дремотными голубыми глазами?

Автор предвидит вопрос: почему нельзя было воспользоваться главным входом? Но ведь всем известна наша тенденция держать парадный вход заколоченным, а пользоваться какими-то боковыми, запасными, черными, служебными, словом, побочными ходами. Лишь в самое последнее время начали отступать — весьма робко — от этого правила, а в годы строительства предприятия оно казалось настолько незыблемым, что, украсив фасад портиком, фронтоном и прочими атрибутами сталинского ампира, входное отверстие даже не проделали. Впоследствии эту простодушную оплошность оправдывали известным тезисом: экономика должна быть экономной. Но кому могло прийти в голову, что проклятый вход когда-нибудь понадобится?

Предложили свои услуги пронырливые израильтяне при условии, что проблему Священной коровы предоставят на их усмотрение. Голодандия немедленно прервала переговоры и объявила Израилю газават.

Японцы прислали группу камикадзе, чтобы проникнуть в здание через дымоходы посредст-

вом катапультирования. Четыре смельчака с за-  
видным хладнокровием пошли на гибель один  
за другим, и создалось впечатление, что ни о ка-  
кой реальной помощи японцы и не думали, про-  
сто засиделись в мирном сосуществовании и за-  
хотели тряхнуть стариной. Смертельное испы-  
тание юношей было самоцелью, чтоб не заросла  
салом японская душа и не иссякла готовность  
пожертвовать жизнью за императора.

После этого Голодандия скрепя сердце обра-  
тилась к нам. Похоже, там начали смекать, что  
корень беды не в сфере американской деловито-  
сти, а — в русской смекалке.

Послание, подписанное главой правительства,  
подростком-принцем (его официальный титул:  
Отец Вселенной), пришло, как водится, на самый  
верх, никого там особенно не смутив и не оза-  
дачив, а потом начало привычное скольжение  
вниз, постепенно выдыхаясь в своем пафосе.

Проплутав по разным ведомствам, сполна из-  
ведав то, что на чиновно-бюрократическом язы-  
ке называется отфутболиванием, послание Отца  
Вселенной по чистой случайности оказалось в од-  
ном из тех министерств, что имело непосредст-  
венное отношение к строительству занемогшего  
гиганта. Там покрутили-покрутили паническую  
депешу и переправили в КБ, где работал Сур-  
жиков.

Естественно, КБ возликовало, получив еще  
одну загранку. Пусть Голодандия по междуна-  
родному статусу нищая страна, по нашим мер-  
кам — будь здоров! Дотошные люди, а такие есть  
в каждом коллективе, быстро выяснили, что в Го-  
лодандии самое дешевое золото в мире, за исклю-  
чением Кувейта, где, кроме золота, вообще ни-  
чего нет и оно ценится ниже дерева, железа и

глины; в той же цене идут морские губки, кораллы, изделия из кожи ящериц и змей, почти неотличимые от крокодиловых, шляпы и сумочки из рисовой соломки, а еще там можно по бросовым ценам купить китайские рубашки, которыми наводнена страна. Правда, нашлись умники, считавшие, что нет смысла цепляться за поездку: в связи с близящейся Олимпиадой решено ввести в Голодандию ограниченный контингент тренеров, чтобы подтянуть игровые дисциплины спорта, сильно отстающие от международного уровня, и тогда поехать туда будет плевое дело. Но таких были единицы, а остальной коллектив волновался, бурлил и окончательно бросил работать. Впрочем, и умники не долго умничали и замешались в общую кутерьму. Все носились по лестницам, шушукались, сплетничали, интриговали. Секретарь партийного комитета то и дело запирался вместе с председателем профкома в своем кабинете, и бдительная секретарша не допускала посетителей даже в приемную.

Не вызывало сомнений, что битва за единственную путевку, так называли прилетевший из-за седых хребтов крик о помощи, произойдет на самых верхах, если только министерство не опомнится и не наложит свою лапу, и все-таки не было в КБ ни одного, даже самого захудалого служащего, который не думал бы с замиранием сердца: а вдруг я?.. Впрочем, нет, один человек был — Суржиков, он знал, что теперь его долго никуда не пустят, быть может, до конца дней, да и не стремился к этому, понимая скромной душой своею, что взял от жизни больше дозволенного.

Во всех отделах составлялись списки, да,

именно списки, хотя известно было, что место одно. Пусть будет как можно больше достойных кандидатов, тогда, чем черт не шутит, вместо одной двухнедельной поездки, глядишь, дадут две недельных или три по пять дней. Списки передавали через подкупленных секретарш. Одновременно прибавилось работы особому отделу, поскольку резко возросло — и обычно небольшое — количество доносов — сотрудники обливали друг друга помоями с целью устранить конкурентов.

Словом, все шло своим чередом, а затем началось давление сверху. В Голодандии резко возросла смертность от голода. И в обычных условиях голодная смерть была уделом подавляющего большинства населения страны, и это никого не волновало, но сейчас дело пошло ускоренным темпом, чем воспользовались реакционные круги для нападок на главу государства, большеглазого мальчика, и его прогрессивную политику добрососедских отношений с Советским Союзом. А кроме того, в ежегодный Праздник неурожая с гор спустились три почитаемых в народе, с незапамятных времен обожествленных старца и сожгли себя у храма многоногого, как сороконожка, бога засухи Биешу, чтобы умилостивить грозное божество. Святых старцев было хоть завались, но экстремистские религиозные круги подняли страшный шум. Хуже всего было другое: служители храма Биешу, в ведении которых находилась Божественная корова, заметили, что она худеет, и отнесли это за счет ядовитых испарений, поскольку в рационе четвероногого божества никаких изменений не произошло. И тут заволновались народные массы.

Отец Вселенной отправил прямое письмо

Генсеку. Тот прочел, стукнул кулаком и повысил голос, что с ним редко бывало. Но как замирает громовой удар, раскатываясь в пространстве, так и грозное слово, раздавшееся на самом вер-ху, замерло с приближением к КБ, которому предстояло послать спасателя. Казалось бы, должно быть наоборот. Верхнее начальство рывкнуло, и каждое нижестоящее должно рыв-кать по закону самосохранения все громче, чтобы встряхнуть последнего на этой лестнице, ведущей вниз, и пробудить в нем дремлющую исполнительность. Ведь реальной действенной силой обладают те, кто у подножия пирамиды, а не те, кто на вершине. Ход составу дает не-приметный стрелочник — порой мимо рельсов,— а не министр путей сообщения, его замы и про-чие высокие бездействующие лица. Судьба Голо-дандии уперлась в партком КБ, а персонально — в секретаря парткома Мушкинина, старого, стреляного партийного воробья. Получив распо-ряжение «ускорить отправку» — вот как ума-лился грозный окрик Генсека, он покачал го-ловой и сказал случившемуся в его кабинете председателю профкома Ступаку: «Ну, не чу-даки? Дают на такое КБ одно место и хотят, чтобы все решилось раз-раз! А мы ведь с живы-ми людьми дело имеем, не с чурками».

Прежде чем произвести отбор среди сотру-дников, пришлось побороться за само приглаше-ние, на которое неожиданно предъявили претен-зии три министерства и Академия обществен-ных наук. Мушкинин не пожалел трудов, дошел до самого Тиграна Авелевича и отбился. После этого он и Ступак засучив рукава принялись рассматривать предложения отделов, чтобы ото-брать двух достойнейших — второй был как бы

дублером на случай, если с кандидатом № 1 случится что-то непредвиденное: болезнь, смерть, несчастный случай, привлечение к судебной ответственности, осечка в медицинском обследовании, пьяная драка, изнасилование, слишком веская анонимка, которую не положишь под сукно. Поэтому всегда в запасе держали одного-двух кандидатов, не обнадеживая их даже намеком, чтобы не было после разочарований и лишних доносов.

Текучка затягивает, что ни говори. В суматохе ежедневных дел как-то перестаешь различать лица окружающих. Мушкинkin радостно удивлялся, сколько в КБ превосходных людей. Если б ему дали волю, он мог бы послать в Голодандию не одного человека, а целую команду, куда вошли бы и работники управления, и конструкторы, и ученые, и техники, и бухгалтеры, и шоферы, и вахтеры, и труженики буфета, и уборщица. Глаза разбегались, сердце металось в груди, не зная, кому отдать предпочтение. Иной раз хотелось плюнуть на все, перестать ломать мозги и поехать самому в эту Голодандию, благо, что последний раз он выезжал за рубеж два года тому назад и куда — всего-то на Золотые пески. Схожие мысли посетили, видимо, и Ступака. Он взъерошил волосы и сказал:

— Как ни крути — обиженных не сосчитать. Давай лучше устроим междусобойчик — разыграем эту поездку в орла и решку.

Вот когда предложение пришло со стороны, стреляный воробей Мушкинkin понял, насколько оно рискованно. Кроме того, ему на редкость не везло в играх, лотереях и метании жребия. Наверняка ехать выпадет Ступаку, а ему достанутся одни неприятности.

Они засиделись за полночь, прокурились до черноты и все-таки в конце концов кинули на орла и решку, ибо два кандидата были настолько совершенны со всех точек зрения, что выбрать из них лучшего не представлялось возможным. Конечно, выпала решка, на которую загадал Ступак, и Муцинкин похвалил себя за осмотрительность. Машинально он подумал о том, как бы провалить Устюжина, которого решка вывела в кандидаты номер один, и протащить дублера, но вовремя спохватился: оба его люди, а Ступак ставил втемную, без всякого расчета и корысти.

— Решено, запускаем на выездную комиссию Устюжина,— заключил ночное бдение Муцинкин.

А на другое утро, едва Муцинкин появился в кабинете, ему позвонил директор КБ и сказал, что сверху пришло указание послать в Голодандию химика.

— Мы подработали кандидатуру Устюжина,— сообщил Муцинкин.

— Ты что — глухой? — заорал директор.— Устюжин — слаботочник, а нужен химик!

— Да ты же знаешь, какие у нас химики! — засмеялся Муцинкин.— Вшивая команда.

Так называли между собой руководители КБ химический отдел. Один Суржиков был в порядке, и то беспартийный, остальные — смотреть не на что. Три еврея, из которых двое явно намылились в отъезд, а один — доктор наук — реабилитированный. Начальница же отдела, жена престарелого академика, неуклонно переходила из декрета на больничный, потом в отпуск, потом снова в декрет. Она уже дала жизнь четверым, и, по наблюдениям Муцинкина,

любящая чета решила на этом не останавливаться.

Директор сказал свою нелепицу и уехал в Кисловодск, в правительственный санаторий «Черные глыбы», по горящей путевке. Мушкин не мешкая отправил Устюжина в поликлинику за медицинской справкой, чтобы затем сразу поставить его на выездную комиссию, включавшую, кроме «тройки», еще двух дряхлых царевубийц, прикрепленных к партийной организации КБ.

И тут случилась несообразность, настолько дикая, что Мушкин не смог на нее должным образом прореагировать — она не вписывалась в его миропонимание и потому, удивив и на время расстроив, сплыла с души, не оставив следа. Ему позвонили по вертушке из секретариата Главного идеолога и спросили: оформлен ли работник на поездку в Голодандию. Удивленный, что этой поездке придается такое значение, Мушкин ответил: кандидатура подработана и сейчас проходит медицинский осмотр. «Затянули вы очень», — произнес недовольный голос. В последнее время у партийно-бюрократического аппарата выработалась привычка ласково подтрунивать над своей чиновничьей сущью. Этим лукавым самоуничижением утверждалась его, аппарата, необходимость в государственной жизни.

— Мы ведь чиновники, — посмеиваясь, сказал Мушкин. — Любим покопаться. Зато уж ставим крепко.

— Хватит волынить, — вlepился в барабанную перепонку мертвый голос Главного идеолога. Он, видимо, слушал разговор по другой трубке. — Страна гибнет. Немедленно отправить человека.

Мушкин заверил, что все идет своим чередом: будет справка, сразу ставим на выездную, потом райком...

— Забюрократились,— прервал его самый косный бюрократ во всей партийной системе.— Работник-то хоть дельный?

— Дельный! Член бюро первичной организации. Общественник. Лучший слаботочник КБ.

— Какой еще слаботочник? — Голос оживился злобой.— Вам русским языком сказано — химик!

Главный идеолог швырнул трубку, прежде чем Мушкин смог объяснить ему, почему послать химика не представляется возможным.

Неприятный разговор и совсем обескураживающий финал, но сознание собственной правоты помогло Мушкину сохранить хладнокровие. Гнев высокого начальства лишь в исключительных обстоятельствах поражает цель. Аппарат научился безошибочно амортизировать игру начальственных страстей. Все-таки он решил посоветоваться со Ступаком.

— А чего же ты не объяснил ему, что у нас невыездной отдел: сплошь жи... евреи, а начальница всегда при исполнении супружеских обязанностей?

— Я хотел, но не успел. Он бросил трубку. Может, подработать бумагу в ЦК?

— Можно. Пстой, мы о Суржикове забыли. Он не... с пятым пунктом, не в декрете, не сидел...

— Но он только что был в поездке...— Мушкин побледнел.— А что, если это его проiski? У него же рука...

— Олег Петрович — гора, — уважительно сказал Ступак.— Говорят, идет на зампреда.

— А я слышал, редактором «Литературной газеты».

— Нужна ему эта помойка. Ему министерство давали — не взял. Большому кораблю — большое плавание.

— Неужто Суржиков к нему подкатился? — задумчиво сказал Муштинкин.— В тихом омуте черти водятся. Ну, погоди, косой, Олегу Петровичу сейчас не до тебя, а мы рядом. Допечем так, что назад в мамку запросишься.

На следующий день Суржикова вызвали в партком. Он явился ни жив ни мертв. В глубине души он никогда не верил, что галантное приключение в Японии сойдет ему с рук. Едва вернувшись домой, он принялся писать объяснительную записку, но получалось до того глупо и неубедительно, что опускались руки. Погас свет, села на колени, расстегнула кофточку, открыла грудь... тьфу!.. чушь какая-то. А главное, само собой напрашивается вопрос: почему к другим не села, а именно к тебе? Не села же она к Олегу Петровичу, значит, поняла, к кому можно сесть. Не пытайся выкрутиться, Суржиков. Ты исказил образ советского специалиста в глазах японской общественности, скомпрометировал наше КБ, подвел страну. А он будет жалко лепетать, что это в последний раз, что он исправится, самоотверженным трудом искупит свою вину. Конечно, его не послушают, и будет общественный суд, похабные вопросы под видом уточнения обстоятельств, смешки, ханжеские, лицемерные нравоучения тайных развратников, которые тринадцатую зарплату отдадут, дай только подержаться за голую грудь японки... Но кто его все-таки заложил? Неужели Олег Петрович, а ведь дал слово, что никому не ска-

жет. Как-то не похоже на него, слишком мелочно. Фирмачи? Чего ради? В отместку, что он попортил им кровь. Но широкий жест Олега Петровича дал им куда больше, нежели они рассчитывали. Гейши или, как их там, отессы? А им-то какая корысть? Нечего голову ломать. У них всюду есть глаз, от них ничего не скроется, и в собственной квартире, и на службе, и в токийском баре ты весь как на ладони.

— Докатились, Суржиков? — Мушкин не встал из-за стола, не протянул руки, хотя обычно был обходителен с посетителями, особенно беспартийными.

— Я сам хотел прийти,— пролепетал Суржиков.— Даже заявление на себя написал... Я, правда, ничего не делал... Они знаете какие нахальные...

— Вы бы уж помолчали о нахальстве. Имейте в виду, Суржиков, своим поведением вы поставите себя вне рядов партии.

— Я беспартийный,— напомнил Суржиков.

— И очень плохо. Если вы будете так себя вести, мы примем вас в партию и вышвырнем вон. Чтоб не засоряли ряды. Попомните вы Голодандию!

— Японию,— поправил Суржиков.

— Какую еще Японию? — не понял Мушкин.— Ах да, Япония! Много у нас сотрудников было в Японии? Кроме директора — никого. И после такого путешествия вы пользуетесь связями, чтобы отобрать у ваших товарищей поездку в нищую Голодандию!..

— О чем вы?! — в отчаянии вскричал Суржиков, хотя на самом дне отчаяния затеплился огонек надежды — гейши не имеют отношения к его вызову в партком.

— Как о чем? — опешил Мущинкин, видя, что собеседник искренне обескуражен.— О поездке в Голодандию.

— На кой она мне сдалась? Я же был там!

— То-то и оно! — вновь завелся Мущинкин.— На золотишко дешевое потянуло, на китайские рубашечки?..

И тут Суржиков окончательно понял, что японский инцидент не имеет никакого отношения к происходящему. Он сразу успокоился.

— Рубашечку я уже купил. Мне в Голодандии делать нечего. Я и не слышал об этой поездке.— Голос его звучал твердо.

— Как не слышал, когда все только об этом и говорят. Люди работать перестали.

— А я не переставал. У меня за время отсутствия столько скопилось — не разгребешь.

— Можете написать, что вы не претендуете на эту поездку? — успокаиваясь, спросил Мущинкин.

— Да ради бога!..

— Садитесь. Вот бумага, ручка: пишите... В партком КБ... ФИО... заявление. «В связи с крайней занятостью по месту основной работы и плохим состоянием здоровья, подорванным тяжелым климатом Японии, а также сознавая свои обязательства перед коллективом и товарищами, не имевшими длительное время зарубежных поездок, ехать в Голодандию категорически отказываюсь». Подпись.

Мущинкин взял заявление, прочел его про себя, шевеля губами, и спрятал в карман коверковой «сталинки».

Этот строгий полувоенный китель был проявлением легкой и неопасной фронды. После так называемого разоблачения культа личности боль-

шинство партийных руководителей поспешило натянуть костюмы-тройки и галстуки. Но не все оказались конформистами, гвардейцы духа, верные милой тени (при всех отдельных ошибках этой тени), не изменили аскетическому облику большевика строгих и ласковых сталинских дней.

— Ну и хорошо, Суржиков, так держать. В партию хочешь? — Мущинкин всем беспартийным говорил «вы», оставляя сердечное «ты» лишь для настоящих товарищей, но сейчас он испытывал такое доверие к Суржикову, что подарил его этим братским обращением.

— В какую? — не понял Суржиков, но тут же спохватился. — Спасибо, товарищ Мущинкин, я еще не готов.

— Я тебя не тороплю. Будь здоров. Постой, а правда, в Голодандии золотишко баснословно дешевое?

— Не знаю, нам не давали карманных денег.

Выпроводив Суржикова, Мущинкин позвонил Ступаку.

— С Суржиковым — нормалек. Олег Петрович тут ни при чем. Обычный бардак. Куда девался Устюжин, пора выводить его на райком.

Ступак ничего не слышал об Устюжине. Слаботочник как в воду канул.

А Устюжин попал в ловушку, предусмотреть которую не могли даже такие ушлые люди, как Мущинкин и Ступак. Началась медицинская страда весьма удачно. Хотя психодиспансер находился в одном из тупиков Божедомки, а наркологический центр на Каширском шоссе, районный вытрезвитель за Речным вокзалом, а кожно-венерическая клиника в Сокольниках, Устюжину, человеку выносливому и мобильному, удалось охватить их за три дня. Подкрепленный

справками, что он не психопат, не наркоман, не алкоголик и не сифилитик, Устюжин бодро устремился за рентгеновскими снимками (в районе Тимирязевской академии) и за электрокардиограммой, которую делали в Чертанове. Дело в том, что нижний этаж его поликлиники обесточился в связи с дорожным строительством — случайно перерубили кабель, поэтому рентгеновский кабинет и ЭКГ не работали.

Затем он быстро проскочил глазника, отоларинголога, хирурга, невропатолога, уролога, дерматолога — никто его не осматривал, только записывали что-то в большую книгу и заполняли какую-то карточку с усталым и равнодушным видом; лишь невропатолог ударил его за чем-то молоточком под коленкой, отчего нога подскочила и чуть не сбила очки с носа врача. Не было затруднений и в гинекологическом кабинете, куда тоже пришлось заглянуть. Даже работники поликлиники не боялись говорить вслух, что посылать мужчин к врачу по женским болезням — глупость и головотяпство. Дело в том, что в старой инструкции в графе «гинеколог» было указано «только ж.», а в новой инструкции это указание отсутствовало. Трудно сказать, почему так случилось: может, по рассеянности, а может, сочли излишним указывать на то, что само собой разумеется. Но поскольку разъяснений к инструкции спущено не было, руководство поликлиники сочло за лучшее действовать по букве, тем более что все сводилось к короткой пометке: жалоб нет, в гинекологическое кресло мужчин не усаживали.

Наконец Устюжин добрался до терапевта, который и выписывал справку. Но тут выяснилось, что у него нет анализа крови на протром-

бин и холестерин, а в поликлинике этот анализ делают только по средам. Был как раз четверг. Пришлось Устюжину съездить в Лихоборы, в Институт переливания крови, где за бутылку коньяка ему сделали этот анализ. На другой день он вновь предстал перед терапевтом. Вот этот потерянный день и погубил Устюжина, хотя, с другой стороны, поднял к новой, высшей жизни.

Даже не взглянув на собранные Устюжиным материалы: свидетельства о нравственном и психическом здоровье, анализы мочи, крови, рентгеновские снимки и кардиограмму, старый врач с рачьими — за толстыми линзами — глазами принялся что-то строчить в растрепанной книге. Устюжин посчитал, что дело в шляпе, но тут им заинтересовался находившийся в кабинете глыбистый, коренастый доктор с буденновскими усами.

— Снимите штаны, молодой человек, — сказал он Устюжину.

— Не морочь ему голову, — оторвался от своей писанины терапевт.

— Я ему другое место поморочу! — загрохотал усатый.

Он был проктологом и, подобно большинству коллег по этой довольно молодой медицинской специальности, пламенным энтузиастом своего дела. В поликлинике он консультировал раз в неделю и жадно накидывался на каждого пациента.

Устюжин повиновался. Врач поставил его в позицию, усилил глаз линзой и заглянул внутрь. Устюжин вдруг услышал его обрывистое дыхание, будто врач взлетел бегом на телевизионную башню. Затем в плоть его чуть болезненно проникли два пальца.

— Господи боже мой! — хрипло произнес врач. — Матка боска Ченстоховска!.. Мон дье!..

Нет бога, кроме Аллаха, и Магомет пророк его!..  
Готт им химмель!..

Он подошел к своему коллеге и взял его за щеки.

— Посмотри, какое чудо!

— Убери свои грязные лапы! — взвизгнул тот, ударив усатого линейкой по пальцам. — Свинья!.. Лазишь черт знает куда, а перед едой не моешь рук.

— Нет ничего чище ануса! — глубоким голосом сказал усатый, но руки убрал. — Помнишь, как начинается учебник великого Урениуса: «Я представляю себе волнение юного ума, приступающего к изучению заднего прохода». Пойди сюда, не пожалеешь.

Врач подошел и устремил рачий взгляд в глубь Устюжина.

— Ты ничего не видишь?

— А что я могу увидеть? — раздраженно спросил врач.

— Совсем забыл анатомию? Посмотри на дельта-концентрическую мышцу. Видел ты что-нибудь подобное? Три кольца, как на Олимпийских играх.

— Да-да... — протянул старый врач, и тут, видимо, что-то ожило в его заросшей памяти. — Невероятно!.. Знаешь, а ведь это открытие!.. На государыню тянет.

— А Нобелевскую не хочешь?.. — агрессивно сказал усатый. — Давай сейчас сообща заприходуем это событие. Ты подпишешь, заведованием и секретарь партийной организации. Не то Берендеев наложит лапу — и привет!

Терапевт понимающе кивнул головой: грозный академик Берендеев был в медицине полновластным хозяином.

Устюжин надеялся, что после подписания документа, удостоверяющего приоритет усатого в открытии дельта-концентрической мышцы, его отпустят, вручив справку о годности к иностранному вояжу. Тогда ему останутся только прививки от чумы, холеры, оспы, проказы, сапа и бруцеллеза, которые запросто делали в Покровско-Богородском. Но не тут-то было.

Усатый, хотя и озабоченный премией и прочей житейщиной, был в основе своей фанатиком науки и поэтом ануса. Он решил продемонстрировать студентам 1-го Московского медицинского института (своей альма-матер) невиданную мышцу, связался по телефону с ректоратом, где мгновенно оценили его сообщение и сказали, что первая группа студентов немедленно выезжает, затем последуют другие партии.

Устюжину ничего не оставалось, как покориться. Старый терапевт, заразившийся энтузиазмом Усатого, заявил, что не выдаст справку, пока Устюжин со своей дельтой будет нужен науке. В остаток дня без перерыва валили студенты. Одна группа сменяла другой, в пересменках Устюжин отдыхал. Как ни странно, он входил во вкус. Ему нравилось внимание к нему, которого он не ощущал ни на работе, ни дома, он впервые чувствовал себя личностью, а не винтиком государственного хаоса, к тому же среди студенток были прехорошенькие, а Устюжин был тонким ценителем женской прелести, радовал почтительный хор молодых голосов, нарушавший благоговейную тишину, когда Устюжин открывал свою дельту.

Слух в тот же день дошел до Академии медицинских наук, до Большой академии, распространился по стране и выкатился за рубеж. Уже

вечером вражеские голоса распространялись об антигуманной сущности советской медицины, которая не только держит здоровых людей в психушках, но и скрывает от мировой общественности открытие, которое могло бы осчастливить человечество.

Устюжина не отпустили домой. Собрали ужин прямо в терапевтическом, спиртику медицинского принесли и засиделись за хорошим ученым разговором до полуночи. Старый терапевт и усатый признавали только неразбавленный спирт, и Устюжину пришлось срочно пересмотреть свои представления о пьянстве, он никогда не видел, оказывается, по-настоящему пьющих людей. Причем оба не хмелели и вовсе не выпадали из ума.

— На кой ляд тебе эта Голодандия? — убеждал его усатый. — Там же нет ни хрена. Мне пианист-гомик — ему американский негр весь анус разворотил — подарил джинсы «Ли». Считай, они твои. А китайских рубашек в Салтыковке хоть завались. Завтра получишь дюжину. Оставайся, брат, мы тебе кандидатскую ставку сделаем.

Устюжин посмеивался и планов усатого не отклонял.

Исчезновение первого кандидата на поездку встревожило Мушкина. Тем более что «сверху» опять был звонок насчет химика. Хоть звонили «сверху», человек-то был «нижний» и легко дал заморочить себе голову, что химики не выездные, а единственный выездной подал заявление о невыезде и что вполне достойный кандидат проходит медицинскую комиссию. Может быть, звонивший не был так глуп и отлично понял, что ему забивают баки, просто не хотелось возиться с пустым делом, а материала для заморо-

чивания головы начальству Мушинкин дал предостаточно.

Разузнав, в какой поликлинике обследуется Устюжин, Мушинкин отправился туда.

— Да, товарищ Устюжин находится здесь, — сказала регистраторша с седыми буклями стареющей Екатерины II. — Но едва ли сможет вас принять.

— Принять? — удивился Мушинкин. — Он такая важная шишка?

— Да, большой человек, — наклонила ухоженную, царственную голову регистраторша.

Мушинкин объяснил, кто он и по какому делу пришел, показал документы, сослался на звонок «сверху». Регистраторша позвонила куда-то, провела сокровенную беседу, зажимая ладонью рожок трубки и отвернувшись от Мушинкина. Затем несколько раз кивнула и положила трубку на рычаг.

— Пройдите в кабинет главврача. Только тихо, тихо, лекцию читает сам академик Берендеев.

Да, академик Берендеев не остался в стороне от великого открытия. Он был плохой врач, забыл все, чему его учили в институте, но опытейший интриган, великолепный организатор науки и собственного благополучия. В последнем он особенно преуспел. Прослышав о концентрической дельте, он ничего не понял, но безошибочным чутьем угадал, что тут пахнет жареным. Проконсультировавшись с кремлевским проктологом, он без предупреждения нагрязнул в поликлинику. С усатым у него был простой, короткий и решительный разговор, не оставляющий лазеек, истинно в берендеевском духе: •

— Нобелевка — твое дело. Все равно не дадут. Но Ленинскую мы поделим. Пойдешь сам-

четвертый: я, Олег Петрович, министр и ты. Иначе забираю этот дельтаплан.— И он через плечо показал на Устюжина.

Конечно, усатый капитулировал, втайне довольный, что так обошлось. При том шуме, который наделало его открытие, он был уверен, что Устюжина отберут, а его самого загонят в какую-нибудь дыру.

Всесильный Берендеев сразу поставил дело на широкую ногу. Освободили кабинет главврача — единственное просторное и чистое помещение в поликлинике (конечно, то была временная мера, пока не откроется проктологический центр Берендеева, под который он оттягал недостроенное здание Академии наук); Устюжину он выбил ставку доцента и кремлевскую столовую, терапевту — звание заслуженного врача, а усатого сделал своим заместителем. Берендеев неукоснительно следовал первой заповеди нашего общества: все для человека. Человеком он считал прежде всего самого себя, но и другим, коли нужны были, не отказывал в этом звании. Он позаботился, чтобы Устюжина, работавшего с полной отдачей, хорошо, с комфортом устроили. Ему дали лежачок с матрасом и простынкой, под живот подложили валик, чтобы не перенапрягался, а самого отгородили от аудитории фанерной ширмой с круглым отверстием. Кабинет превратили в аудиторию, поставив сюда студенческие столы со скамейками. Пока шла лекция с демонстрацией, Устюжин безмятежно читал «Пером и шпагой» Пикуля, потягивая из мензурки разведенный спирт и закусывая кремлевским балыком.

Муштинкин тихонько проскользнул в дверь. Берендеев демонстрировал «феномен Устюжина»

группе иностранных специалистов. Лекцию он читал по-английски с таким чудовищным произношением, что аудитория не понимала ни слова. Берендеев говорил на всех европейских языках, но поскольку он изучал языки по словарям, полагаясь на свою феноменальную память и пренебрегая фонетикой, то произносил слова б у к в а л ь н о: «the» у него звучало как «тхе», «enough» как «еноух», и все в таком вот роде. Но в данном случае это ничего не значило перед очевидностью чуда, глядящего из круглого окошечка.

Когда Мушинкин вошел, точнее, бесшумно скользнул в аудиторию, Берендеев повернул к нему львиную голову и метнул гневный огонь. Мушинкин ссутулился и приложил палец к губам. Решив, что вошедший — сексот, приставленный к иностранцам, Берендеев успокоился и продолжал лекцию.

Мушинкин поначалу не узнал Устюжина в его задней части, английский Берендеева тоже не помогал постигнуть ситуацию, но затем он что-то смекнул и посредством несложных умозаключений воссоздал в уме довольно точную картину случившегося. Он не стал дожидаться конца лекции.

Вернувшись на работу, он сказал Ступаку:

— Устюжина мы потеряли. Он весь ушел в науку. Давай запускать Садчикова.— И добавил с глубоким удовлетворением, полностью разделенным его собеседником: — А все-таки Устюжина вырастил наш коллектив...

Меж тем в Голодандии дела складывались весьма непросто, тревожно и непредсказуемо. Смертность возрастала в геометрической прогрессии. К этому относились спокойно, ибо души

умерших прямехонько отправляются в рай. Беспокоили участившиеся случаи самосожжения захребетных старцев. Собственно, и на старцев было наплевать, они представляли одну из бесчисленных религиозных сект, без которой вполне можно обойтись, но это подрывало престиж страны. Огненные старцы были желанной добычей журналистов, безмерно раздувавших пламя их костров. Западные державы, привыкшие совать нос куда не надо, заявили, что если огнепальное действие не прекратится, они срежут кредиты и прекратят поставку тех материалов, без которых Голодандии и думать нечего о собственной атомной бомбе.

Резко возросшая смертность в известном смысле повысила благосостояние народа, ибо экспортных товаров приходилось теперь на душу населения больше, чем прежде. Но Отец Вселенной боялся остаться без подданных. А главное и самое страшное — Священная корова продолжала худеть. Ее упрямое нежелание отойти от заразных дверей толковалось в самых противоречивых смыслах, смущая умы верующих.

И Отец Вселенной пригрозил Генсеку: если тот не хочет, чтобы орден Сияющий дракон был вручен не ему, а английскому премьеру Маргарет Тэтчер, то пусть немедленно пришлет сагиба-химика, работавшего на строительстве предприятия.

— Дорогая Маргарет Тэтчер! — вздохнул Генсек, пробежав послание державного мальчика; при этом в памяти возникли не красивые и сухие черты «железной леди», а массивное индейское лицо главы парламентской делегации Колумбии. Паршивцы из секретариата опять перепутали бумажки и подсунули ему текст,

оставшийся от последней встречи с Маргарет Тэтчер — у колумбийцев глаза на лоб полезли. Ох и поупражнялись в остроумии вражеские голоса! А чего тут такого, с каждым может случиться. Он так расстроился, что хотел подать в отставку. Насилу отговорили. Он согласился остаться за пятую звезду Героя Социалистического труда. И вдруг Генсек испугался: что, если вздорный мальчишка и правда отдаст предназначенный ему орден дорогой Маргарет Тэтчер? Ни о чем он так не мечтал, как о Сияющем драконе! У него были хорошие иностранные ордена: Святого Духа, Золотого руна, Подвязки, Бани, откуда-то немецкий Железный крест, но хотелось ему Сияющего дракона. В нем золота было больше, чем во всех других орденах вместе взятых. Орден Победы тоже хороший орден — с крупными алмазами, но его вроде бы после смерти отбирают. Генсек усмехнулся, представив себе смельчака, который попытался бы что-нибудь отобрать у его женушки. Да и не собирается он умирать. Его лечение было поставлено так, что умереть нельзя, даже если очень захочешь. А он вовсе не хотел, он хотел жить и получать награды. Сияющего дракона он хотел, а дорогая Маргарет Тэтчер пусть подождет...

— Сиськи масиськи! — Такими словами встретил Генсек вызванного им главу отечественной безопасности.

При всей своей хваленой выдержке Генерал растерялся. Потом решил, что это японское приветствие (недавно проездом из Парижа Генсека посетил премьер-министр Японии), и ответил ему единственной японской фразой, которую знал:

— Ниозимо норю сё!

Эти приветственные слова каждое утро слышат по радио японские граждане, пробуждаясь ото сна.

И сразу понял, что промахнулся. Когда-то большие, сочные, а ныне сузившиеся, слипшиеся глаза Генсека сверкнули злобой. Две мысли пересеклись в мозгу Генерала: первая — а он вовсе не добрый, откуда взялась эта легенда? Самовлюбленный, коварный и злобный, как хорек. И вторая — он становится похож на старого больного японца.

— Что это значит? — выхрипнул из пораженной гортани Генсек, и его знаменитые брови по-дикобразу выострились.

Генсек давно уже не произносил больше половины слов, но то ли не замечал этого, то ли плевать хотел на свою картавость. Но одно слово, действительно трудное, не давало ему покоя: «систематически». Он любил это слово, особенно в докладах, но произносил его неприлично, что было подхвачено «голосами» и растрезвонено всемирно. Поскольку все советские люди слушали «голоса», как бы их ни заглушали — изобретательность отечественных Кулибиных по части устранения помех могла сравниться только с их достижениями в области самогоноварения, — то «сиськи масиськи» стали летучим выражением. Генерал не слушал «голосов», был чужд городскому фольклору, но о «сиськах масиськах» знал из донесений. Как же можно так опростоволоситься? «Старею!» — вздохнул Генерал и с грустью подумал, что, пока этот заживо гниющий человек испустит дух, он сам выдохнется и не сумеет повернуть судьбу несчастного, спившегося, замороченного и все равно самого лучшего народа на свете.

Автор хочет напомнить читателю, как натужно, тяжеломерно выглядит у великого Бальзака назойливое копирование немецкого акцента барона Нюссинжена. Но ведь плохое произношение Нюссинжена — цветочки по сравнению с тем воляпюком, на котором изъяснялся Генсек. Поэтому автор будет давать его речь в переводе на русский язык.

— Систематически штудирую эту книжицу,— сказал Генсек и показал Генералу обложку своего последнего произведения «Ренессанс».— Читал?

— Как и каждый культурный человек,— почти небрежно ответил Генерал, но в нарочитой этой небрежности была тонкая лесть.

— А я вот не читал,— простодушно сказал автор.— Руки не доходят, то одно, то другое... Но поначалу — интересно, значительно, жаль, трудновато. Стиль у меня, понимаешь, фразы длинные, деепричастные обороты, всякие закадычные слова. Откуда только берется? Надо будет новую книгу понятнее написать.

— А эту можно адаптировать.

— Чего?

— Упростить. Как для школьных библиотек.

— Вот ты этим и займись,— решил Генсек.— Тогда я ее прочту. Значит, договорились... Поймай!.. Я тебя вроде для другого вызвал...— Он пошарил на столе, нашел послание Отца Вселенной.— Да, Голодандия! Скажи, мы интернационалисты или кто?

Генерал побледнел, и ясно выступили веснушки, обычно погашенные склеротическим румянцем. Неужто опять будем вводить войска? С тем интернациональным долгом никак не расчитаемся. Застряли — хуже некуда. Мусуль-

мане газават объявили. Со всем миром поссорились. Положим, «весь мир» — это фикция, никакого мира нет, есть Америка, и она нам не спустит. Глядишь, тоже захочет выполнить свой интернациональный долг перед Никарагуа или Кубой. А там китайцы вспомнят, что недополнили долг перед Вьетнамом, да и Южная Корея задолжала своим северным братьям. Начнется интернационализм в мировом масштабе.

— По-моему, мы не готовы к выполнению своего долга перед Голодандией. Наше превосходство в танках и авиации может и там не работать,— довольно твердо сказал Генерал.

— Я старый воин и выше тебя по званию,— хохотнул Генсек,— а не такой воинственный. Речь идет о технической помощи стране.

И он рассказал Генералу все то, о чем мы уже знаем и что отлично знал Генерал. Почему же, зная это, Генерал не вмешался? Прежде всего потому, что вопрос о Голодандии шел не по его ведомству, а через Главного идеолога, а в чужие дела вступать не положено. К тому же он вовсе не заинтересован был облегчать жизнь Главному идеологу, которого органически не переваривал. Другое дело сейчас, когда ему дано задание.

— Вас понял,— сказал он.— Чем же мне раньше заняться: книгой или Голодандией?

— Книгой, конечно...— Генсек вдруг засмеялся дробным старческим смешком, вылизавшим узенькие японские глаза.— Нет, книгу мы Идеологу подсунем. Пусть попотеет. Хватит толочь воду в ступе. А ты займись Голодандией.

Генерал уже поднялся. Он стоял у широкого окна, глядевшего на Старую площадь. Внезапно его рассеянный взгляд усек какой-то непорядок

в законном мире. Площадь Ногина была запружена машинами, такая же картина открылась и по другую сторону: перекресток улицы Куйбышева и проезда Серова закупорен. Все движение в этой части города было парализовано. Догадываясь, что произошло, он слегка отодвинул штору. От площади Дзержинского к Старой площади тащились цугом три черных лимузина. То был поезд Главного идеолога. Тяжело больной человек, он по количеству недугов едва ли уступал Генсеку. В черепной коробке у него давно уже плескалась жидкая каша вместо мозга, сохранявшая в своей аморфной массе лишь злобу, осторожность и набор мертвых догм. Целым еще недавно оставался мозжечок, куда переместились некоторые простейшие функции головного мозга. Но в самое последнее время Идеолог стал терять равновесие, ориентацию в пространстве, что несомненно свидетельствовало о неполадках в мозжечке. Конечно, для того, чем занимался Идеолог, достаточно было и костного мозга, но ему упорно хотелось работать головой. И, оберегая свой единственный мозговой центр, Идеолог создал для него щадящий режим: он ходил черепашьям шагом, здороваясь, не кланялся, головой не вертел, а на машине передвигался со скоростью пять километров в час. Когда он выезжал из своей квартиры на Кутузовском проспекте, замирало все движение в городе по линии Арбат — проспект Маркса — площадь Дзержинского.

— Что ты там высматриваешь? — подозрительно спросил Генсек.

— На днях здесь будет Главный идеолог, — сказал Генерал.

— Откуда ты знаешь? — удивился Генсек.

— Вижу его машину.

Генсек не улыбнулся, он давно утратил чувство юмора от маразма и потрясенности собственным величием.

— Я вызвал его. Знаешь, какой он ревнивый. Я ведь ему поручил, а он все провалил...— голос стал странно затухать,— как всегда... сиськи масиськи...

Генерал воздержался от подтверждения мысли Генсека, чтобы тот не заложил его Главному идеологу.

— Дорогая Маргарет Тэтчер! — отчетливо и громко сказал Генсек.

— Вы ко мне обращаетесь? — спросил Генерал.

— А ты разве Тэтчер? Ты колумбийский парламентарий.— Щелчки глаз совсем сомкнулись, но речь восстановилась полностью, и это было страшно, как начало исхода.— Сиськи масиськи! — отчетливо, с нажимом крикнул он, будто бросая вызов кому-то.

Он весь обмяк, провалился в самого себя, только старческие крапчатые руки жили, они шарили по сукну письменного стола, что-то искали. И нашли — кисть напряглась последним спасающим усилием. Там кнопка, сообразил Генерал.

Двери распахнулись, и во главе с академиком Берендеевым в кабинет вторглась команда молодых людей в белых халатах. Седая львиная грива академика развевалась. Он кинулся к Генсеку, подхватил сползающее с кресла тело и, перегнув через колено, вытащил из прорези в брюках гуттаперчевую трубку с металлической насадкой, в которой было множество маленьких круглых отверстий.

— Сердце! — гаркнул Берендеев.

Вперед шагнул рослый молодой человек борцовой наружности. Берендеев что-то искал у него на груди и вытянул из-за пазухи трубку, которую свинтил с той, что вела в тело Генсека.

— Почки!..

— Легкие!..

— Печень!..

— Желудок!..

Вызывал Берендеев и включал в изношенный организм молодые здоровые органы.

— Селезенка!..

Коротко стриженная травестюшка чуть ли не на одной ножке подскочила к Берендееву.

— Когда ты станешь серьезней? — укорил ее академик, но чувствовалось, что он не сердится.

— Когда постарею! — и стрельнула зелеными глазами в Генерала.

— Кишечник!.. Кажется, все?

Генсек оживал буквально на глазах: порозовели щеки, глубоким и спокойным стало дыхание.

Генерал в задумчивости вышел из кабинета. «А селезенка очень недурна!» — вспомнил он, стряхнул докучные мысли и чуть было не столкнулся с появившимся в дверях Главным идеологом.

— Ты-то мне и нужен, — проскрипела верста в пиджаке и вдруг заканючила бабьим жалостливым голосом: — Освободи меня от Гололандии, будь другом!

«Другом»! Главный идеолог люто ненавидел его. То была ненависть узурпатора и завистника. Ни для кого не было секретом, что он захватил место, по праву принадлежащее Генералу. Комбинация, уведшая Генерала со Старой площади

на площадь Дзержинского, была осуществлена совместными усилиями его и Генсека, тоже опавшегося соперничества. Два злобных полуразвалившихся и любящих власть старика боялись его относительной молодости и относительного здоровья (бодрый вид Генерала был обманчив, но рядом с ними он казался цветущим юношей), его ума, образованности и порядочности. К тому же знали про себя, что рано или поздно он станет первым, а потенциальных преемников никто не любит.

И вот этот ненавистник воззвал к дружбе. В чем тут подвох? Дело выеденного яйца не стоит: послать работника в отсталую дружественную страну. Но им занимается сам Генсек, на нем провалился Главный идеолог, и вот теперь хотят подставить его. На мгновение мелькнула мысль: не слинять ли? Можно лечь в больницу на обследование. Можно сочинить микроинфаркт — любимую дипломатическую болезнь ответственных работников, но он тут же подавил недостойную слабость. Он обязан одержать победу там, где провалился Главный идеолог. И заверил своего собеседника, что расстарается для друга.

Они расстались. Главный идеолог шаркнул ногой в направлении кабинета Генсека, а Генерал вызвал лифт. Конечно, стоило бы повидаться кое с кем и подразузнать об этом загадочном деле, но была опасность, что Главный идеолог пустится в обратный путь и закупорит дорогу до вечера.

Секретаря парткома Мушкина вызвали на Новую площадь. Он удивился, но никакой тревоги не испытал. У него все было чисто. Случись это в прежние времена, Мушкин тоже пошел бы

без страха и сомнения, он свято верил в справедливость органов, в щит и меч государства. Нет дыма без огня: если человека брали, значит, было за что. Ведь его же не посадили и никого из родственников не посадили. Неопровержимый аргумент перевешивал для Мушкина всю болтовню, поднявшуюся после XX съезда. Сейчас, правда, болтали куда меньше, вообще не болтали, и Мушкин видел в этом подтверждение своей правоты. Перед Генералом предстал бодрый, отобилизованный, с чистым, прямым взглядом партийный человек.

Вначале поговорили о том о сем, для разминки. О погоде, о мемуарах «Ренессанс», которые оба не читали, об открытии века в заду Устюжина. Мушкин счел уместным напомнить Генералу, в каком коллективе сформировался Устюжин. Заурядность, недалекость Мушкина были так очевидны даже в этом коротком разговоре, что Генерал несколько озадачился, более того — струхнул. Если на нем обжегся Главный идеолог, значит, есть какая-то тайная сила в банальнейшем представителе среднего партийного звена. Но надо было переходить к делу.

— Вы что — решили извести Голодандию? — спросил Генерал осторожно.

Мушкин улыбнулся — оценил генеральский юмор.

— Зачем нам ее изводить? Мы интернационалисты.

— Плохие интернационалисты. Не хотите помочь стране.

Мушкин не ответил, будто не понял.

— Почему до сих пор не оформили человека?

— Казус вышел, товарищ генерал. Кто знал, что Устюжин — феномен. Наша недоработка.

Сейчас исправляем. Задействован товарищ Садчиков. Хороший, крепкий кадр.

— Он же бухгалтер, а нужен химик.

Мушкинkin развел руками.

— Голубцова Тамара Ивановна в декрете. Остальные невыездные. Пятый пункт.

— Не все же...— вяло возразил Генерал.

С ним творилось что-то неладное. Он все больше робел перед ничтожным, но непоколебимо уверенным в своей правоте человеком.

— Я и говорю, не все. Тамара Ивановна Голубцова в декрете.

— У вас еще Суржиков есть.— Генерал пытался придать голосу суровую твердость, но слышал в нем какое-то противное дребезжание.

— Он только что из Японии вернулся.

— Ну и что же? Он там не груши околачивал — дело делал. И Голодандия требует Суржикова.

— Они не знают, что он только что был в загранике.

— Да какую же это играет роль? — Генерал стукнул кулаком по столу, но жест получился не угрожающим, а беспомощным.

— Как какую? — удивился Мушкинkin.— У нас большой коллектив. Путев... приглашение на одного человека, и мы не можем посылать товарища, который только что вернулся из длительной поездки. Нельзя же так: одному пироги да пышки, другому кулаки да шишки. Это не по-партийному. И коллектив нас не поймет.

— Да ведь гибнет страна, Мушкинkin!

Тот вынул из кармана слегка помятый листок бумаги и протянул Генералу.

— Что это? — не взяв бумаги, спросил Генерал.

— Заявление товарища Суржикова. Будучи занят по основной работе и уважая интересы коллектива, он от поездки отказывается,— как по писаному сказал Мущинкин.— В сложной ситуации товарищ Суржиков повел себя как настоящий советский человек.

— А вы уверены, что бухгалтер Садчиков поможет Голодандии?

— Этого не могу сказать ни за товарища Садчикова, ни за товарища Суржикова.

— А Голодандия может. И требует Суржикова.

— Требовать они не имеют права,— улыбнулся Мущинкин.— Мы суверенное государство. Товарищи из Голодандии не знают нашей ситуации. Надо им объяснить, и они успокоятся.

«А ведь он упрям не из тупости,— осенило Генерала.— Тут все глубже и страшнее. Он отстаивает свои привилегии, являющиеся привилегиями всего того слоя, который он представляет. Это их крохи власти, и они их не отдадут. Да и такие ли уж это крохи? Возможно, их власть больше нашей, которая ими гарантируется, но и ограничивается. Я ничего не могу сделать с Мущинкиным. Посадить? Не те времена. Снять с поста, выкинуть из партии — не моя прерогатива. Это мог бы сделать Главный идеолог, но не решился. Не потому, что боится Мущинкина. Сам Мущинкин — ничтожество, ноль, но он частица системы, имя которой аппарат. Мущинкина вообще нет, есть его место, а с местом ничего поделаться нельзя. Ну, прогонят Мущинкина, в его кресло сядет другой... Мущинкин. Прогонят этого — третий. Такой же — один к одному. Ну, может, другой цвет волос, глаз, другие привычки — какое это имеет значение? Он

будет делать все то же и так же не пустит Суржикова, потому что тот недавно вернулся из Японии. Любого из нас скинуть ничего не стоит, даже Генсека. Хрущева, колосса, историческую фигуру, убрали тихим дворцовым переворотом, достойным какого-нибудь плюгавого немецкого княжества восемнадцатого века. Убрать главу правительства в сто раз легче, чем Мушинкина, ибо за Хрущевым не было никого, а за Мушинкиным — аппарат. Мы можем метать громы и молнии — аппарат все равно сделает по-своему. Убрать кого-нибудь из них можно, если аппарат согласен. Они изредка бросают нам эту кость, чтобы поддерживать в нас иллюзию власти, а уволенного устраивают на равноценное место, а то и повыше. В иных случаях можно ликвидировать само место, даже места, но они не исчезнут, а лишь переместятся, аппарат бдительно следит, чтобы общее число мест не уменьшалось, каждая попытка к сокращению ведет лишь к приросту. А ликвидировать все места — значит ликвидировать строй. Мы сами создали эту систему, видя в ней гарантию нашей власти, а существуем лишь потому, что аппарат нас терпит. Мы тоже нужны ему. Вот в чем ирония судьбы или с легким паром. Правила выезда за границу — абсурд. Но мы не можем их упростить, хотя над нами смеется весь мир, и мы теряем время, деньги, престиж, возможности. За этой канителью стоит целая армия бездельников и вездесуев, которых не распустишь, не разгонишь. Они собираются, льют воду, вызывают отъезжающих пред свои тусклые очи и задают им идиотские вопросы о государственном устройстве Бенина и политической программе дорогой Маргарет Тэтчер. И за них весь аппарат, ибо сегодняшние аппаратчи-

ки — это завтрашние пенсионеры, то бишь члены выездной комиссии и всех подобных ненужных институций. Аппарат — хозяин положения. Чудище обло, огромно, стозевно и лайяй, так, кажется, у Тредиаковского? Если посчитать всех деятельных бездельников, которые мешают людям выехать за рубеж, да прибавить к ним всех, кто мешает развитию промышленности, сельского хозяйства, строительства, науки, искусства, кто не пускает к читателям хорошие книги, а к зрителям хорошее кино и театр, кто разрушает торговлю, сферу услуг, почту и телеграф, транспорт, городскую и сельскую старину, то получится великая и могучая армия, превосходящая своей сплоченностью вооруженные силы страны. И как от нее избавиться? Говорят, что плюрализм у нас потому невозможен, что народу не прокормить второй партии. Это неверно: самоотверженный и безотказный народ наш и так кормит всех названных вредителей-вездесуев (сколько их — 15—20 миллионов?) вместе с их семьями. А если они перестанут вредничать, то народу будет неизмеримо легче. Пусть получают пенсию, равную окладу, пусть сохраняют все свои привилегии: квартиры, дачи, персональные машины, закрытые распределители, спецбольницы, санатории, охотничьи домики, пусть их детям будет гарантировано, независимо от способностей, поступление в МИМО или на факультет журналистики МГУ с последующей работой за границей, пусть их ежегодно награждают орденами, медалями, академическими лаврами, только бы они ни во что не вмешивались, а качались в гамаках, веселились, развлекались, словом, отдыхали. Пустые мечты — не хлебом единым жив человек. Вкусившим власть нужна власть. Власть

Генсека над всеми жителями измученной страны, власть мушкинских над суржиковыми. Не только атрибуты власти, но реальная возможность насилия. Кто знает, от чего труднее отказаться: от спецпайков, дач и машин или от возможности угнетения себе подобных? Так что выхода нет. Эта система окостенела, и ее не размягчить никакими усилиями. Все перемены могут быть только внутри нее, но, как ни пересаживай крыловских оркестрантов,— музыки не возникнет. И я бессилён перед этим оловянным человеком, его не проймешь воплями о гибнущей стране. Все соображения ничего не стоят перед непреложным фактом, что нельзя два раза подряд ездить в загранку. Ездить, положим, можно, только не суржиковым».

— Ладно, товарищ Мушкин. Пропуск подпишите в секретариате.

И когда Мушкин был уже в дверях, Генерал остановил его вопросом:

— Пойдите, Мушкин. Скажите, вы в бога веруете?

— Я коммунист, товарищ Генерал.

— Я знаю, что у вас есть партийный билет. Я по-серьезному спрашиваю.

Мушкин понял, что вопрос неофициальный, доверительный и ответить на него можно честно.

— В бога я, конечно, не верую. Но считаю, что там кто-то такой есть.

— Помолитесь тому, кто там есть, чтоб будущая революция была бескровной,— истово посоветовал Генерал.

Несколько сбитый с толку, но твердый духом Мушкин покинул кабинет...

Генерал понял, что прямой путь откомандирования Суржикова в Голодандию не годится.

Оставался один доступный ему способ: заслать Суржикова в качестве нашего агента. Для этого не требуется ни характеристики, ни районного утверждения, ни последующей волокиты, ни даже справки о здоровье. Все можно проверить за одни сутки.

Суржиков не разделял доверия Мушкинина к органам святого дела сыска и явился на площадь Дзержинского на всякий случай с вещами. Пропуск был выписан только на него, с вещами не пропускали. Встревоженный отсутствием Суржикова и подозревая в том козни Мушкинина, Генерал поднял на ноги все министерство. Запросили КБ и дежурного Склифосовского, разослали людей по всем моргам и вытрезвителям. Совершенно случайно кто-то из работников к исходу дня наткнулся на Суржикова в пропускной. В который раз за последние дни Генерал с горечью подумал: «Мы создали систему не пригодную для жизни».

— Зачем вы взяли с собой вещи? — спросил Генерал Суржикова.

— А как же без теплого? Там небось холодно.

— В Голодандии? — усмехнулся Генерал.

Суржиков не ответил, он не понял.

— Почему вы решили, что вас посадят? — допытывался Генерал. — Разве вы в чем-то виноваты?

— Ни в чем я не виноват. А это — самое худшее.

— Почему?

— От вины еще отвертеться можно, а коли ничего нет, что тут докажешь? Амба!

Наверное, следовало возразить, но почему-то Генералу возражать не хотелось. И вообще, он

чувствовал странную усталость от этой истории, казалось бы, такой простой и ясной. Все просто, как дважды два, но никто не хочет произвести несложное умножение. Ответ: четыре — означает спасение несчастной страны от гибели, но именно это никого не интересует. Вот и Суржиков после длинной вразумляющей тирады Генерала о положении в Голодандии сунул ему какую-то мятую бумажку. Конечно, заявление об отказе от поездки. А ведь он боится Муштинкина куда больше, чем меня! — осенило Генерала. Он вдруг понял, что безразличие людей к судьбе Голодандии идет не от душевной черствости и даже не от замороченности — от неверия в реальность беды. Людей столько наобманывали, что все идущее от власти они принимают не всерьез, буквально, а с многими поправками, сводящими на нет изначальный посыл. Суржиков, возможно, допускает, что в Голодандии что-то случилось, но вовсе не будет удивлен, если окажется, что там ничего не случилось или случилась чепуха на постном масле. Хладнокровно спишет на неверную информацию, которую в просторечии называют «бардаком». Все граждане, не стовариваясь, признали наш сегодняшний дом бардаком и лишь изредка вздыхают о том порядке, который царил при Сталине, когда потоком лилась кровь, трещали переполненные тюрьмы, мерли люди сотнями тысяч в лагерях, никто не мог слова пикнуть, зато не опаздывали поезда и каждый год снижались цены на штапельное полотно, спички, бумагу от мух.

— Поскольку времени у нас в обрез, мы отправим вас в качестве секретного агента. Вам не надо будет шпионить, я категорически это запрещаю. Знаю я вашего брата — каждый в ду-

ше майор Пронин или Штирлиц. Вы едете устранить аварию, и только. Уговорились? Вас забросят завтра. Сделаете работу — и назад.

— С парашютом прыгать? — побледнев, спросил Суржиков. — Я не умею. Даже в Парке культуры не прыгал.

Генерал внимательно поглядел на него.

— Отказываетесь?

— Да нет... чего уж... раз надо... — пробормотал Суржиков.

Генерал закусил губу. Боже мой, он готов прыгать! Мы воспитали героев, но не воспитали граждан. Ему в голову не приходит послать меня куда подальше. Он не из страха пролепетал свое: чего уж... раз надо... И таких людей мы мучаем!..

— Успокойтесь, Суржиков, вас отправят самолетом. Там встретят. И проводят. Ваше дело — работа, об остальном не беспокойтесь.

Дверь стремительно распахнулась, и в комнату не вошли, а ворвались трое: двое женоподобных мужчин в форме и мужеподобная женщина в халате защитного цвета. Суржиков кинулся вперед и загородил собой Генерала. Милые мои! — екнуло генеральское сердце, — он решил, что это покушение, и закрыл меня своим телом.

— Не волнуйтесь, — сказал он, положив руку на плечо Суржикова. — Это инвентаризация.

С преувеличенной грубостью, размашистостью, не обращая внимания на хозяина кабинета и его посетителя, энергичная, уверенная в себе тройка принялась за дело. Они хватали, вертели в руках, с шумом ставили на место разные предметы и что-то помечали в реестре, который держал один из толстозадых мужчин. Вот так ворвались к Павлу I его убийцы, подумал Генерал, с той же гнусной развязностью и хамским шу-

мом. Я могу стереть их в порошок, стоит мне пальцем пошевелить, но я не сделаю этого, они за пределами моей власти, подчиненные тому высшему, чему имя: инвентаризация. А что это значит? Они проверяют, не украл ли я что-нибудь из казенной мебели, литографию с изображением Красной площади, графин с водой, граненные стаканы, портрет Генсека в маршальской форме, пепельницу, чернильный прибор, фабричный коврик, настольную лампу, еще какую-то ширпотребовскую дрянь, находящуюся тут со времен Менжинского. И я обязан это терпеть. Ин-вен-та-ри-за-ция! В каких провалах сталинской тьмы зародился этот дикий обычай и почему обрел столь непреложно хамскую форму? Может быть, Сталин был убежден в повальном воровстве, в воровстве сверху донизу, не обошедшем и высших людей государства, и в защиту от него изобрел эту полицейскую меру, а такие акции, как известно, не отличаются деликатностью. Цель хамства — ошеломить, унижить, кинуть себе под ноги, глядишь, подозреваемый, а мы все подозреваемые, вынет из кармана похищенную открывалку для боржомных бутылок, электрическую лампочку, чайную ложку. Ладно, лишь бы скорее убирались.

Цареубийцы отбыли, не попрощавшись, шаркая подошвами, и захлопнули за собой дверь.

— Документы мы вам оформим. Легенда у вас такая: студент института Патриса Лумумбы, возвращающийся на родину. Разговорник из пяти необходимых фраз вы получите. Одежду тоже. Сейчас я позвоню, чтобы вас экипировали.

— А почему я не могу ехать в обычном?

— Вы-то можете, да мы не можем. Тут такое начнется! Замучают доносами. Послали, мол,

своего, по благу, прибарахлиться или на сафари. Вы не представляете, как трудно стало работать. На меня вот такое досье.— Генерал показал на метр от пола.— И главное, пишут не только на Старую площадь или в КПК, а сюда, мне — на меня!.. Я не должен этого говорить. Подпишите бумагу о неразглашении государственной тайны.— Он небрежно подsunул Суржикову какой-то листок с печатным текстом.

Суржиков пробежал его глазами, вынул шариковую ручку и расписался.

Генерал набрал номер телефона.

— Срочно — комплект Гол-два. Ходовой размер. Можно б. у. Ко мне в кабинет... Что-о?.. Как это может быть?.. Канарейкин еще не отчитался? Вызвать немедленно!.. В отпуске? Где? На байдарках... А, черт!..

Генерал швырнул трубку, потер руками лицо.

— У вас есть белая рубашка, лучше спальная, кальсоны и вафельное полотенце?

Суржиков кивнул.

— В этом и поедете. Из полотенца сделаете чалмушку.

— Неудобно,— пробормотал Суржиков.

— Что за чепуха! Там все так ходят.

— Там-то ходят. А здесь, если я появлюсь на улице в подштанниках, меня сразу заберут.

— В аэропорт вас доставят на машине. А там — дети разных народов. Иные просто в чалме, без подштанников. Брюки возьмите с собой. Когда полетите назад, переоденетесь и домой вернетесь в нормальном виде. Деньги у вас есть?

— Какие?

— Ясно не рубли. Хилии.

— Откуда им быть?

— Могли остаться от той командировки.— Генерал снял телефонную трубку, в его движениях проглядывала неуверенность.— Нинель Тимофеевна? Это я. Как здоровье?.. А у кого в наше время хорошо?.. Нинеличка Тимофеевна,— голос замедовел, засахарился,— выручайте, душечка. Нужны хилии... Да?.. А зеленские?.. Без ножа режете. Мы тут одного человечка должны послать... Может, марки, или фунты, или франки?.. А что есть?.. Тугрики и леи?.. Вы бы еще рубли предложили.

Расстроенный Генерал бросил трубку. Встал из-за стола, отомкнул сейф.

— Энзе. Заначка с последней командировки. На горячие сосиски хватит. Там еда дешевая. Поешьте хорошенько в самолете, с собой возьмите консервы, пусть жена сухарей насушит... Да, это все не для разглашения. Распишитесь.

— Я уже расписался.

— То была государственная тайна, а это финансовая... Да, Суржиков, вы небось думали, что мы тут глобальные заговоры сочиняем, операции всемирные разрабатываем. А мы возимся с бумажками, выбиваем фонды. Канцелярия душит!.. И полное отсутствие всякого присутствия.

Он протянул Суржикову десятидолларовую бумажку.

— Чем богаты, тем и рады. Что мы еще можем для вас сделать? Нужны какие-нибудь сведения о катастрофе? Все засекречено, но если вы настаиваете...

— Нет,— сказал Суржиков.— Мне бы одно узнать: были какие-нибудь рационализаторские предложения по проекту?

Генерал остро глянул на Суржикова.

— Понимаю ход вашей мысли. Значит, вам известно, чей это проект?

— А как же, раз я там работал.— Суржиков сам взял голубой листок с обязательством неразглашения и подмахнул его.— Я не все узлы знаю, пока разберусь, время уйдет.

— Вас понял,— сказал Генерал.— Поскольку это не связано ни с чем материальным, вы увидите, как мы умеем работать.

Он опять куда-то позвонил. Телефон работал безотказно.

— Престо! Рацпредложения по объекту «Глория», на стадии установки. В кабинет.

Пока готовили справку, Генерал познакомил Суржикова с подробностями операции. В аэропорту, который находится неподалеку от места аварии, его встретят два сотрудника и отвезут на объект. Они потом заберут Суржикова и устроят в гостиницу и вообще будут целиком в его распоряжении. Когда же он кончит работу, посадят в самолет. Ребята отличные. Работают там лет по двадцать, знают все ходы и выходы. Но в ресторан не поведут. Насчет хиллий дело поставлено строго. В этом смысле он должен рассчитывать только на себя. Вот сивуши — местной водки — у них по завязку. Сами гонят из разных отбросов.

— Я не любитель,— заметил Суржиков.

— Все так говорят, а дорвутся до сивуши — не оттянешь. Я вам морали не читаю, вы человек взрослый. У меня одна, но самая настоятельная просьба: не шпионить. Голодандцы этого почему-то не любят. Чем у людей меньше секретов, тем болезненней они относятся к попыткам залезть им за пазуху. И сложно вытаскивать завалившегося. Менять не на что. Голодандцы не

шпионят. Посольство у них маленькое, и никто на улицу носа не кажет. Приходится выкупать. А это накладно. За любого паршивца заламывают ни с чем не сообразную цену. Денег наших, естественно, не берут, требуют нефть, пшеницу, строительный лес, пушнину и матрешек. Мы решили: пусть сидят, кому нужны завалившиеся агенты? Какой там! МСШ так развонялся, что не продохнуть.

— А что такое МСШ?

— Международный союз шпионов. Не надо расписываться, о нем все знают. Мы в него не входим, но от этого не легче. Они все равно осуществляют контроль. Сильная организация, с большими средствами и влиянием. С ней приходится считаться. Так что будьте патриотом, Суржиков, держитесь подальше от секретных объектов. Вы же знаете, как у нас с пшеницей и лесом, да и с матрешками полный завал.

Раздался телефонный звонок. Генерал снял трубку.

— Введи... пусть войдет.

Дверь приоткрылась, и в щель скользнул плоский, будто из бумаги вырезанный, человек, фаса у него не было — лезвие ножа. Он положил перед Генералом пакет, и тут же его высосало из кабинета. Генерал взял разрезальный нож, вскрыл пакет, оттуда выпал маленький листик бумаги. Генерал глянул и налился гневной кровью.

— Черт знает что! Какая-то чепуха. Ничего не понимаю.

Он протянул бумажку Суржикову. Там было всего несколько слов.

— Порядок,— сказал Суржиков.— Я так и думал.

— Это поправимо? — робко спросил Генерал.

— Все поправимо. Главное попасть туда.

— Ну, с богом! — Генерал встал. — Я верю в вас. Берегите себя, Суржиков, вы нужный член общества.

Они обменялись рукопожатием, и уже через день не стало Суржикова, а появился выпускник Института Патриса Лумумбы, не изменивший за долгие годы обучения в Советском Союзе национальной одежде, но потерявший в русских зимах, осенних туманах и весенней мокрети присущий южанам смуглый цвет кожи.

Генерал оказался прав, что Суржиков не привлечет ничего внимания в аэропорту, правда, с одной оговоркой. Когда он заполнял таможенную декларацию, возле него вертелась сильно накрашенная девица в обтяжных розовых штанишках и кавалерийских сапогах.

— Вы из какой страны? — поинтересовалась девица.

— Из этой... Голодандии, — рассеянно отозвался Суржиков, уничтожая в анкете подозрения, что у него могут быть доллары, фунты, марки, франки и другая валюта.

— У вас там хилии? — подумав, спросила девица.

— Ага.

— Какой сейчас курс?

— В рублях или в долларах? — не отрываясь от дела, спросил иностранец.

— Конечно, в долларах.

Совершенный мозговой аппарат Суржикова молниеносно произвел подсчет, переведя хилии в рубли, а рубли в доллары.

— Один к десяти тысячам ста тридцати семи.

Девушка посмотрела на него с сомнением, достала из сумочки вырезанную из «Известий» табличку.

— Что-то не сходится, сагиб. Неужто хилия так упала?

— В связи с аварией,— отозвался Суржиков.— Скоро опять поднимется.

Наморщив лобик, девушка произвела подсчет на испорченной декларации.

— Гони пятьсот шесть тысяч восьмьсот пятьдесят хилий, и пошли в машину.

— Зачем? — спросил сагиб.

— Я — валютная,— объяснила кавалерист-девушка.

— Ты что — спятила? За такие деньги можно проигрывать купить!

Девушка ошалело посмотрела на Суржикова, затем взгляд ее упал на потертый портфель, стоящий на полу возле его ног.

— Катись колбасой! Дешевка! Набойки новые прибей, пидар московский!

Но Суржиков не слушал; подхватив портфель, он уже мчался к таможенному контролю...

В давяще жарком и душном аэропорту Голландии Суржикова никто не встретил. Опустело громадное голое помещение аэровокзала с медленно вращающимся под потолком пропеллером, его ленивая работа не приносила ни остуды, ни свежести, разошлись даже служащие, и Суржиков остался один. Тревоги и удивления он не испытывал, как не испытал бы этих чувств, если бы оказалось, что его поездка вовсе не нужна. Пути начальственной мысли неисповедимы. А обратный билет у него в кармане; самолеты летают через день, харчишки есть, а переночевать можно на лавочке, тут тепло. Он спокойно про-

хаживался вдоль застекленных стендов, где были выставлены всевозможные товары, продающиеся, как всегда в аэропортах, без налога.

— Суржиков? — послышался за его спиной неуверенный голос.

Он оглянулся: родная сторонка глядела на него бледно-голубым взором с одутловатых лиц двух уроженцев среднерусской равнины в шальварах и батниках.

— Земляки? — обрадовался Суржиков. — А я уж думал, обо мне забыли.

— Мы тебя не узнали. Надо было предупредить, что ты замаскируешься. Думали — черномазый.

— Валютная в аэропорту тоже обозналась.

— Кабы не портфель, мы бы к тебе не подошли. Ладно, поехали в гостиницу. Примем сивуши и обо всем договоримся.

Молчавший до сих пор агент взял портфель Суржикова и чуть не выронил.

— Ого! Ты что, камней туда напихал?

— Консервы и запчасти для ремонта.

— Думаешь починить эту дуру?

— Попробую.

Они вышли из помещения и побрели к стоянке по мягкому, проминающемуся асфальту. Душный воздух был пронизан кислой, едкой вонью.

— Чем это несет? — спросил Суржиков.

— Тем самым. Отчего вся страна загибается, — ответил словоохотливый агент, которого Суржиков окрестил про себя Болтуном, в отличие от другого — Мрачнюги.

Зелень вокруг была какая-то пожухлая, на многих кустах и деревьях листья сморщились и почернели, словно обожженные.

— Плохо дело?

— Хана!

— На прилавках пусто?

— С чего ты взял? Тут всего завались. Японская техника, китайские рубашки, афганские ковры, итальянская обувь, гонконговские костюмы, дамские шмотки от «Диора» и «Кардена», дублюхи уцененные — никто не берет по жаре.

— Жрать нечего?

— Магазины ломаются.

— А мне говорили — голод. Помирает народ.

— Помирают много. У них ведь как: на́клянчил пару хилий — и в кино. Он будет неделю не жрать, но посмотрит все дерьмовые новинки. Здесь фильмов накручивают в шесть раз больше, чем в Голливуде.

А когда сели в машину, молчаливый Мрачняга спросил:

— Как в Москве с харчами?

— Колбасу кошки не едят. Но в столице еще туда-сюда...

Суржиков осекся. Сейчас последует непременно сентенция, что у нас в магазинах пусто, а на столе густо, а у иностранцев... Суржиков не успел договорить в уме эту пошлость, как Болтун уже выкатил колобком осточертевшую чушь, какой утешает себя не способный создать достойную жизнь народ.

Суржикова привезли в гостиницу, проводили в номер и угостили местным сладковатым самогоном сивуши. Он поставил закуску: чуть присоленные черные сухари и баночку бельдюги в томате. В разгар скромного пиршества Мрачняга вдруг всполошился, стал смотреть на часы и горестно вздыхать.

— Чего ты маешься? — спросил Болтун.

— Опаздываю... Я вам не нужен?

— А кому ты вообще нужен? Опять, что ли, распродажа?

— В посольский магазин должны завезти вареные джинсы. Может, кроссовки подкинут.

— Катись! — сказал Болтун, и тот мгновенно исчез, будто растворился в воздухе. — Барахольщик. Только о шмотках думает. Ничего не читает. Над Пикулем заснул. Представляешь?

В этот день Суржиков на объект не попал. Засиделись и за хорошим разговором не заметили, как пала ранняя южная ночь. Генерал оказался прав: сивуши — вещь коварная...

Оставшись один, Суржиков задумался над той противоречивой картиной жизни Голодандии, которая возникла из разных свидетельств. Скорее всего, правда есть и в том и в другом. Какие-то голодандцы умирают, какие-то выживают. А что в магазинах полно, тоже понятно — низкая покупательная способность. И потом, Болтун судит по столице, он не бывал в глубинке, не знает, как живет народ на периферии, к его словам следует относиться с осторожностью. А разве не противоречива и наша жизнь? С одной стороны, полное преуспевание, мы обогнали Запад по всем статьям, с другой — пустые прилавки, сплошное убожество. Видимо, это и есть то, что называется диалектикой и чего никогда не мог постигнуть точный ум Суржикова. Сейчас он впервые что-то ухватил. Мы — это Голодандия наизуот: здесь купить не на что, а у нас купить нечего. Результат же один: хана народу. Это, видать, и есть единство противоположностей. Философски успокоенный, Суржиков заснул сном младенца.

На другое утро Болтун был как штык. Он извинился за Мрачнюгу: в посольстве очередь выстроилась на ночь, поскольку списки себя не

оправдывают, а фиксировать свое место на ладони чернильным карандашом посол запретил. Цифры эти не стираются, и пронумерованные посольские работники служат посмешищем всего дипкорпуса.

Суржиков переоделся в европейское платье, прихватил какой-то сверток и сказал, что готов к выполнению служебного долга. Голова после сивуши была на удивление ясной.

— Ты, что же, так полезешь? — удивился Болтун.

— А что такое?

— Небось скафандр нужен, кислородный аппарат.

— Что я — американец? Пошли.

Им понадобилось всего полчаса, чтобы добраться до объекта. Он еще загодя заявил о себе желтым облачком над верхушками обгорелых пальм и усилившейся аммиачной вонью. А небо было таким синим, глянцевым, бездонным, что казалось, еще возможна радость, еще настанет та светозарная жизнь, которая грезилась в юношеских снах.

На миг прикоснувшись душой к чему-то высшему, Суржиков вернулся на землю, обратившись думой к тем клевым вещам, которые видел на рекламных стендах в аэропорту. Он давно убедился, что все рекламируемое за бугром имеется в продаже. Надо будет договориться с Болтуном, чтобы его пораньше отвезли в аэропорт, тогда он сможет в усталь «покопаться» и, глядишь, выудит что-нибудь для жены.

Как ни погружен был в свои мысли Суржиков, он все же заметил коленопреклоненную толпу, окружавшую смердящее предприятие, словно священный храм. Заметил он и нескольких тор-

чащих столбами старцев с воздетыми к небу тощими руками. Видать, это пророки, или, как их там, муллы, дервиши, стоят не шелохнувшись под палящим солнцем.

Почему-то во всей толпе не было ни одной женщины, а Суржикову в связи с возникшими у него планами нужно было поглядеть на их национальную одежду.

А потом он обнаружил Священную корову и малость оторопел. Была она величиной с танк, вся нежно-опалово-розовая, с ярко-голубыми глазами, горевшими, как два фонаря, под серебристыми, круто изогнутыми рогами. Возле морды коровы трепыхались маленькие красноклювые птички, они опускали на ее толстую черную, с алым подбоем нижнюю губу зеленые травинки. Когда травинок скапливалось достаточно, корова круговым движением челюсти отправляла их в пасть. Как же этим красноклювикам надо трудиться, чтобы прокормить такую махину, да еще чистыми, отборными травинками! — посочувствовал пташкам Суржиков.

А ведь такую гору не обойдешь и не перескочишь. Как же ее отсюда прогнать? Суржиков не был опытен в обращении с рогатым скотом. Он подошел к корове с головы и замахал на нее руками, будто отгонял кур от пшена.

— Кыш, буренка, кыш, тебе говорят!

Корова задумчиво, доброжелательно и печально оставила на Суржикова свои голубые фонари. Ее толстые, мягкие губы разминали травинку.

— Ты что — русского языка не понимаешь? Голубая печаль изливалась на Суржикова.

Он зашел к ней сзади, заломил хвост и тяжелым скороходовским ботинком на микро-

поре взъехал в нежную мякоть подхвостья, в самое чувствительное, потайное место.

Корова взметнулась, поднялась на воздух, словно кончающий самоубийством кит, и огромными скачками устремилась прочь, мотая головой и оглашая простор отчаянным мычанием.

— Он сошел с ума! Его растерзают! — прошептал Болтун, вскочил в машину и трясущейся рукой включил зажигание.

То был неодолимый и тщетный порыв самосохранения — бежать некуда. Фанатики не пощадят ни одного русского, даже секретного агента с двадцатилетним стажем, который за долгие годы стал своим для страны и народа. Они объявят газават всем белым. Этот тупоумный инженерिशко нарушил самое страшное табу.

Толпа молящихся была настолько потрясена кощунственным поступком белолицего, что на какие-то мгновения замерла в полной неподвижности. Верующие уподобились своим пророкам в застылости соляного столба. Они слышали оскорбленные стоны Божества, видели, как осквернитель, повернувшись спиной, расстегнул штаны и помочился в носовой платок. Затем отжал, приложил к носу, распахнул дверь и кинулся в зловонно-желтую клубящуюся муть, полыхнувшую из глубины шайтаньим жаром и пламенем.

Очнувшись, они устремились за обидчиком, чтобы омыть его кровью поруганную святыню, но, встреченные желтым ядовитым выхлопом, попятились назад.

Меж тем нечестивец, ничуть не озабоченный последствиями своей выходки, быстро прошел к главному распределителю, выхватил старый кран и ввинтил новый, который привез из Моск-

вы, купив его на собственные деньги в хозяйственном магазине за два рубля шестьдесят копеек. Суржиков сразу понял, в чем причина аварии, как только заглянул в коротенький список рационализаторских предложений, включавший, кроме отказа от центрального входа, лишь замену американского крана отечественным. Это усовершенствование было столь незначительно (оно потянуло лишь на Госпремию РСФСР), что американские спасатели просто не заметили его, ища причину аварии в основных узлах. А никакой загадки не было: сточилась резьба, отсюда и утечка.

Вся операция не заняла и трех минут. Пошатав кран, Суржиков убедился, что он стоит крепко — на полгода за глаза хватит, и поспешил назад. В горле сильно першило, несмотря на защитную маску в виде смоченного мочой носового платка.

Когда Суржиков показался в дверях, вся толпа пала на колени. За короткое время его отсутствия в настроении людей произошла решительная перемена. И причиной тому — Священная корова. Перестав жаловаться, она повернула голову к клубящейся ядовитыми парами двери и вглядывалась в нее с таким вниманием, что даже перестала брать травинки, которые несли ей на губу красноклювые птички. В какой-то момент, совпавший с заменой испорченного крана новым, о чем собравшиеся, разумеется, не могли знать, она вскинула голову, скакнула по-телячьи и весело подбежала к месту своей бывшей лежки. И самый высохший из пророков — скелет, обтянутый пергаментной кожей, простонал-пропел высоким голосом:

— Чу-у-до!..

И народ пал на колени.

Возговорил другой великий пророк, не достигший, однако, сквозной худобы первого, отчего и занимал в духовной иерархии более низкое место, но сейчас настал его час, ибо ему открылось явление нового божества. И он объявил о нем верующим, указуя на дивного пришельца, в котором поначалу не узнали спасителя.

— Кватанихарамишама!.. Кватанихарамишама!..

Люди запели, не размыкая уст, тихую всепроникающую песню без слов, восславляющую молодого бога. Песня вознеслась, казалось, она творится не на земле, а изливается с синего сияющего неба.

Суржиков никогда не слышал такого пения. Он стоял умиленный, ничуть не подозревая, что воспевают его. И тут Священная корова доверчиво потянулась к нему мордой. Можно было поклясться, что она улыбается, на редкость мило и женственно улыбается своим черногубым ртом. Еще он увидел, что огромные голубые глаза обрамлены длинными пушистыми ресницами. Суржиков не любил животных, но тут растрогался, протянул руку и почесал корове твердый лоб в нежных завитках шерсти.

Он коснулся священного животного, и молния не испепелила его! Если еще и оставались в толпе малoverы и скептики, не убежденные в божественной природе зашельца, то теперь все сомнения испарились без следа. Как исчезли без следа и ядовитые испарения больного агрегата. В открытой двери было видно скучное сырое нутро гигантской котельной.

Толпа ползла к Суржинову на коленях, а оба скелетоподобных старца, соревнуясь, выкрикали

его новое божественное имя все более тонкими, пронзительными и долгими голосами. Виновник торжества наконец-то прозрел, правда, на один глаз: он понял, что чествуют его, но счел это лишь чрезмерной экзальтированной благодарностью. Собрав весь свой скудный запас восточных слов, Суржиков кланялся и говорил:

— Якши, генацвале, хванчкара, зай гезунд, бакши!..

Откуда ни возьмись, в руках у главного старца оказался громадный венок из ирисов, он надел его Суржикову через плечо, будто победителю велосипедных гонок Мира. А другой старец увенчал его венком из красных благоуханных цветов, похожих на розы, но без шипов.

— Бакши, хачипури, бимшармак! — благодарил и кланялся Суржиков. Тут он заметил машину Болтуна и со всех ног кинулся к ней. Едва протиснувшись в дверцу в своем могучем венке, он крикнул загнанно:

— Гони!

— Ты теперь не Суржиков, а Кватанихарамишама, — сообщил Болтун, вырубивая на шоссе. — Божество первого круга второго пояса третьего разряда.

— Что ты несешь? — выпутываясь из венка, придушенным голосом сказал Суржиков.

— А разве ты не понял, что тебя обожествили?

— Этого только не хватало! А если на работе узнают?

— Повесят на Доску почета. Слушай, тебе здорово досталось?

— Чепуха! Ты куда едешь?

— В гостиницу.

— Мне надо в магазин электротоваров.

Там Суржиков выбрал самый дешевый электрический фонарик и, скорбя душой, расстался с двумя из десяти имеющихся долларов.

— Зачем тебе такое дерьмо? — удивился Болтун. — У нас в посольском магазине лучше и дешевле.

— Неохота всю ночь в очереди стоять, — огрызнулся Суржиков.

— Да, мой коллега крепко там подзастрял. Небось уцененные полотеры завезли. Слушай, Суржиков, я тебя к себе не приглашаю, у меня не убрано, но, если хочешь, баночку сивуши захвачу.

Суржиков наотрез отказался: устал, хочет выспаться. А сивуши хлопнем завтра, на посошок. Похоже, Болтуна такой расклад вполне устроил.

Было около полуночи, когда Суржиков покинул гостиницу. Он спустился из окна своего номера, находившегося на третьем этаже, по шершавому стволу финиковой пальмы, прыгнув на него с подоконника. Вокруг — ни души. Спасенная им страна измученно спала в тихой безлунной ночи, припахивающей цедрой. Суржиков бегло отметил про себя, как сильно поднялась за минувший день трава, как густа и свежа листва деревьев. До чего же благодатный климат — побежала по капиллярам чистая влага, и отравленная природа за считанные часы ожила, налилась благословенными соками.

Суржиков быстро добрался до военной базы. Сейчас он собирался сделать то дело, которое, вопреки всем уверениям Генерала, считал главным. Неужто его посылали только для того, чтобы заменить кран? Мы же люди политически грамотные, сами малость подсекреченные, по-

нимаем, что к чему. Зачем внедрять в дружескую страну лишнего шпиона, когда там спокон века ошиваются два бездельника, не лучше ли воспользоваться командированным для другой необходимости специалистом? Пусть его проверяют на детекторе лжи, он с чистой душой будет утверждать, что никто ему такого поручения не давал, напротив — отговаривали. Он сам как сознательный член общества решил прощупать в чисто оборонительных целях военный потенциал соседней миролюбивой страны для скрепления дружеских уз.

База внезапно возникла из темноты лучами прожекторов, засеребрившими колючую проволоку, идущую поверх ограды; четко выделялись силуэты наугольных сторожевых башен. Центральные въездные ворота находились под сильной охраной, а к неприметной дверке в стене для пешего входа и выхода был приставлен лишь один часовой. Прожекторные лучи не достигали этого слабо охраняемого места. Суржиков подполз ближе и увидел, что часовой скручивает наркотическую папироску.

В одной руке он держал тонкую папиросную бумажку с табаком, сложив ее желобком, другой — осторожно подсыпал в табак белый порошок из баночки. Суржиков услышал сладковатый запах марихуаны. Солдат так ушел в свое занятие и предвкушение близкого блаженства, что утратил ощущение окружающего. Суржиков подобрал валявшийся на земле железный прут и метнул в колючую проволоку, по которой, как водится, был пущен ток высокого напряжения. Зеленая ослепительная вспышка — короткое замыкание, и проволока стала безвредной. Часовой вскинул голову и чуть не просыпал курительную

смесь. Это так его напугало — наркотики дороги, купи их на скудное солдатское жалованье! — что встревожившее явление разом выскочило из головы, и он весь сосредоточился на своем тонком, щепетильном деле. Его можно было не опасаться. А как же остальная охрана, ведь нельзя же было проморгать вспышку? Но, очевидно, сейчас был час приема наркотиков. Местные жители — традиционалисты и немного педанты. К этому приучила их религия: трижды в день, в некий час, чем бы ты ни занимался, бросай все, изгоняй из души житейскую суету, расстилай молитвенный коврик и оставайся наедине с богом. Тут не крестятся, не шепчут молитв, не бьют поклонов, только сосредоточиваются, уходят в себя, а через себя к верховному божеству. А затем возвращаются на землю: к делам, торговле, спору, воровству, попрошайничеству, любви, ссоре, к обычным земным заботам. В этот предполночный час они ловят кайф, и тут хоть трава не расти, гори все огнем. Потом, когда папироска будет выкурена, настанет и минет блаженство с малолетними гуриями, добрыми джиннами, волшебной музыкой, придет опамятование, легкий бодрящий озноб, с ним — чувство долга и бдительная готовность. Но, пока это придет, Суржиков сделает свое дело.

Надо было перебраться через гладкую стену. Он и это предусмотрел. В Японии, в доме ниндзя, ему подарили присоски, с помощью которых «люди-невидимки» подымались по отвесным стенам и скалам, выбирались из люков и пропастей. Он захватил эти присоски с собой, равно как и старый чулок жены. Натянув чулок на голову, он ощутил слабый родной запах ее тела, и что-то пискнуло у него в душе, сделав ее на мгновение

слабой: Он справился с собой и вклеил первую присоску в гладь стены. Подтянулся, присоска держала надежно, и шмякнул другую присоску. Выдерживая его немалую тяжесть, присоски вместе с тем удивительно легко отлеплялись. Суржиков представил себе ту же продукцию в отечественном исполнении: присоски или не держались бы, или держались бы насмерть — третьего не дано. Но вот он добрался до верха, осторожно пролез под проволокой, бесшумно спрыгнул вниз, и тут с боязливым криком на него накинулся притаившийся за деревом стражник.

Суржиков почувствовал его легкое, пустое, кошачье тело, без труда оторвал от себя и ударил электрическим фонариком по темени. Солдат покорно лег на землю и свернулся калачиком. Суржиков наклонился — он дышал. Ничего, оклемается.

Длинными, бесшумными прыжками импалы Суржиков устремился к базе. Если бы кто из знавших скромного, мешковатого инженера-химика с потертым портфелем видел его сейчас, то глазам своим не поверил бы — так ловки, упруги и точны были все его движения. Это проснулась в крови родовая память о бесчисленных поколениях умелых воинов, ходивших на хазар, громивших псов-рыцарей на чудском льду, бравших Казань и Астрахань, воевавших шведа под Полтавой и турка под Карсом, сокрушивших непобедимого Наполеона, штурмовавших Шипку, шедших на кинжальный огонь в галицийских полях, гнавших Деникина и Врангеля, поднявших красное знамя над рейхстагом. На войне погибли отец и дядя Суржикова, с империалистической не вернулся дед по матери, много тела роздали Суржиковы в других войнах и немало

сами перепластали народа. По младости лет Суржиков не мог воевать в Отечественную, но вот попал в боевую обстановку и мгновенно обнаружил в себе умелого, находчивого и бесстрашного воина. Наверное, именно это свойство русского народа имел в виду император Николай I, когда говорил, что Россия есть государство по преимуществу военное. Всегдашнюю боевую готовность подразумевал глядевший в корень монарх, способность к бесконечному терпению и яростной вспышке, чем и отличается воинский труд от тягучего, изо дня в день мирного труда. Наш сеятель и хранитель был потому хорош, что работал вусмерть лишь несколько месяцев в году, пока длилась страда деревенская, остальное время отлеживался на печи, копя новую силу. Ползучий, без подъемов и спадов производственный труд по природе своей чужд русскому естеству, органически не терпящему рутины.

Вскоре Суржиков добрался до огромного ангара. Ощупывая стены, он убедился, что это просто брезент, растянутый по металлическому каркасу. Он вынул перочинный ножик, разрезал брезент и проник внутрь. Включил электрический фонарик и не сдержал легкого взвоя: все пространство ангара было забито новенькими танками. Похоже, ими еще не пользовались, мощные пушки не произвели ни единого выстрела на учебном полигоне, гусеницы не мяли, не коржили землю. Против кого же сжала бронированный кулак миролюбивая Голодандия? И он похвалил себя за то, что не послушался Генерала. Суржиков посветил фонариком на броню ближайшей машины: какое-то непонятное слово, начинающееся буквами «м» и «а». Так это же по-английски: made — сделано. Попался кото-

рый кусался! — сказал юному правителю страны разведчик Суржиков. Распинаемся в дружбе к Советскому Союзу, а боевую технику заказываем в US... Он протер глаза, нет, все правильно, черным по белому, то есть белым по зеленому было написано «USSR».

Так вот почему Генерал уговаривал его не совать нос в чужие дела. Ладно. Чего уж!.. Он выключил фонарик и выбрался наружу. Здесь его сразу схватили. Кто-то навалился сзади, кто-то скрутил руки, кто-то ударил по ногам. Суржиков упал. Он не знал, сколько их, знал, что много, ему с ними не справиться, но страх перед скандалом, который устроит жена за то, что он опять полез не в свое дело, удесятерил его силы. И было мгновение, когда показалось, что он вырвется. Нет, не вырвался. Его распластали на земле лицом вниз, потом перевернули и содрали с головы чулок. В глаза ударил сноп света. Он зажмурился, но все же успел узнать солдата, которого он оглушил, и обрадовался, что тот живой.

А затем произошло что-то невероятное. Солдат, светивший ему в лицо, громко закричал, и другие солдаты в ужасе и восторге подхватили его крик. Они бережно подняли Суржикова, отряхнули, вернули чулок, а сами опустили на колени и, заламывая руки, принялись выпевать долгими голосами:

— Кватанихарамишамал.. Кватанихарамишамал..

И тут Суржиков вспомнил, что болтал Болтун, оказывается, его действительно обожествили.

— Селям алейкум,— с достоинством сказал Суржиков.— Аллаверды.

Солдаты подняли Суржикова на руки и понесли к воротам.

— Кватанихарамишама!.. — пели, стонали, рыдали, ликовали они.

Ворота широко распахнулись. Вся охрана присоединилась к шествию, бросив базу на произвол судьбы. Откуда-то появились цветы. Солдаты обрывали лепестки роз, ирисов, лилий, орхидей и осыпали Суржикова. Его доставили в гостиницу. Суржиков благословил с крыльца коленопреклоненное воинство и пошел спать...

Болтун явился вовремя.

— Говорят, ты хотел взорвать военную базу?

— Что за бред? — пробормотал Суржиков.

— Люди вообще много болтают, — покладисто сказал Болтун. — Ты сейчас самый популярный человек в Голодандии. Оставайся. Будешь жить как бог. В тебя влюбилась Священная корова.

— Хватит трепаться!

— Честное пионерское! Голодандцы называют тебя Мужем Священной коровы.

— Я женат. И никогда не брошу свою жену.

— Вольному воля. Я бы на твоём месте хорошенько подумал. В посольстве хотели устроить прием в твою честь, но оказалось, что у тебя ни госпремии, ни звания, ни чина. Решили отложить до Праздника неурожая. Ждут Олега Петровича, тогда и устроят. Ты завтракал?

— Нет.

— Ну и хорошо. Позавтракаешь в самолете. Они берут еду отсюда. Рыбка копченая — язык проглотишь. Сивуши примем?

Но Суржикову предстояла маленькая операция, требующая ясной головы, он отказался.

— Ладно. Я тоже с утра не любитель. Николай Иванович просил тебе кланяться. Его очередь уже на подходе.

— А я думал, это ты Николай Иванович.

— Я — тоже. Мы все Николай Ивановичи. А повыше рангом — михал михалычи. Тронулись...

В аэропорту Суржиков осуществил задуманное еще в день приезда. Он попросил дать ему фисташковое сари, стоившее девять долларов, а заплатить за него хотел тем, что у него осталось от покупки фонарика. Ему вежливо сказали, что не хватает доллара. Суржиков вежливо ответил, что с магазина еще тридцать центов. Разговор велся через Болтуна. Смущенный несуразностью требований Суржикова и боясь, что тот попросит у него недостающий доллар, Болтун хотел дать деру, но Суржиков был начеку. Держа Болтуна за брючный ремень, он попытался доказать тупому продавцу свою правоту. Предположим, он уплатит девять долларов, но один доллар тридцать центов ему тут же вернут, ибо здесь не существует таможенной наценки. Так вот, доллар вы оставите себе, с вас всего тридцать центов.

Тут только открылся Болтуну гениально простой расчет Суржикова. Но объяснить это продавцу оказалось делом безнадежным. Он таращил глаза с желтоватыми нездоровыми белками и тупо твердил: найн долларс, найн!.. Болтун не выдержал, достал доллар, расплатился, получил доллар назад и еще тридцать центов. Когда операция была завершена, самодовольный вид негоцианта показывал, что он считает себя победившей стороной.

— Давай прощаться, — сказал Болтун. — Хочешь фотку Священной коровы?

Он вынул любительскую, но очень хорошую цветную фотографию. Опалово-розовое голубоглазое божество было увенчано веночком из красных роз и белых лилий. Суржиков долго смотрел на карточку, потом со вздохом вернул ее Болтуну.

— Жена наткнется, что я скажу?..

Они попрощались. Суржиков побежал на паспортный контроль, оттуда опроретью в туалет. Тут его ждал сюрприз — туалет был бесплатный. В предбаннике он обнаружил автомат с мужскими презервативами всех видов и сортов: с усиками, с жучком, гофрированные, чешуйчатые, «черный дракон» — с резиновыми отростками, с пищалкой, мини- и макси-растяжные — последние были для маскарадов, они вмещали человека целиком, а еще были с мятой, душицей, лимонной цедрой, с молоком и сбитыми сливками. Суржиков уже хотел сунуть монету в последнюю щель, но обнаружил, что это другой автомат — с пакетиками чая и кофе. А ему нужен был первый. Он хотел сделать подарок своему начальнику, всю жизнь собиравшему предохраняющие резинки. Его уникальная коллекция пользовалась мировой славой, он находился в контакте с собирателями других стран. Об этом испокон века знало все КБ, за исключением Суржикова. Но когда он дарил начальнику пепельницу, тот сказал с грустной улыбкой: «Это дорогой подарок, а мне нужен совсем дешевый маленький пакетик». Сейчас он его получит. Суржиков выбрал с усиками, а на оставшиеся деньги выпил чудесной газированной воды «Севен ап».

В самолете Суржиков с аппетитом позавтракал, опустил спинку сиденья, откинулся удобно и смежил веки. Но прежде чем он отключился, в полуяви-полусне закружилась опалово-розовый туман, в нем зажглись голубые фонари, наплыли и стали двумя огромными печальными глазами, из них выкатились прямо в сердце Суржикова две медленные слезы и остались там навсегда...

Внезапный отъезд Суржикова ошеломил Мушинкина. Тут был и подрыв авторитета, и трагическое ощущение, что распалась связь времен, и полная неясность, как выйти из создавшегося положения. Он призвал верного Ступака, но оказалось, что председатель профкома в экстремальной ситуации не тянет. Уже на грани отчаяния пришла спасительная мысль. Надо выдвинуть на поездку Суржикова, дать ему характеристику, поставить на выездную комиссию КБ, утвердить в райкоме и подшить к делу. Он опасался ветеранов партии: согласятся ли они в отсутствие Суржикова решить этот вопрос, ведь их хлебом не корми, а дай прощекотать отъезжающего на счет филиппинской ситуации и хитрой политики Маргарет Тэтчер. Но затруднения возникли только с одним из царевубийц, забалованным стариком, уцелевшим в сталинские времена, к тому же получавшим тогда в Горте полтора кило повидла вместо одного кило, положенного узникам царских тюрем. Это наделило его неистребимым чувством превосходства над окружающими, ему никто не был в указ. Конечно, можно было провести Суржикова при одном против, но Мушинкин брезговал нечистой работой. Царевубийца не устоял перед бесплатной путевкой в Барвиху. Мушинкин блефовал — никакой путевки не было

и помине. Но ветхость старика давала надежду, что ему недолго мучиться обманом.

Возвращение Суржикова домой было трогательным. Жена смутно догадывалась, что его внезапная командировка связана с каким-то важным и неприятным делом, и не ждала подарков: только бы живой вернулся. Фисташковое невиданной красоты сари повергло ее в состояние столбняка. Вернувшись в разум, она долго оглаживала ладонями легкую, воздушную ткань, зарывалась в нее лицом, потом зажмурилась и разом накинула на себя. Больших зеркал в доме не было, она навела оконное стекло на темный комод и отразилась в нем во весь рост.

— Неужто я это? — сказала она, мило и молодо краснея своим усталым лицом. — Господи, теперь у меня кимоно, сари, костюм-джерси, еще бы платьишко приличное — и умирать не надо.

— Съезжу в другой раз — привезу, — сказал Суржиков с апломбом Олега Петровича и сам на минуту поверил, что еще съездит за границу.

Жена замахала на него руками.

— Да посиди уж дома! И так всю меня задал! —

Суржиков кинулся в уборную, чтобы отплатиться без помех.

Стоило морочи жизни оставить его, что случилось чрезвычайно редко, как в нем опять начиналась любовь к жене, вернее сказать, та смертная жалость, которая людям запуганным и угнетенным заменяет любовь.

Когда Суржиков вернулся в комнату, жена крутила в руках бумажный пакетик, не предназначавшийся ее взгляду. У нее была привычка

обшаривать карманы мужа в надежде на завалявшийся рублишко. Суржиков испугался, что она заподозрит его в кавалерственных намерениях, но эстетический восторг перед дивным изделием подавил низкодушную подозрительность.

— Какая прелесть! — сказала жена. — Ты наденешь его в День танкиста.

Суржиков не посмел возражать. Ладно, доживем до Дня танкиста, а там купим отечественный из калошной резины и положим в эту упаковку. Ведь начальнику нужна не резинка, а фантик...

Менее блистательным оказалось явление Суржикова перед очи Генерала. Он боялся, что тот спросит о потраченной десятке. Сумма была отпущена на питание, а он не мог представить ни ресторанных счетов, ни магазинных чеков. Генерал даже не вспомнил о деньгах. Он накинулся на Суржикова, что тот нарушил указание не заниматься шпионажем в дружественной стране. Болтун, сволочь, заложил. А что он знает? Только слухи. Свидетелей нет и доказательств никаких.

— Ничего я не нарушал, — сказал Суржиков, пусто и прямо глядя в глаза Генерала.

«Герой, герой! — думал тот, злясь и восхищаясь одновременно. — Что ему за корысть рисковать жизнью, когда его не только не просили об этом, но всячески удерживали от бесполезного подвига? Се человек! Слетал в подштанниках в чужую, жутковатую страну, за три минуты устранил аварию, перед которой спасовали две величайшие технические державы, совершил ошеломляющий по наглости налет на военную базу и вышел сухим из воды. А имел за все по-

дниги только тряпку жене и презерватив. Герой!.. Но не гражданин. Врет в глаза и не краснеет. Его можно пытаться, но все равно не признается. Что дает ему такую твердость? Страх. Он не боялся ни отравы, ни огня, ни пуль, но смертельно боится своего родного государства. Так боятся только оккупантов. А чем мы, собственно, от них отличаемся?» — с горечью спросил он себя.

— Ладно, Суржиков, подпишите о неразглашении военной и государственной тайны, о неразглашении промышленных секретов, да подпишите лучше все листочки подряд. И можете быть свободны.

Суржиков с охотой подписал. Генерал почувствовал, что тому хочется о чем-то спросить.

— Что у вас?

— Пусть туда пошлют десяток запасных кранов, не то опять будет авария.

Генерал омрачился.

— Просили бы чего попроще. Десять кранов — это двадцать шесть рублей. Неужели Совет министров будет заниматься такой мизерной суммой? Пустить на ветер миллионы — дело другое, но и сто и тысяча кранов — семечки, никто мараться не станет. А другого пути нет. Я бы сам купил эти краны, но как переслать? Нет, нет, — сказал он поспешно, угадав мысль Суржикова. — У военных свои дела, они кранами не интересуются. Придется ждать новой аварии. Или же продать их Голодандии в комплекте с чем-нибудь более существенным. Например, с палочками для еды. Мы строим громадный завод на Байкале. Об этом надо подумать. Ну, а сари жене понравилось?

Суржиков, покраснев, ответил, что очень понравилось, и отчалил, довольный тем, что так легко отделался...

А Генерал поехал доложить Генсеку о выполненном поручении. Тот не мог принять его раньше, потому что осваивал маленький автодром, сооруженный в саду вокруг его коттеджа на Ленинских горах, облюбованных высшей властью для городского проживания. Сообразительный московский народ окрестил поселок за высокими стенами, вознесшийся над столицей: «Заветы Ильича».

Не в силах противиться своей автомобильной страсти, которая с получением синего «феррари» последней модели — дружеский дар от итальянских безработных — сделалась просто неодолимой, он потребовал у правительства разрешения водить машину по Москве. Опасаясь за его драгоценную жизнь, правительство такого разрешения, разумеется, не дало, но распорядилось построить уголок Москвы на его участке, с перекрестками, светофорами, стеклянными банками для «мусоров». Фанерные фасады зданий с вывесками, неоновыми рекламами, в которых не хватало букв, и пустыми витринами создавали иллюзию города. Приодетые топтуны фланировали по тротуарам, изображая городскую толпу. Для пушей убедительности они переходили улицу в неположенном месте, иные попадали под машину, за что водитель ответственность не несет. Этот искусственный, хотя совсем как настоящий, городок густо усеяли дорожными знаками, чтобы сделать езду более сложной и романтической; особенно много было «кирпичей», требующих от водителей умения быстро произвести маневр. Генсек робел перед своим первым рей-

сом, даже перебои начались, пришлось срочно вызвать бригаду Берендеева. Но и накаченный чужим здоровьем, Генсек так потел, задышался, тряся, что невозможно было представить, каким лихим водителем был он в молодые годы. Он наделал кучу нарушений и чуть не лишился прав. Его выручало лишь то, что он безропотно платил штраф, подкидывая регулировщику на бутылку, а в особо трудных случаях подписывал книгу «Ренессанс» «с глубоким уважением и благодарностью». Регулировщики (по званию не ниже полковника госбезопасности) были соответственным образом проинструктированы, чтобы все выглядело как всамделишное. Иные из них облегчили Генсека на полсотни и больше. Генерал собственноручно наблюдал за ездой адского водителя через мощную подзорную трубу с крыши ближайшего дома-башни.

В холле коттеджа Генерал наткнулся на команду Берендеева. Кормленные, холеные бездельники лопались от сытости и здоровья. «Если он действительно живет за счет физического запаса этих здоровяков,— с грустью подумал Генерал,— то он переживет меня. С моей печенью долго не протянешь».

Его настроение еще ухудшилось, когда он увидел, что Желудок пристаёт к Селезенке и не встречает отпора. «Куда смотрит Берендеев?» — возмутился Генерал, до сведения которого было доведено, что Селезенка, Слепая кишка и Поджелудочная железа — наложницы распутного академика.

В кабинете Генсека не оказалось, он ускользнул через тайный ход и сейчас раскатывал на своем «феррари» под свистки орудовцев.

Генерал вышел на террасу, спустился в сад,

обогнул цветочную клумбу, высокую, как гора, и оказался в городской декорации, вполне достаточной для съемки лакировочного фильма о Москве. Неприятно, мертвенно в ярком солнечном свете сияли неоновые вывески: «Парикмахерская», «Гастроном», «Аптека», «Сберегательная касса». Для правдоподобия некоторые буквы не светились: «..птека», «..берег касс...». Этот липовый город был куда чище, ухоженней и нарядней, чем настоящая Москва, и еще гуще набит милицией: «мусора» сидели в стаканах, торчали на перекрестках, парами прогуливались по тротуарам, их было не меньше, чем агентов, изображавших уличную толпу. Генерал подумал о том, что Генсек, фальшивый вождь, фальшивый герой войны и труда, фальшивый писатель, фальшивый борец за мир и фальшивый водитель, гораздо лучше монтируется с этим поддельным городом, чем с живой плотью действительности.

Генерал не успел сделать и трех шагов, как его нагнал сверкающий баллистическим синим кузовом «феррари» и резко затормозил, так что передок машины норовисто вздыбился.

— Садись, подвезу,— сказал Генсек, посунувшись к правому боковому стеклу.— Тебе куда?

Генерал открыл дверцу. И сразу с другой стороны выросла внушительная фигура орудовца.

— Права! — произнес бесстрастный голос.

Из Генсека как воздух выпустили.

— А что?.. Я ничего!..— залепетал он своим неповоротливым языком.

— Здесь остановка запрещена. Надо правила подучить, товарищ водитель.

На Генсека жалко было смотреть. Трясущимися руками он достал права из бардачка, вложил в них десятку и протянул милиционеру.

— Деньги заберите, придется сделать прокольчик.

— Я вас прошу, товарищ начальник! — Генсек почти плакал. — Сколько лет вожу. Чистый первый талон. Борюсь за звание водителя коммунистического труда... Любой штраф, только не прокол. Ведь жена, дети!.. Как я им на глаза покажусь?.. Не погубите!..

Милиционер был неумолим. Он вынул дырокол.

— Одну минутку! — вскричал Генсек.

Засунув руку под сиденье, он вытащил экземпляр «Ренессанса», нацарапал несколько слов на форзаце и протянул милиционеру.

Тот взял книгу, прочел посвящение и вернул права, предварительно вынув из них десятку.

— Будьте осмотрительны, — сказал, козырнув.

Генсек включил сигнал левого поворота, тронул с места, убрал поворот, прибавил газу и умиротворенно откинулся на сиденье.

— Только этим и спасаюсь. Хорошо, что у нас такая грамотная милиция. Но книг не напасешься. Хоть второе издание выпускай.

Руки его, лежащие на баранке, напряглись, взгляд остекленел. Они приближались к перекрестку. Генсек сбросил газ и аккуратно миновал зеленый светофор.

— Здесь такой жлоб стоит, — пожаловался он, — только и ждет, к чему бы придраться. До чего же трудно стало ездить по нашей Москве!

Я думаю поднять вопрос в Моссовете. Помоему, мы злоупотребляем дорожными знаками, особенно ограничительными. Надо дать водителю больше свободы, больше самостоятельности.

Он настоящий идиот или притворяется? Не надо выбирать: он и то и другое. У психов агровазия — преувеличение болезненного состояния не является симуляцией, как при других недугах, а дополнительным признаком расстройства.

Генсек затормозил так резко, что Генерал едва не въехал лицом в лобовое стекло. Это добром не кончится, подумал он со смирением. Одна надежда, что его лишат прав или отправят на рапопорт.

И уже очередной милиционер качает права у Генсека. На этот раз обошлось устным разговором — нарушение было пустяковым: включилась мигалка поворота. Небось сам включил нечаянно-нарочно, — злился Генерал, завидуя драматичной и полной жизни, которой жил сейчас этот баловень судьбы.

Они поехали дальше. Надо кончать, не то сам превратишься в дебила на этой фантазмагорической трассе.

— Я пришел доложить, что авария в Голландии ликвидирована, — сказал он, опережая очередной приступ маразматической болтовни.

— Знаю, — спокойно, даже небрежно отозвался Генсек. — На следующей неделе мне будут вручать Сияющего дракона. Ну, а наши чудаки, чтобы не отстать, дают еще звездочку. Мне Главный идеолог звонил и проинформировал.

«Вот так надо делать дела! — восхитился Генерал шустростью мумизированного старца.— Работу скинул на меня, а отрапортовал об успехах сам. Генсеку — побрякушки, ему — почет, а нам с Суржиковым — от мертвого осла уши».

— В ИМЭЛе провели исследование: у меня наград вдвое больше, чем у Геринга, и втрое, чем у маршала Жукова,— сообщил Генсек.

Машина рванулась вперед, крутой поворот, еще поворот — Генсек от кого-то удирал. Еще поворот, и впереди выросла ржавь запертых ворот с примкнутым к ним мусорным ящиком — тупик. «Все правильно,— отметил Генерал,— это естественный финиш...»

Едва Суржиков появился на работе, его вызвали в партком.

Мушинкин сиял.

— Поздравляю,— сказал он, крепко пожимая теплыми ладонями руку Суржикова.— Полный порядок. Мы все провернули. Вот ваша характеристика. Прочесть?

— Не надо.

— Да, тут все то же, добавлено только, что вы хорошо проявили себя в Японии. И вот резолюция райкома. Как говорится, путь открыт.

— Так я же съездил! — опешил Суржиков.— Неужели опять?..

Мушинкин ласково засмеялся.

— Да нет, чудачок! Подошьем к делу, только и всего. Но справочку медицинскую придется оформить.

— Какую еще справочку?

— Что поездка не противопоказана. Все-таки южная страна. Жаркий климат. А мы не можем рисковать здоровьем наших людей. И прививочки сделайте от холеры, оспы и чумы.

— Зачем?

— А чтобы все было в ажуре.

Уже надорванное обилием сложных, острых, ранящих впечатлений последних дней сознание несчастного не выдержало. С криком: «Да здравствует Арафат!» — Суржиков кинулся на Муштинкина и вцепился ему в горло.

---

**РАССКАЗ  
СИНЕГО  
ЛЯГУШОНКА**

Лягушонок — это дитя, но люди привыкли называть так каждую маленькую лягушку, не заботясь ее возрастом. А я хоть и взрослый, но очень маленький, значит, — лягушонок. И я не синий, а бурый, как палый перепревший осиновый лист, когда совсем потухает на нем багрец и сходит желтизна с прожилок. Меня не обнаружишь на такой листве даже пронзительным вороньим глазом, но весной я, как и все мои сородичи, обретаю ярко-синюю окраску, бьющую на солнце в кобальт. Эта чрезмерная яркость не смущает и не пугает нас, хотя мы не любим привлекать к себе внимания, но внешней порой забываешь о страхе, даже об естественной осторожности: подруги должны узнавать нас издали своими близорукими глазами и слетаться на синюю красоту, как мотыльки на огонек.

Я не выделяю себя из сородичей, но у меня особые обстоятельства. Я продолжал любить Алису и был равнодушен к порывам болотных красавиц, хотя природа брала свое, и без вождения, со стыдом и отвращением к самому себе, я уступал велению закона, требующего, чтобы всплыла под листья кувшинок и кубышек оплодотворенная прозрачно-бесцветная икра.

Лягушки беззащитны, самые беззащитные существа на свете, как будто созданные для по-

вального истребления. Единственная наша оборона — воля к размножению. Оглушительные весенние концерты, цветковые превращения, бесстрашие, с каким мы рвемся к любимым сквозь все препятствия и смертельные опасности, неутомимость партнерш, способных день-деньской скакать под грузом зачарованного всадника, — все служит одной цели: не дать исчезнуть нашему кроткому роду. Но у меня, как уже сказано, особое положение: еще недавно я был человеком и все время помнил об этом. Только не надо думать о колдовских чарах, злом волшебстве: случившееся со мной вполне закономерно и естественно, как и те непознанные события в потоке сущего, которые мы условно называем рождением и смертью — прекраснейшие символы из всех придуманных людьми для обозначения недоступного разуму. Так вот, в моем превращении нет ничего от глуповатых сказок о принцессе-лягушке или обращенном в зверя лесном царевиче и тому подобной галиматье, которой морочат холодное и трезвое сознание ребенка.

Так что же случилось со мной? Да то же, что рано или поздно случается с каждым гостем земли: я умер по изжитию довольно долгого и трудного, как у всех моих соотечественников, но не ужасного и трагичного, что тоже не редкость, существования, узнав много радостей и не меньше горестей, частично осуществив свое земное назначение, если я его правильно понимал, больной и сильно изношенный, но не истратившийся до конца, ибо мог сильно, все время помня об этом, любить. Я любил свою жену, с которой прожил последние тридцать лет жизни — самых важных и лучших. К поре нашей встречи во мне угасли низкие страсти затянув-

шейся молодости (справедливо, что не дает плодов то дерево, которое не цвело весной, но плохо, когда весна слишком затягивается и цветенье становится ложным — пустоцвет), и, уже не отягощенный ими, каждый божий день, каждый божий час жил своей любовью, что не мешало работе, радости от книг, музыки, живописи, новых мест, социальной заинтересованности и все обостряющемуся чувству природы. Это была жизнь без ущерба, моя старость не стала немощью, хворобы не застили солнца, мы были полно счастливы в кратере вулканической помойки, способной в любое мгновение излиться лавой крови и дерьма.

Но долгое мое умирание было омрачено обидой и болью — не надышался я дорогим человеком, не наговорился с ним всласть, я еще был способен на объятие, на восторг, на жестокую ссору — спектр наших отношений не потерял ни одной краски, напротив, все сильнее и сильнее чувствовал я ее жизнь рядом с собой. Нам даже путешествовать расхотелось, а мы так любили слоняться по миру. Куда увлекательнее оказалось непрекращающееся путешествие друг к другу. Нет, рано нас растащили, рано отправили меня в иное странствие.

А смерть так и начинается. Это все правда, то, что казалось пустой болтовней досужих и беспокойных умом людей: залитый слезами — покойники плачут внутренним, никому не видимым лицом, — ты, уже испустивший последний вздох и отключенный от мира живых, но все сознающий, просквоженный страданием, вовлекаешься в долгий узкий тоннель со светлой точкой в конце. Ты летишь по нему, слезы обсыхают на щеках, и затухает музыка, о которой

ты прежде не догадывался, тихая музыка миродания, включающая и твою собственную ноту.

Она замолкла до того, как я достиг конца тоннеля. Дальше — провал. Не знаю, со всеми ли так бывает, возможно, исход каждого творится на свой особый лад, но я потерял себя раньше, чем вырвался в манящий свет.

Очнулся я и обрел новое место в мире, уже просуществовав в нем бессознательно то время, какое надо, чтобы из икринки вылупился головастик, вырос, оформился в хвостатое дитя, выбрался на берег, сбросил хвост, подрос и уже взрослой особью вдруг осознал свой новый образ. Я тщетно пытаюсь вспомнить хоть какой-то проблеск сознания на этот длинном пути развития. Но ведь и в человечьей моей жизни я ничего не знал о себе до четырехлетнего возраста. Близкие долго мучили меня в детстве, заставляя вспомнить, как бабушка играла на рояле «Турецкий марш», чтобы я ел манную кашу. Оказывается, уже в три года я обладал четкими вкусами: обожал моцартовский марш и ненавидел полезнейшую размазню. Не знаю, почему им так хотелось, чтобы я вспомнил то, чего для меня не было. И бабушка, и рояль, и манная каша ушли до пробуждения во мне памяти. А «Турецким маршем» озвучились мои школьные годы. Скорее всего, моему беспомыслию не верили, принимая его за тупое и злостное детское упрямство. А упрямство надо сломать для моего же блага. Они так мне надоели, что я вспомнил музыкальную кормежку, но перестарался, включив в нее фокстерьера Трильби, который обтягивал мое детство в еще более раннюю пору. Окружающие с грустью убедились, что я не только упрямец, но еще и врун, поскольку Трильби я дей-

ствительно не мог помнить. Сейчас мне и самому странно, что я так поздно родился для себя. Ведь какой сложной физиологической и психической жизнью я уже жил, общался с близкими, даже сочинил, как мне потом говорили, какие-то идиотские стишки, и при этом словно не существовал.

Так и здесь. Кто-то, вполне вероятно, видел меня юрким головастиком, шустрым лягушонком — для меня там пустота. Все началось с того мгновения, когда надо мной закачался зеленый лес.

Этим лесом была трава, но прошло какое-то время, прежде чем я смог назвать густую поросль травой, а не лесом. В первые часы и дни после опаматования самое трудное было привыкнуть к невероятным размерам насельников мироздания — так пышно именую я опушку леса, поляну, шоссе и весеннее озерко, составившие отныне все мое жизненное пространство. Каким все стало огромным: травинки, цветы, крылатые чудовища, в которых так трудно признать знакомых воробьев, ласточек, трясогузок, малиновок, чибисов, ворон. Невероятно увеличались бабочки, стрекозы, жуки, даже божьи коровки, и все лишь потому, что я стал таким маленьким. Даже некоторые мои сородичи оказались куда крупнее меня, а дальние родственники, серые пупырчатые жабы, обернулись бегемотами. Правда, я открыл для себя неведомый мир дробных существ, которых прежде не замечал в своем человеческом величии. Трава кишела прыгающими, ползающими, скачущими, летающими малышами, иные были очень красивы и утонченны.

Вначале я тяжело переживал свое умаление. Мне не удавалось доглянуть верхушки деревьев-

небоскребов, каждая лужица стала прудом, налитые талыми водами колеи — реками, весенний болотный натек — озером. Особенно угнетала ширь асфальтового шоссе, отделявшего лес от озера, оно казалось бескрайним, и перейти эту ширь, это поле было труднее, чем прожить жизнь. По нему мчались раскаленные грузовики, смрадные мотоциклы, гоняли на велосипедах беспомощные ко всему живому мальчишки.

И все же моя мизерность угнетала меня не так сильно, как может показаться, а главное, не так долго: до усвоения **новых** соотношений тел и предметов. Начав играть по изменившимся правилам, я перестал мучиться, **ибо** — **помимо** всего прочего — **осталось**, а **частично возникло**, множество существ куда меньших, чем я сам. И наличие этой крошечной разнообразной и энергичной жизни бодрило, успокаивало.

В ином была непреходящая моя мука и мука тех, кто в новой жизни утратил человеческое обличье. Об этом никогда не говорят на тайном языке бессловесных, но я угадывал среди прыгающих, плавающих, летающих, бегающих на четырех ногах таких, кто, подобно мне, был в прежнем существовании человеком, угадывал по страданию, какого не знают живущие впервые или возникшие из растения или зверя. Но я понятия не имею, с помощью какого внутреннего устройства возникало это постижение.

Меня всегда потрясали строчки поэта: «Над бездной мук сияют наши воды, над бездной гора высятся леса». Но тут говорится о прямом взаимоистреблении живых существ, населяющих природу, ради выживания, а я — о другой, куда худшей муке. Не знаю, что чувствуют растения, когда-то бывшие людьми: деревья, кусты, травы,

цветы, хотя о чем-то догадываюсь. Вы слышали когда-нибудь ночные голоса леса? Не крики совы, сыча, не уханье филина, не предсмертный визг, взвой, хрип прокушенного более сильным врагом зверя, не начинающийся во тьме щелк соловья, а скрип деревьев, вздохи трав? Я не раз наблюдал, став лягушкой, как по-разному ведут себя деревья с наступлением ночного часа. Соседают две березы-однолетки с крепкой корой без раковых наплывов и здоровой сердцевиной ствола, с густо облиственной кроной, но приходит ночь, и одно дерево спокойно, тихо спит, а другое начинает скрипеть — в полное безветрие. И скрип этот — как стон, как бессильная жалоба, как сухой, бесслезный плач.

У природы нет общего языка, как нет его у людей. И все-таки я знаю, о чем они скрипят и стонут, — это тоска по оставшимся в прежней жизни. Пока ты человек, кажется, что мир стоит на ненависти, что им движут властолюбие, честолюбие и корысть, — это правда, но не вся правда. Зло заметнее, ярче в силу своей активности. Для тех, кто живет по злу, жизнь — предприятие, но для большинства людей она — состояние. И в нем главное — любовь. Эту любовь уносят с собой во все последующие превращения, безысходно тоскуя об утраченных. О них скрипят и стонут деревья, о них вздыхают, шепчут травы, называя далекие имена. Я все это знаю по себе: едва соприкоснувшись в новом своем облике с предназначенной мне средой обитания, я смертельно затосковал об Алисе.

Мой нынешний — ничтожный для человека, но вполне пристойный для пресмыкающегося — вид никак не отражался на силе и глубине пере-

живания. При этом нельзя сказать, что дух остался нейтрален к изменившемуся естеству, нет, в чем-то я соответствовал новой сути. Очнувшись в весне, я не остался глух к ее чарам и, словно не отягощенный тоской, борзо заскакал к озерцу, откуда неслись гортанные призывные голоса.

Отдав весьма энергично дань природе, я потом долго торчал в зеленоватой воде, наполненной страстным шевелением охваченных любовной жаждой синих существ. Пошел быстрый и светлый весенний дождик, в его нитях солнечный свет преломлялся и дробился многоцветно. Меня рассмешило, как поспешно скрылись под водой болотные Ромео и Джульетты. Они, видимо, боялись намокнуть. Я остался с чувством превосходства, но через минуту-другую тоже нырнул и устроился под листом кубышки — оказывается, капли дождя весьма чувствительны сквозь тонкую, хотя и крепкую кожу.

Дождь кончился довольно скоро, мы все опять высунули наружу мордki и заурчали, вздувая горловой пузырь. Ко мне, сильно рассекая воду, устремилась большая зеленая лягушка — ее сладострастие заряжало воду электричеством впереди нее. Я услышал сигнал, нырнул под корягу и спасся от ненужных ласк.

Разворачиваясь, она взмутила илистую воду задней лапой. Стало трудно дышать. Я поплыл к берегу и устроился в чистом мелководье на коряге, обтянутой мягким донным мохом. В плоской воде у берега я отчетливо видел свое отражение: огромный рот, выпученные глаза, бледное брюхо, начинающееся прямо подо ртом, — сколько мерзости в таком ничтожном комочке плоти! Но странно, это меня почти не тронуло. Опять

навалившаяся тоска делала безразличным все на свете.

Будучи человеком, я заигрывал с идеей переселения душ, гарантирующей жизнь вечную. Казалось заманчивым примерить на себе другие личности. Разве знал я, что в это бессмертие втянется люта́я тоска. Господи, спаси меня и помилуй от такой вечности, насколько желанней была бы полная и окончательная смерть. А если попробовать? Коли я не умру всерьез, то стану кем-то иным. Все равно кем: львом или пауком, пальмой или крысой. Тоска подчинит себе любой образ, даже самый прекрасный. А вдруг воплотишься в такую ничтожную зачаточную форму жизни — в полипа, моллюска, медузу, что в ней заглохнет сознание, а заодно и тоска?..

Я выполз на шоссе, прыгать не было энергии, и сгорбился на асфальтовом, помягчавшем от жары закрайке. Несколько грузовиков пронеслись мимо, обдав чудовищным грохотом, вонью и дымом. Я всякий раз терял сознание, а когда приходил в себя, не мог отплесться от гари. Раз-другой меня накрывала тень большой птицы, и я невольно съеживался, ожидая удара стального носа цапли или аиста. Но тень сплывала, то были вороны или галки.

Какая-то опустошенность овладела мною. Так же неуклюже и медленно, по-жабьему отклячивая задние ноги, я пересек шоссе, пропустил над собой еще одну машину, побывал в коротком обмороке и, спустившись с насыпи по другую сторону, направился к лесу. Зачем я это делал, убей бог, не знаю, да и положено мне, пока длится брачная песня, находиться при воде. Лишь когда погаснет синяя расцветка, можно идти на все четыре стороны.

На опушке я обнаружил у подножия березы ямку, в которой копошились черные жуки. Я потрогал их языком, понял, что они съедобны, и поел немного. Потом нашел какой-то мягкий сладкий корешок и помусолил беззубым ртом. Зарылся в палую листву и заснул.

Проснулся я среди ночи и не сразу узнал звезды. Ночные светила расплывались в моих новых глазах, небо было в туманных круглых пятнах, завихрениях и кольцах. Наверное, это было красиво, но чувство сиротства усилилось, не под такими звездами текла наша жизнь с Алисой.

Тишину безветрия нарушали деревья, скрипевшие из своего нутра, — такие же сироты, как я. И я тихонько заурчал, будто полоща горло, присоединился к их жалобе.

Скрип деревьев, бормот кустов, шепот трав перебили и заглушили другие звуки — ухали, охали, скулили, взрыдывали животные, бывшие когда-то людьми. Те же, что не пили жизни из человеческой чаши, спали безмятежно, глухие к памяти своих былых превращений; среди этих тихонь находились и первенцы бытия. А ведь и они могут когда-нибудь очнуться в человеческую муку.

Так прошел год. Нет, не совсем так. Было пять блаженных месяцев зимней смерти, когда кровь застыла в жилах, остановилось сердце, и, примороженный к земле у корня старого дуба, я стал холоден и бесчувствен, как льдышка. И до чего же ненужным показалось апрельское опамятование!

Я понял, что вернулся в эту ненужную, невыносимую жизнь по боли оттаивания. Казалось, меня раздирают на части крючьями — это рас-

прямялось и расширялось согретое солнцем тело. Когда боль подутихла, я хотел почиститься, но за долгую спячку сор искрошившихся листьев, сухих травинок, мертвых насекомых так въелся в кожу, что отдирался с кровью. Пришлось отложить туалет до того дня, когда можно будет отмыться в озерке. Этот день наступил неожиданно скоро. Вдруг зашумели ручьи; снег прямо на глазах оседал, лопался, разваливался, тек, серые ноздреватые блины оставались лишь у подножий деревьев. Земля просыхала удивительно быстро. Появились белые чистенькие горностаи и заиграли вокруг берез.

А на меня опять навалилась тоска. Даже пищу отыскивать не хотелось. Я обхудал так, что косточки на задних ногах едва не прорывали кожу. И на озерко я потащился лишь потому, что все шли. Меня перегоняли даже старые жабы, которые и прыгать-то не могли, только ползли, волоча брюхо по земле.

Наши шли из леса, как партизаны. Валом валили. Внушительное зрелище. Кто прыжком, кто ползком, жестко сосредоточенные и необщительные. Дружба — весьма горячая — начнется там, в воде, а сейчас была одна цель — добраться до обетованного места. Уж очень всех изнурила зима, силенок почти не осталось. Но до чего мы, оказывается, разные: есть такие крошки, что издали примешь за кузнечика, а есть — чуть не с морскую черепаху, даже оторопь берет. Лучше и наряднее всех выглядели мы — синие лягушки. Я очнулся после спячки бурым, как прелый лист, и не заметил, когда засинился.

Еще издали мы услышали слитный гортанный хор. Обитатели окружающих озерко зарос-

лей уже перебрались на весенние квартиры. На берегу стояли люди. По счастью, среди них не было детей, не то хилая наша рать могла бы сильно поредеть. Детей тянет к уничтожению беззащитных жителей земли: лягушек, ящериц, жуков, стрекоз, птиц, бродячих домашних животных. Но еще при моей жизни детвора все чаще стала обращать губительный и холодный взор на себе подобных. Ребенок куда страшнее взрослого, его задерживающие центры работают лишь на страхе и никогда — на этике.

Конечно, люди на берегу пришли не ради картавого хора, а чтобы полюбоваться на нас — синеньких. Я и сам так делал, когда был человеком. Нельзя оторваться от синих таинственных огоньков, горящих в воде. На остальных и глядеть неохота: тусклые, пупырчатые, громоздко-неуклюжие. Я поймал себя на том, что испытываю гордость за свою породу. Этого еще не хватало! Неужели я становлюсь настоящей лягушкой? А ведь я не завидую этим людям и нет чувства приниженности перед ними. Наверное, так и должно быть, иначе не состоится определенное Законом превращение. И хорошо бы оно поскорее стало полным, окончательным, убив память, которая после долгого беспробудного сна потускнела, но могла вернуться в прежней силе, чего я больше всего боялся.

Я гордо проскакал мимо голых загорелых ног какой-то барышни, показавшихся мне колоннами Большого театра, покрашенными в золотисто-шоколадный цвет, слегка потрескавшимися и облупившимися, — такой представилась гладкая молодая кожа телескопическому лупоглазью — и не без форса нырнул в воду. Прыжок получился не слишком изящным, я пере-

кувырнулся в воздухе, блеснув своим белым брюшком, которое мне самому было противно — чем-то вульгарно-пресмыкающимся веяло от него, а ведь мы не ползающие и не стелющиеся по земле, мы прыгуны-летуны, мы ближе к птицам, чем к гадам ползучим. Только не хватайте меня за лапку — жабы не из нашей команды, к тому же умеют прыгать, но ленятся.

— Лягушонок-акробат! — сказала обладательница облупившихся колонн.— Видали, какое он скрутил сальто-мортале?

— Какой я тебе лягушонок, дура? — заорал я в бешенстве.— Я взрослый мужик. Попадись ты мне только!..— Но для нее эта громкая тирада была пересыпанием гороха в стеклянной банке.

И я подумал, что лучше бы мне забыть человеческую речь. Раз общение невозможно, зачем мне знать, о чем говорят те, одним из которых и я недавно был. Куда важнее понять язык моих новых сородичей. Природа не знает бессмысленностей и бесцельностей, это удел людей, и коли картавая французистая речь так неутомимо обслуживает мокрую весну, значит, она служит чему-то важному. Надо ей научиться.

А затем был долгий, еще не занятый спариванием день, безмятежное блаженство меж прохладой воды и теплом солнца. Удивительно приятно, когда сверху припекает, а снизу поддает остудью, особенно если ты нашел место с пузырьками, всплывающими со дна и лопающимися у тебя под брюхом. Лежишь, слегка раскорячившись, и пялишься на божий мир — вот проклюнулся цветок мать-и-мачехи, вот треснула коробочка одуванчика и полыхнуло желтым огоньком, взблеснул погнавшийся за мухой пес-

карик, стрекоза опустилась на бутон кубышки, и защипало глаза от слюдяного сверка ее крылышек. Пролетела еще неуверенными зигзагами милая бабочка, ондатра нырнула с кочки в воду, пустив тугую волну, и закачало дурманно... Смотришь на весь заигравший мир и ни о чем не думаешь, это почти сон, но не зимний, глухой, бесчувственный, а легкий, вполглаза, животворящий. Мир ощущался как единый организм, в нем циркулировали соки, роднящие все живое на свете и создающие некое вселенское братство, которое, увы, не может быть столь истинным и полным, как на заре бытия, до первой пролитой крови. С ударом Каина в мире поселилась опасность, исчезло доверие, и лишь в весеннем коротком вее промелькивает та любовность, которая некогда объединяла все сущее.

Когда я очнулся от своих грез, водоем опустел, наши попрятались, вода стала розовой, а водоросли бархатно потемнели. Пространство оцепенело — ни дуновения, ни шелоха, ни звука. Не знаю, зачем я выбрался на пустынный берег. Чувство внезапного одиночества обернулось лютой тоской, а тоска сразу нашла образ: взмах ресниц над темно-кариыми глазами. Кончики ресниц были так близко, что я мог дотянуться до них и уколоться. Если б мог!.. Вот я и получил ответ на вопрос, заданный себе утром: кто я? Со мной случилось самое худшее из всего, что могло принести новое существование: я был лягушкой с человеческой памятью и тоской.

...Я видел дачную террасу в дождливый день исхода августа. Очередной дождь только что прошел, в густом саду измокшие листья тихо шевелились от стекающих капель, показывая то темную рубашку, то светлый испод. Текло по стек-

лам террасы, капало с крыши, струйкой бежало с водостока. Заросший, в туманной влаге сад походил на морское дно. А застекленную террасу легко было представить себе подводной лабораторией Жан-Ива Кусто, — казалось, вот-вот сквозь боярышник, рябину и яблони поплывут большие рыбы с жалобными ртами.

Алиса лежала на тахте, к ней приставал щенок эрдель, требуя, чтобы его почесали. У них была такая игра: Алиса чесала его длинными ногтями по крестцу от шеи к обрубку хвоста, он изгибался, задира морду и часто-часто колотил левой лапой по полу. А потом она говорила, словно про себя: «Надо Проше бородку расчесать» — и он тут же, жалко ссутулившись и поджимая свой обрубок, убегал и с грохотом забивался под стол, чтобы минуты через две-три появиться опять с великой опаской, тогда все начиналось сначала. Это был ежедневный, слегка надоевший мне своим однообразием ритуал, но почему-то в тот день, когда мы погрузились в морскую пучину, я сказал себе на слезном спазме: «Это и есть счастье. Когда-нибудь ты вспомнишь о нем».

Мог ли я думать, что воспоминание придет к синему лягушонку, скорчившемуся у весенней воды?

В нашей долгой жизни с Алисой — мы и серебряную справили — было столько Берендеевых лесов, столько Средиземноморья, островов, лагун, столько храмов и старинных городов, дивной музыки и нетленной живописи, а образом счастья оказался мокрый сад, терраса и длинные пальцы, погруженные в жесткие завитки эрдельей шерсти.

Так я томился на берегу, маленький, жал-

кий комок плоти, выплювок, куда запихали слишком большую душу, а вокруг творилось вечное волшебство божьего мира — ночь высеребрилась из края в край и наполнилась тайными голосами...

Проснулся я с тем странным вздрогом, опадением сердца, когда чувствуешь, как отлетает от тебя жизнь. Однажды я так же вздрогнул во сне, вскрикнул, хотел вскочить, ухватиться за ускользящее, но не успел. И был тоннель... Очевидно, я и в новой жизни остался сердечником. Это меня не взволновало, как не волновало и в той первой жизни. Там я не хотел страхом смерти отравлять свои дни, здесь я не хотел их длить. Коли уж я приговорен к вечности, пусть скорее наступит другое, пусть быстрее сменяются эти личины, мне все равно с ними не сжиться.

Существо человека ничуть не выше существа лягушки, крысы или вороны. Их структура куда совершеннее. Человек слишком рано оторвал передние лапы от земли и, выпрямившись, перегрузил позвоночник. К старости у всех мучительно болит спина, поясница, ноги и портится характер. Добавьте к больным ногам, лишаяющим высшего счастья — бродить по земле, еще непрерывно действующее сознание, и станет ясным: какая жалкая тварь человек. А лягушка, крыса, ворона достигают старости в отличной форме, к тому же не разъедены «рефлексией», как в школьных учебниках называют способность к размышлению. Странно, лишь став лягушкой, я принялся рефлексировать. Лягушка-резонер. Шутки в сторону: из всех ужасных игр Творца самая страшная — вечная жизнь души. Для души есть, увы, всего лишь одно местелище —

несовершенное, плохо приспособленное и незащищенное человеческое тело, во всех иных превращениях с душой нечего делать. Она мешает. И коли есть смерть тела, так должна быть и смерть души. И будь она благословенна!..

...Это случилось в разгаре весны. Я выбрался на берег и увидел небольшого безрогого оленя. Что-то подсказало мне — олениху. Она стояла на берегу и раздумывала: напиться ли из водоема, кишашего лягушками, или поискать не столь замутненный источник. Она не могла брезговать нами, самыми чистыми существами на свете. Недаром хозяйки кладут нас в молоко для охлаждения. Ведь мы обладаем замечательным свойством: чем теплее среда — вода или воздух, тем ниже у нас температура. От теплого парного молока мы холодеем и остужаем молоко. Но, гоняясь друг за дружкой, ныряя и безумствуя, поднимаем со дна ил.

Косуля — я вспомнил, как называется незнакомка,— нашла чистое место, вытянула шею и принялась пить. Мне понравилось, как ловко и деликатно лакает она воду узким, длинным нежно-розовым языком. Попив, она облизалась, змейкой пустив язык вправо-влево, затем по темному пятачку носа. У нее были удлинненные темно-карие глаза и длинные ресницы. Она мигала редко и старательно, словно пытаюсь прихлопнуть спящий солнечный луч. Но он выскальзывал. Меня развеселила эта милая игра для самой себя. Удивительно приятно было смотреть на нее, хотя какое мне дело до таких больших и гордых животных, с которыми невозможен никакой контакт? А вот же, оторваться не мог. Пялился во все пучеглазье на ее изящную го-

ловку, которую она то и дело щегольски вскидывала, на крепкие ноги с красивыми острыми копытцами, на гибкую, с острым хребетиком спину. Тугая кожа оформляла в доброжелательную улыбку каждый ее отзыв на внешнее впечатление — от стрекозы, шмеля, камышовки. И так хотелось прикоснуться к гладкой чернубурой шерстке! До чего же она мне нравилась — в разрыв души, и, бессильный выразить свое восхищение, я стал кувыркаться, ужасно неловко, неуклюже, мы вообще неловки во всех движениях, кроме прыжка, да и то, бывает, заваливаемся на спину. Но какое это имело значение? Она и внимания на меня не обращала. А я совсем зашелся и стал бить себя передними лапками в грудь, хотя они не приспособлены для таких движений, и тонкие косточки затрещали. Это было больно, но мне нужна стала такая боль, чтобы не пустить другую, куда худшую, — от надвигающейся угадки.

Косуля заметила гимнастику маленького синего гада, и в продолговатых глазах ее зажглось благожелательное удивление. Наверное, она приняла это за какие-то ритуальные движения весеннего обряда и, разумеется, не отнесла к себе. Я же становился все более неприличен: катался по земле, не стесняясь своего бледного глянцевого брюха, пытался встать на голову, но шлепнулся, сделав обратное сальто, чуть не выколов глаз о сухую былинку, а потом пополз к ней, волоча задние ноги, как параличный, припал широким беззубым ртом к копытцу и стал мусолить его, что самому мне казалось поцелуем. Она отдернула ногу — не то брезгливо, не то испуганно. Но я опять подполз, уткнулся в копытце, похожее на детский бумажный кораблик,

и вдруг утратил окружающее. Я уже давно знал, что это Алиса, но только сейчас понял, что она тоже умерла, и от жалости к ней лишился чувств.

Я очнулся от прикосновения чего-то нежного и влажного. Она осторожно лизала меня своим узким язычком. Боже мой, неужели она поняла, что за смехотворными моими кривляниями — признание в любви? А что, если она поняла больше?.. Узнала меня?.. Узнал же я ее... Да что тут общего? Нам выпали разные превращения. Она осталась Алисой — те же милота и грация, узкое лицо, удлинённые глаза, долгая улыбка, даже щегольской вскид головы — все было от прежней Алисы: прекрасная женщина стала прекрасным зверем. Косулю-Алису можно было рассмотреть в Алисе-человеке, но даже мой злейший враг не углядел бы во мне прежнем болотного скакуна.

И чего я, как слабонервная девица, все время грохаюсь в обморок? Надо петь, сходить с ума от невероятного, невысказанного счастья, что тоннель из смерти в другую жизнь вынес Алису на берег лягушиного озерца и дал мне уткнуться глупой башкой в ее копытце.

Почему она меня лижет? Могла она проглянуть какую-то загадку, тайну в иступленных ужимках синего лягушонка? Ведь она была из тех же несчастных, что сохранили память, и боль, и тоску о минувшем.

Не без усилия принял я сидячее положение. Ее лицо было совсем близко от меня, и я увидел, как из уголка глаза выкатилась и побежала, оставляя глянцевую полоску на темно-бурой шерсти, крупная как виноградина, слеза. В ней, словно в выпуклом зеркальце, отразился раздвувший-

ся в шар уродец — еще более отвратительный, чем на самом деле. Господи, можно ли поверить, что это я — я — я?!

Почему же она плачет? Неужели ее вещая душа, вопреки разуму и очевидности, сказала ей правду?..

Ее большая, но не пугающая голова еще приблизилась, теперь пузатое чудило переместилось в рисинки зрачков, открылся розовый зев и бережно вобрал меня в себя. Я поместился в мягкой влажной ямке у нижней челюсти. Алиса оттопырила губу, чтобы поступал воздух и я мог дышать, и в таком блаженном экипаже отправился я в новое свадебное путешествие.

У нее в лесу был тайник, недалеко от опушки, но вовсе неприметный: ложбинка в густом кустарнике, сквозь который не пробраться, коли не знать лаза. Я-то проскользну в любую щель, но крупное существо, если сунется наугад, оставит всю свою шерсть на колючих сучьях.

Алиса выпустила меня на волю и легла, уютно свернувшись в кольцо. Я облюбовал для ночлега ее ухо, более прохладное, чем остальное тело. Видимо, ей было щекотно, она некоторое время дергала ухом, потом смирилась. Мы уснули...

И началась наша совместная жизнь. Неожиданно мы оба оказались полуночниками. Я отправлялся на кормежку ночью, потому что моя пища — летучая, быстрая, верткая, доступна длинному языку лишь в сонном состоянии. Конечно, на озерке я мог иной раз слизнуть зазевавшуюся букашку и даже ловкую изумрудную муху, но этим сыт не будешь. Я ходил на промысел, когда все летуны и ползуны спали. Странно, что я, такой крошка, был мясоед, а Алиса,

такая большая, — вегетарианка: щипала траву, объедала листву и молодые побеги. Свою еду она могла брать и днем, но дня она боялась и очень редко отправлялась на прогулку при солнечном свете. Особенно после того, как в просеках зазвучали выстрелы. Она забивалась в свою ямку и беспрерывно дрожала. Это браконьеры стреляли вальдшнепов на тяге. Вообще-то тут была запретная для охоты зона, поэтому в небольших здешних лесах сохранились и лоси, и лисы, и зайцы, и горностаи, я их всех видел не раз, а вот другой косули не встречал.

Мне было мучительно жалко Алису, и, чтобы ее подбодрить, я демонстрировал великолепное бесстрашие — беспечно скакал, дурачился, к сожалению, это мое удалство пропало втуне.

Насытившись, мы обычно играли. Алиса любила прятаться, я должен был ее искать. Это сохранилось в ней от наших человеческих дней: она вдруг пропадала, не уходя с дачи. Обычно я знал, где она находится, но вдруг возникало странное ощущение пустоты. Я звал ее, она не откликалась. И хотя это повторялось раз за разом, я пугался и начинал поиски. Мотался, как последний дурак, вверх и вниз по даче, заглядывал на кухню, в ванную, на нижнюю террасу, на солярий, а она стояла под винтовой деревянной лестницей, зажав себе рот, чтобы не выдать себя смехом. А могла просто лежать на диване в гостиной, так ловко накинув сверху какую-нибудь тряпку, что мне и в голову не приходило посмотреть там. Могла спуститься в погреб на кухне, делая вид, будто не слышала моего зова. Самое удивительное — я никогда не находил ее. В игре была своя, только нам доступная глубина.

Мы жили вдвоем, практически никогда не разлучались, даже на короткое время, наверное, нам надо было чем-то освежать восприятие друг друга. Недаром мы оба так радовались, когда она вдруг объявлялась с громким радостным смехом — такая несмешливая в обычное время. Хоть это и жутковато звучит, но суть безобидной игры состояла в умирании и воскресении. Мы бессознательно наигрывали то, что нас ждало в будущем.

А сейчас мы играли в прятки из любви к нашему прошлому. Мы так мало могли взять из него в настоящее: совместную трапезу и сон да вот эти игрища. Впрочем, так ли уж это мало?..

Мы жили очень уединенно. Порой нас навещали соседи, чаще других заяц, которого Алиса любила и жалела за кротость, деликатность и всегдашнюю готовность к несчастью. Иногда он приходил вдвоем — с женой или подругой — не знаю, меня их отношения не касались. Заяц при всей своей симпатичности относился ко мне не сказать свысока, а как-то небрежно. Мне кажется, он не догадывался, какое место я занимаю в доме. Однажды появилась лиса с умильным видом, но была решительно прогнана Алисой. Вот не думал, что кроткие косули могут быть такими яростными. Оголодавшие лисы поедают лягушек. Алиса чуть не пришибла ее задними ногами. Больше мы рыжую не видели. Захаживали лосята-годовики — горбоносые, голенастые и удивительно застенчивые. Алиса была приветлива с ними, но держала дистанцию. Молодые люди, потоптавшись у нашего логовища и ободрав кору с осинок, отправлялись восвояси, шумя сквозь чащу, как ураган.

Все это были простодушные существа, то ли перворожденные, то ли уже посетившие мир в виде животных или растений, ни один не скрывал в себе грустной тайны человека. Быть может, поэтому и не завязывалось отношений. Да нам никто не был нужен.

Нет большего счастья, чем быть с тем, кого любишь. Ощущение друг друга, когда оно такое сильное, как у нас, до краев заполняет время. К тому же теперь мы были погружены в природу; ее музыка, ее живопись, ее книга, которую не дочитать до конца, куда увлекательнее копий, создаваемых людьми. Чтобы по-настоящему оценить природу, надо непрерывно находиться в ней, тогда ты не просто гость и наблюдатель, ты от нее зависишь. Ты обязан угадывать, что в ней зреет, иначе она застанет тебя врасплох. Тепло и холод, дождь и ведро, ветер и снег, град и утренник — даже для городских жителей это немало значит, а что же говорить о нас, не защищенных стенами и крышей, прикрытых лишь тем, что нам дала природа, а дала она кому теплый мех, кому тонкую кожицу, но в утешение — дар спасительной зимней смерти; впрочем, медведь в своей дохе тоже должен на зиму умирать, иначе станет шатуном и сойдет с ума от голода.

Это как бы деловая жизнь в природе, служащая самосохранению, а куда как огромно пространство бескорыстной радости от соучастия в суете естественного мира. Каждое живое существо — часть природы, лишь человек противопоставил себя ей, и в этом его проклятие. Мне трудно судить о качестве ощущения природы теми, у кого зачаточное сознание, во мне оставалось слишком много человеческого. Да все во мне

было человеческое, кроме физической структуры, что, впрочем, немало. И это человеческое, с одной стороны, обостряло чувство естественной жизни, с другой — мешало слиться с ней. Наш — мой и Алисин — взгляд на окружающее был все-таки взглядом со стороны. Но с некоторых пор мне стало казаться, что мы дружно и благостно глупеем, и это делало нас более свойскими в мире, поющем песню без слов.

У нас были свои любимые цветы, травы и молодые деревца, за ростом и развитием которых мы следили, свои заветные места в лесу, где собиралось много мелкой жизни и на пространстве с медный пяточок творились шекспировские страсти. Нет ничего интереснее любовных утех насекомых. Тут все чудо. Ухаживание — галантный восемнадцатый век не создавал таких шедевров изящества, грациозности, жеманства и утонченности, какой являет пара флиртующих кузнечиков; а как изысканно-нервно соблазняет стрекозиный кавалер свою разборчивую даму! Но еще удивительнее — апофеоз любви. Японские эротические альбомы — вершина назидательной порнографии — ничему не могли бы научить этих специалистов. Признаюсь, меня порой шокировало, когда две одушевленные прочищалки для примуса или бельевые защепки начинали предаваться своим чудовищным ласкам на глазах Алисы. По счастью, она только вдаль хорошо видела. Если брать природу за нравственный образец, кодекс приличий должен стать куда снисходительней. А ведь это мудро: естественный мир законно стремится извлечь максимум удовольствия из той премии, которая положена за продолжение рода.

Знаменитый натуралист Фабр сказал, что если у человека есть два акра пустыря, то счастья наблюдений ему хватит на всю жизнь. А у нас были не жалкие два акра, а лесное государство, в полное владение которым мы вступили с уходом браконьеров.

Отсинели июльские ночи, отгремели августовские грозы, проплыла паутинка бабьего лета, и закружились в воздухе желтые листья. Минул сентябрьский березовый листопад, затем октябрьский — осиново-ольховый, жестким гребешком ветер дочесал рощи до полной голизны, а в нашем лесу сохранил лишь усталую зелень хвойных. Слишком сквозным, открытым и беззащитным стало наше государство, в нем опять поселился страх. Большие звери попрятались и выходить стали только ночью.

Опять дрожала Алиса, свернувшись в своей ямке, и опять я пыжился вселить в нее бодрость своим ухарским видом. Но вскоре пал и этот жалчайший бастион — ударили морозы, кровь застыла во мне, и я погрузился в зимнюю спячку. Перед этим я успел заметить, что пошел снег и Алиса нагребает на меня копытцем палую листву.

И начался тот невероятный сон, когда я понял таинственные строки Лермонтова:

Но не тем холодным сном могилы...

Я б желал навеки так заснуть,

Чтоб в груди дремали жизни силы,

Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь;

    Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,

    Про любовь мне сладкий голос пел.

    Надо мной чтоб, вечно зеленея,

    Темный дуб склонялся и шумел.

При своем тупо реалистическом мышлении и никак не мог представить себе такого вот вечного сна. Мне казалось, о чем бы ни пел мне сладкий голос, у меня будет лишь одно желание — скорее проснуться. Наверное, во мне говорила клаустрофобия. Такой вот сознающий себя, но безвыходный сон страшнее любого замкнутого пространства, даже застрявшего лифта. И никакая песня любви, никакой вечнозеленый дуб, как бы он ни склонялся и ни шумел, не примирят меня с безвыходной околдованностью сознающего себя сна. А теперь я понял, что Лермонтов и тут угадал. Этому поэту было открыто то, чего не было, да и быть не могло, не только в его собственном опыте, но и в коллективном опыте его времени. В том же стихотворении он говорит:

В небесах торжественно и чудно!  
Спит земля в сиянье голубом.

Откуда он мог знать, что земля отбрасывает голубой отблеск на мировое пространство? Он же не летал в космос. Но разве не космическим видением рождены эти строки:

На воздушном океане  
Без руля и без ветрил  
Тихо плавают в тумане  
Хоры стройные светил.

И он, оказывается, знал, изнутри знал анабиоз. Причем не простую остановку жизни в переохлажденном организме, а мой редкий случай — анабиоз под охраной любимого существа. Не проделал ли Михаил Юрьевич обратный путь: от лягушки к человеку?

Пусть не пел мне сладкий голос — косуля лишена песенного дара, она может фыркать, ворчать, урчать, может закричать призывно и смертно, но Алиса безмолвствовала. Она просто была при мне, иногда обнюхивала мерзлый камушек и угадывала — живой. Она лежала рядом, но не слишком близко, ибо ее тепло могло меня разморозить, а наружный холод — убить. Откуда она все это знала? Но я слышал, слышал ее дыхание, стук ее сердца, я чувствовал ее любовь и видел, видел зазеленевшие побеги весны моего пробуждения.

Ни разу не шевельнулось во мне желание скинуть путы неподвижности, вырваться из пространства, равного моему оцепенению, в которое я был замурован, и не нужно было ни видеть любимую, ни прикасаться к ней, такая полнота счастья и покоя владела мною, такая надбытийная завершенность.

Я знал, когда она уходила, потому что замолкала неустанно звенящая нота, — и тогда мой сон становился провальным, избавляя от тоски и страха, она возвращалась — и опять звучала та высокая нота, а сон-смерть оборачивался дремой жизненных сил.

Так прошла зима. А весной я очнулся, подполз, скрипя негнушимися суставами, к спящей Алисе, приткнулся к ней и стал отогреваться.

То была на радость дружная, не капризная весна. Быстро растопила она снег даже в самых укромных местах, прогнала бурливые ручьи и принялась сушить землю и тащить из нее траву и цветы. Нас навестил полуоблезлый заяц, торопливая, неопрятная линька придавала ему, всегда такому аккуратному, вид бомжа.

Забегала белочка, вся серая, а хвост и ушки огненно-рыжие. Лес налился птичьими голосами, и меня вдруг неудержимо потянуло на озерко.

А я-то думал, что покончил с этими глупостями. Алиса проводила меня до опушки. Дальше идти она побоялась, в просеках уже постреливали браконьеры, что-то рано началась тяга в этом году. Мне казалось, она чуть лукаво улыбалась, словно догадываясь о моих кавалерственных намерениях. Но может, я и придумываю.

Я благополучно перебрался через шоссе, где перламутрово сверкали под солнцем трупы наших, как всегда, брюшком вверх. Торопясь к обетованным водам, они пали под колесами грузовиков.

Меня встретил мощный хор, брачные торжества были в самом разгаре. До чего же приятно было погрузиться в холодную воду, сразу разогревшую кровь.

Ну и наповесничал я там! И хоть бы совесть заговорила. Нет, не совесть, а усталость погнала меня с озерка.

Совсем уже без сил, где скоком, где ползком, тащился я домой. С бугра за шоссе я просто скатился, повредив тонкую кожу, кое-как дотрюхал до опушки, здесь сделал долгую остановку, после чего двинулся дальше. Было неприятно, что Алиса увидит меня в таком неприглядном виде, и я уже подумывал, не поспать ли часок-другой в теньке под лопухом, но сквозь усталость пробилась непонятная тревога. Что-то такое чувствовалось в воздухе. Гарь? Лесной пожар? Его дым пахнет лесом, а это был чужеродный запах. Забыв об усталости, я припустил к дому.

На краю ложбины я почти успокоился, поняв тем чувством, которое было во мне от зверя, что Алиса там, но успокоиться совсем помешало другое, смутное чувство, идущее от человека, что она там, но ее нет.

Я прыгнул вниз и уткнулся в нее, в ее мертвое, залитое кровью тело. Не пожарная гарь, а селитряная вонь пороха истаивала в воздухе на опушке.

Зачем она вышла из укрытия, когда в просеках стреляли? Возможно, ее встревожило мое долгое отсутствие. Только этого не хватало — думать, что из-за меня... Вся израненная, с простреленной головой, она дотащилась сюда, до нашего обиталища. А я бесчинствовал на озерке, как японский бизнесмен в Хаммер-центре. Я смеялся. И смеялся до изнеможения над ни с чем не сравнимой по нарочитости, вульгарности, бездарности и антихудожественности драматургией жизни. А потом я спросил себя: кому нужна жестокость без очищения? Чему это научит мировую душу? О чем думал господь, помешивая поварешкой свой кипящий суп? Если ты не хочешь, не можешь повторить чуда Иова, господи, то убери свои руки от мира, зверствовать здесь и без тебя умеют.

Я не задержался в логове. Мертвая косуля, холодная и твердая, с оскаленной пастью и пыльными глазами, уже не была Алисой. Я торопился на шоссе. И пока я туда добирался, меня не составляло чувство, что я о чем-то забыл, о чем-то очень важном, не спасающем — какой там! — но необходимом...

Первый грузовик прогрохотал, не причинив мне никакого вреда, только оглушив и одурманив на время, хотя я выбрал место на самой ко-

лее, на черном подплаве разогретого солнцем и помятого шинами асфальта. И две легковые машины побрезговали моим ничтожеством. А затем надвинулся такой невероятный чудовищный грохот и жар, что я рванулся к нему, едва не умерев до смерти, но вся эта обвальная мощь обернулась раздавленной задней лапкой. Как могла такая махина ухватить эту малость?..

И тут послышались детские голоса, и чья-то рука подняла меня с земли. Я расслышал радостный возглас: «Ну, все! Хватит! Порядок!» И обрадовался. Не то чтобы я раздумал умирать, но мне так нужно было сочувственное слово, хоть чуточку участия.

Мальчик куда-то понес меня. Вскоре мы оказались на лужайке под старым засохшим дубом. Еще издали меня опажнуло неприятным жаром. Организм тут же ответил резким понижением температуры, но жар был слишком силен, и защита перестала действовать.

Горел костер. А возле него лежали нанизанные на деревянные вертела мои собраты. Мальчишки собирались жарить шашлык. Это увлечение занес к нам американский детский приключенческий фильм «Дик и Пэгги в лесах», убедительно доказывающий, что смысленные и умелые нигде не пропадут. В целом это было назидательное и благолепное, как воскресная школа, зрелище, но наша детвора вынесла из него лишь страсти к лягушину шашлыку. Заостренный прутик вонзился мне в зад и, порвав что-то внутри, вышел через рот. Я не был ни смысленным, ни умелым, мне надлежало пропасть.

По сторонам костра были вбиты рогатки, на эти рогатки уложили отягощенные мясом шампура. Мы все еще были живы и начали корчиться,

когда пламя лизнуло кожу. О, это совсем не легкая смерть и не быстрая, даже для таких хрупких и незащищенных созданий, как мы. Корчась и задыхаясь, я сумел вспомнить о том, что толкалось мне в мозг и душу, когда я шел от мертвой Алисы: это не конец, будет еще тоннель... А раз так... То когда-нибудь, где-нибудь... Пусть через тысячи лет, через все превращения и муки... Господи, прости мне хулу на тебя... Господи, воля твоя!..

---

**ПОСТОЯННЫЙ  
ПОДПИСЧИК**

*Зарисовка с натуры*

Мы познакомились в санатории «Яузская заводь» нынешней весной. Этот санаторий когда-то принадлежал Замковому управлению и был столь же престижен, как Замковая столовая, Замковая больница, Замковая аптека, словом, все Замковое. Но сейчас привилегии отменены: столовая, хотя и осталась закрытой, обслуживает социально незащищенных, больница отошла к обществу «Милосердие», взявшему под свое крыло и аптеку, а санатории широко распахнули двери всем, кому удастся достать туда путевку.

Я уже видел этого человека, подбористого, жильного, с седой всклокоченной бородой, с густо, глиняно загоревшим на первом весеннем солнце лицом и пронзительно светлыми, блестящими, почти без голубизны, хрустальными глазами. В санатории его взволнованно приняли за известного олонецкого сказителя Морошкина, хотя сходство между ними не так велико. Он куда выше, худее и опрятнее. И на вид значительно старше. Поначалу он показался мне глубоким стариком, очевидно, из-за белой как кипень длинной бороды, росшей несколько вкось. Но затем живость, бодрость, подвижность скупого тела поставили его в должный возраст — под шестьдесят.

В нем было что-то сказочное: милая лесная или болотная нежить, а меня всегда влекло к людям не из реальной жизни. К сожалению, с ним трудно было найти точку соприкосновения: он не играл ни в одну санаторную игру, не гулял, не ходил в кино и в свободное от процедур время (он посещал все кабинеты без исключения, и также физкультурный зал и бассейн) гонял как угорелый на велосипеде-недомерке. Но все-таки наше знакомство состоялось — в День Победы, и человек этот навсегда вошел в мою душу.

Когда-то любимый народом праздник отмечался в «Яузской заводи» пиршественными трапезами и толчеей в изобильном буфете. Хлопали пробки шампанского, и растроганные, сдруженные памятью о жестоком испытании люди поднимали тосты за победу, друг за друга. Я ездил в санаторий с самого его открытия в семьдесят шестом году и не помню случая, чтобы кто-нибудь умер с перепоя или хотя бы занемог; да что там — ни одного пьяного не встретить было в этот торжественный день. Картина резко изменилась с введением сухого закона: достать водку, распить в номере неопрятно, пугливо и дерзко, выбросить пустую бутылку из окна на зеленую лужайку, где по утрам играют горностаи, или в полные воды кюветы, где резвятся ондатры, стало делом подвига и геройства. Даже заведомо непьющие, на дух не переносящие спиртного, включались в общую высокую заботу. Тут нет ничего удивительного: насилие, запрет всегда вызывают противодействие, и, пока это есть, человек останется человеком.

Неподалеку от санатория находится город, выросший из большого села и ставший одним

из центров подмосковной промышленности. Городские власти тоже ввели сухой закон — водку и страшный просковейский коньяк можно было достать лишь в семи километрах от города, в маленькой лавчонке, схоронившейся в овраге на краю заводского поселка. В самом местоположении лавчонки виделось осуждение позорного греха пьянства, презрение к алкашам, да и вообще ко всем пьющим и выпивающим, ибо неопровержимо доказано, что даже глоток шипучего вина безнадежно разрушает организм, психику, всю личность, делает ее неспособной к решению тех задач, которые мы почему-то должны себе ставить, вместо того чтобы просто жить.

Каждый день, в пять вечера, все мужчины города и немалое число представительниц слабого пола с авоськами, мелодично позванивающими пустой посудой, тянулись к оврагу за живой водой. Если закрыть глаза, то казалось, что идет стадо, позвякивая жестяными колокольчиками. И ведь нелегко людям был этот ежевечерний исход после рабочей смены и возвращение к родному порогу с оттянутыми руками.

Казалось бы, городские власти, видя тщету запретной меры, должны были наладить нормальную продажу спиртного — ничуть не бывало. По какому-то темному счету спивающийся с помощью овражного заведения город считался оазисом трезвости, что приносило немалую честь, славу и всякий гостинец его отцам.

В усталом вечернем стаде двигались, задыхаясь, хватаясь рукой за сердце, поминутно останавливаясь с полуоткрытым по-окуньи ртом и вы-

лученными глазами сердечно-сосудистые нашей образцовой здравницы. Аборигены их, естественно, ненавидели и всячески оскорбляли. Ответить больные не могли, глядишь, вовсе не пустят в овраг, они молчали, и близость гипертонического криза наливала синюшной кровью затылки и лбы.

Больные вынуждены были прятать бутылки по карманам, авоську не пронесешь в палату. Это не позволяло им сделать запас, приходилось, что ни день, таскаться в город при любой погоде. В санаториях и домах отдыха правила известны: первую неделю ты живешь спокойно, а потом начинаются проводы. Ты и познакомиться с человеком толком не сумел, не то что сдружиться, но расставание оформляется на отчаянно-щемящей ноте проводов в армию. Вообще-то проводы не прекращались и в первую твою неделю, просто ты еще считался новобранцем, чужаком, а дальше пошло-поехало. Прекрасный буфет «Яузской заводи» амортизировал эту ужасную традицию: провожали глотком шампанского. Рокковое решение оккупационных властей ввести трезвую жизнь на всей принадлежащей им земле нанесло непоправимый ущерб здоровью обитателей «Яузской заводи» еще Замкового подчинения.

Никуда не годные ноги делали для меня невозможным участие в вечернем паломничестве, идти же нашармачка в компанию было неприличным, и я постарался незаметно улизнуть от обреченных на выпивку. Кутеж, вопреки обыкновению, начинался после обеда, ибо тогда можно было набрать закуси, а мясные щи или борщ давали неплохую закладку для раздумчивых посиделок.

Я пошел на прогулочную тропу, пролегавшую лесом. Этот лес находился на территории санатория, окруженной гладкой стеной — копией берлинской. Лес — старый березняк вперемежку с осинником и вкраплениями хвойных был в запущенном состоянии. Березняк вполовину состоял из сухостоя, еще живые деревья с тощими серыми голыми стволами тянулись к солнцу маленькими кронами в десяток сучьев, под стать им были осины, все в раковых наплывах, и сосны, почти уже ставшие мачтами, лишь немногочисленные ели смотрелись бодро и нарядно, но они росли преимущественно по опушкам. В лесу поминутно трещало, ухало: опадали сучья, рушились деревья, он был забит мертвыми гнилыми стволами и валежником — несчастный, обреченный на гибель и все равно чудесный лес, который в эту на редкость дружную, жаркую, в меру влажную весну трогательно силился скорее зазеленеть, гнал из земли травы и цветы: лиловые медуницы, желтенькую в белесость мать-и-мачеху, надувал тугие шарики купавы, усаживал под деревья мясистые строчки. И даже в этот молчаливый час он держал тихую песенку: щелкали дрозды, посвистывали синицы, кукушка никому не жалела лет, кто-то голосистый, будто спросонок, ронял две-три высоких ноты. Низком облетела меня сойка и пренебрегла своей дозорной обязанностью; дятлы, рассыпая звонкую дробь, взбалтывали крошечный мозг до утраты всякой сторожкости — их можно было коснуться рукой. Вокруг меня увивался заяц в грязно-палевых ошметках заношенной зимней шубы — хотел познакомиться, но мы не знали языка друг друга. Небывало добрая весна убедила лесных жителей, что опасность ушла из мира.

Хаз-Булат удалой,  
Бедна сакля твоя,  
Золотою казной  
Я осыплю тебя... —

донеслось из крепости.

Вот это уже принадлежало не природе. Какой живучестью обладают некоторые напевы. Одна из самых первых песен, ворвавшаяся испугом в мое до того тихое детство, была «Хаз-Булат удалой». Когда посадили моего дядю и отобрали комнату в конце коридора большой дедовской квартиры, туда въехала дружная рабочая семья Симаковых. На новоселье грянул «Хаз-Булат» и навсегда остался для меня памятью о первой утрате «уютности и авторитета», как писал Пастернак.

Я раздумал углубляться в лес и пошел в сторону санатория. У черного прудишки, жутковатого совершенной безжизненностью: ни листика по закрайку, ни травинки в глубине, ни карасинового всплеска, ни лягушиного бултыха, ни легчайшего шелоха от жука-плавунца или другой мелкой водяной твари не тревожили угрюмой черни с нездоровым желтым просветом, когда впрямую било солнце, я столкнулся с компанией: две дамы и трое мужчин из наших отдыхающих. Они сердечно предложили присоединиться к ним и «принять граммулю» в честь праздника.

Одну из дам я давно заметил по необычайной ширине бедер, казалось, она носит кринолин. Она была по-кранаховски узкоплеча и стеснена в груди, что еще сильнее подчеркивало размах нижнего этажа. На другую я грешил, что она вот-вот разрешится от бремени. Меня восхищало, что господь повторил для нее чудо библейской Сарры — даме было под пятьдесят. Над курносом изморщиненным личиком с выцвет-

шими лазоревыми глазами возвышалась башня крашенных в соломенный цвет, седых у корней волос.

Ухажеры этих дам были молоды — до сорока, атлетичны, с чеканными лицами. Я принял их за спортсменов, перешедших на тренерскую работу, и не угадал: морковно-рыжий, с веснушчатой красной кожей был инженером-атомщиком, смуглый брюнет — врачом-рентгенологом. В третьем кавалере, лишенном пары, я с удовольствием узнал седобородого легконогого дедушку-лесовика-полевика (тут, кстати, выяснилось, что он еще не достиг пенсионного возраста и работает станочником на одном из новостроечных автомобильных гигантов). К лацкану его спортивного клетчатого пиджака был прикреплен значок: золотая пчелка сосет нектар из бутона медоноса. Он оказался знатным пчеловодом, участником многих пчельных форумов. Атлеты называли его почтительно Артемьичем.

Окарасился месяц багаряныцем,  
Я волны морские видал!.. —

вдруг с дикой энергией взорала широкотазая отдыхающая. Меня аж скрючило — не от оглушительной неожиданности, от воспоминания — эта песня связывалась для меня с потерей отца. Когда его посадили, в комнате с балконом, глядевшим на Меншикову башню, поселилась милая женщина, надомница Катя. Свое появление в квартире она отметила сокрушительным банкетом с участием всей бесчисленной родни. Гимном застолья оказалась песня о гибнущих в волнах любовниках. И всегда, когда тетя Катя напивалась, а это случалось в конце каждой недели, толстые стены добротного старого доходного дома обретали под напором душераздирающего вокала

проницаемость нынешних тщедушных перегородок, и я печально вспоминал, что отца нет с нами.

Песня смолкла так же внезапно, как началась.

— Гликерия Петровна, дайте слово, что споете ее всю, когда мы приземлимся,— галантно сказал Рентгенолог.

— Да мы все топаем и топаем, аж пятки отбило,— недовольно отозвалась Гликерия Петровна.

— Давайте устроимся под тем грибок,— предложил Артемьич.

В нескольких шагах от пруда изгнивал деревянный грибок с мухоморьей шляпкой. На останках трухлявой скамейки можно было разместить и выпивку и закуску. Но мною овладел бесдеятельной бестактности, и я стал убеждать сотрапезников усадить на скамейку даму, готовящуюся стать матерью. Краснея своим кукольным лицом, она отнекивалась, утверждая, что может постоять, а захочет — и посидеть на толстых сосновых корнях. Но я был неумолим: кому же отвечать за будущего ребенка, как не старейшему в компании? Инженер-атомщик, имевший свой интерес к Фаине Семеновне, отвел меня в сторону и терпеливо объяснил, что она не собирается рожать ни в настоящее время, ни в обозримом будущем, просто являет собой рубенсовский тип женщины. Пока мы выясняли это недоразумение, остальные оборудовали стол. В центре натюрморта высились две бутылки: одна с темной таинственной жидкостью и без этикетки, другая с мутным столовым вином, вокруг разместились недоедки от завтрака и обеда: кружочки колбасы, бутерброды с сыром, шпроты, свежие огурцы, пучок зеленого лука, несколько яблок, хлеб.

— Вам вина или нашего домашнего коньяка? — спросил меня Рентгенолог.

— Мужчинам — коньяк, дамам — сухарика, — объявил Атомщик.

Разлили, сказали тост, выпили. У меня перехватило дыхание: домашний коньяк состоял из технического спирта, кофе и какого-то ароматического вещества: то ли одеколона, то ли духов, то ли лосьона. Мыльных пузырей не было, скорее всего, подмешан безобидный цветочный одеколон, он был в нашей вестибюльной лавчонке. Ловя воздух ртом, я сделал неосторожное движение и поймал «укус ведьмы» — острейший спазм межреберной невралгии. Артемьич сразу сообразил, что произошло, и ловко сильными, теплыми пальцами размял мне плечо. Отпустило.

Не пошло сухое вино и у Гликерии Петровны.

— Тьфу, гадость, кислятина! — плевалась она. — И как это люди пьют? Да лучше вашего кондера хватить, чем эту мерзость!

— Извините, Гликерия Петровна, шампанского не завезли, — развел руками Рентгенолог.

— Ладно с шампанским-то! На кой ляд эту бурду выпускают? Издевательство над живыми людьми!

— Вся наша жизнь издевательство, — кротко сказала Фаина Семеновна. — А где ты живых людей видела?

— Девушки, девушки! — призвал к порядку Атомщик. — У нас же праздник!

— Гликерия Петровна! — просяще сказал Рентгенолог.

И снова без завода, с места, с дикой мощью рванулось в пространство:

Окарасился месяц багаряньцем,  
Я волны морские видал..

И отозвалось во мне болью давней утраты: бедный отец!..

Из-за деревьев показалась группа отдыхающих с авоськами, чуть осадила, увидев нас, затем с чинным видом, потупив взоры, прошествовала мимо.

Рентгенолог наполнил стаканы, лишь Фаина Семеновна осталась верна сухарику.

— За прекрасных женщин! — объявил он.

— Где ты их видел? — в своей кроткой манере спросила Фаина Семеновна.

Как обычно, вторая порция любой отравы идет легче — вырабатывается какое-то защитное средство, противоядие. Только Гликерия Петровна, сменившая напиток и тем демобилизовавшая организм, опять корчилась и плевалась.

— Может, все-таки к сухарику вернетесь? — спросил Рентгенолог.

Гликерия Петровна издала утробно-горловой звук и замахала руками:

— Чего под руку говоришь? Еще этот не улегся...

Шумел камыш, деревья гнулись,  
А ночка темная была!.. —

теплой волной прилетело из глубины леса, и мне вспомнилось, что этой песней открывались гулянки мощной ресторанной семьи Зубцовых, занявших комнату деда после его неожиданной смерти. Крепкий, литой, жизнелюбивый и еще не старый человек был сломлен арестом сыновей. Он скончался от сердечного удара, как называли инфаркт в те медицински наивные времена.

А вдалеке, там, где синело вешнее озерко с синими лягушками, разливался бессмертный «Хаз-Булат». И вдруг неподалеку неуверенно всплыло:

Бродяга к Байкалу подходит,  
Рыбацкую лодку берет,  
Унылую песню заводит,  
Про родину что-то поет...

Похоже, что начала спевку компания, недавно прошмыгнувшая стыдливо мимо нас и уже освоившая местечко где-то рядом за осинами. Мой отчим, лишенный слуха, любил и знал только две песни: «Бродягу» и «Солдатушки, браво, ребятушки!». Его забрали в тридцать седьмом, спутав с другим человеком. Через год выпустили — третьего человека. Тот, кого увели гепеушные солдатушки, перестал существовать, утратив свою веру, «преданность четвертому сословию» и любовь к времени, ради которого «разночинцы рассохлые топтали сапоги».

И тут от водокачки грохнуло:

Сергей поп, Сергей поп,  
Сергей дьякон и дьячок,  
Пономарь Сергеевич  
И звонарь Сергеевич...

Боже мой, это тоже воспоминание отроческих лет. Потеряв в арестах и смертях почти всю родню и почти всю жилплощадь (комнатенку нам с матерью и бабкой все же оставили), мы сильно расширили наш песенный репертуар и навсегда полюбили застольный хор. Когда же вся квартира была растащена и, казалось, нечего ждать ни новых жильцов, ни новых песен, случилось чудо — к нам прирезали комнату из другой квартиры, принадлежавшей соседнему подъезду. И мы обрели Мальвину Жанновну, разведенную жену начальника одной из главных московских тюрем. Почему ее «переселили» к нам, замуравав со стороны бывших соседей,

не знаю. Она была великаньей стати, тихая, молчаливая и все время сочилась, как скала, из серых выпуклых глаз, оплакивая ушедшего мужа. Он сохранил к ней привязанность и раз в неделю навещал. О его приходе мы знали заранее — Мальвина мылась в корыте на кухне за ситцевой занавеской. Ванна отошла к ресторанным Зубцовым вместе с комнатой деда, они в ней держали или керосин, или разливное вино — в зависимости от положения в стране. Тюремщик сильно выпивал. Надравшись, он обнимал свою огромную верную Мальвину и до полуночи орал «Сергея попа». Других песен не признавал. Голос у него был громаднейший, манера исполнения — раскованная. Может, из-за этого беспутного и шумного попа соседи изгнали Мальвину? У нас ее комната оказалась возле кухни, а кроме того, наша квартира дружила с застольной песней, как Милан с оперой. Молчала лишь одна комнатенка, после того как увели любителя «Бродяги» и «Солдатушек»...

Лес гремел песнями, и, вдохновленная этим поединком хоров, Гликерия Петровна еще раз взревела в разрыв голосовых связок и аорты, налив лицо гибельной чернильной кровью:

Окарасился месяц багаряныцем!.. —

и будто подавилась песней. Встревоженный Рентгенолог стал колотить ее по спине.

— Чего дерешься? — прохрипела она, когда лиловый багрец щек и лба перешел в пепельную сизость, обещавшую выживание. — Лучше бы налил людям.

— Будет сделано, Гликерия Петровна!.. Уже налил. Поехали!

— Хоть бы тост сказал. Что мы, лошади, — молча пить?

Он сразу нашелся:

— За весну!

Мы выпили. Содрогнулись — третья порция отравы идет хуже второй — и как-то дружно смахнули фанерку, на которой были пристроены все наши разносолы и бутылки. Фрейд отрицает случайность неловких жестов, равно обмолвок, описок — это подсознание обнаруживает наше истинное отношение к тому или иному лицу, предмету, событию. И сейчас подсознанию претило то, что мы вынуждены были пить и есть, и оно дало приказ повергнуть все наземь. Но сознание, знавшее, что лучшего не будет, среагировало столь же быстро, приказав рукам подхватить бутылки, прежде чем из них вытекли остатки сладостной отравы. Ну, а с остатками закуси особой беды не случилось. Сдуть соринки, еловые иглы и мертвых жучков — вся недолга. Лесной смолистый привкус даже приятен...

Между тем народ все прибывал. Сердечники и гипертоники ломали в лес, как партизаны. Впрочем, сам лес устранился от хлынувшего в него праздника, притих, замер. Как замечательно умеет прятаться одушевленная природа! Сколько тут всего пело, свистело, верещало, летало, прыгало, бегало, шныряло — и вдруг, словно разом, вымерло.

И чего-то все печальнее становился мне этот засекреченный, будто украденный праздник. Кто мы — победители или побежденные? Если победители, то почему мы не могли широко и свободно расстелить белые скатерти на зеленой весенней траве и со скорбным достоинством помянуть всех отдавших жизнь за Победу? Почему

мы, а среди нас немало тех, «кто умирал на снегу», должны позорно хорониться в лесной чаще? И от кого хорониться? От тех объедающихся и опивающихся, которым вспало в башку наводить на обездоленных марафет трезвости, не дав ничего взамен единственному русскому от-дүху?

Почему нас так унижают, срамят, третируют на каждом шагу? Немцы проиграли войну, но и они отмечают этот день, поминая своих погибших. Они выходят из дома хорошо промытые, сытые, холеные, превосходно одетые, садятся в свои «мерседесы», БМВ, «опели», «фольксвагены» и едут на кладбище, кладут цветы на могилы, к подножью общих памятников, молятся, притуманивая взор приличной слезой, а вернувшись домой к обильному столу, насыщаются по желанию и физическим возможностям, запивая свежую еду холодным мозельским, рейнским или пивом. И никому в голову не придет посягнуть на привычки, обычаи, бытовые потребности этих свободных людей...

Ко всему еще мне никак не удавалось попасть в тон нашему застолью. Порой казалось, что окружающие разговаривают не по-русски, а на каком-то фонетически близком, но смыслово далеком языке. Отчасти это объяснялось тем, что тут шел непрерывный флирт, а птичий язык любви стороннему наблюдателю не слишком понятен. Произносится одно, а подразумевается совсем другое: «...часто пишется казнь, а читается песнь». Мне было отказано в этом прочтении. Атомщик и Фаина Петровна редко обращались друг к другу, но между ними шел такой же напряженный обмен, как между Рентгенологом и Гликерией Петровной, не скупившимися на сло-

ва. Порой я вроде бы угадывал если не предмет, то направление беседы, но, пытаясь включиться, неизменно попадал впросак, судя по вежливому недоумению окружающих. Я вдруг понял, что легко мне лишь с людьми, которые хоть детством помнят войну. Но даже наши обремененные годами дамы не могли нести в себе то метельное, шальное время. Один Артемьич обладал пацаночьим сознанием в годину жестоких испытаний. Он мог бы даже стать сыном полка, но такой возможности ему не подвернулось. Он тихо прожил на дедовской пасеке в глухом закамском селе, ему жужжали пчелы, а не самолеты. И все же при взгляде на его славную бороду становилось не так одиноко, теплело на душе.

А потом решили выпить за меня как за единственного в компании «вовика». Это предложила активная Гликерия Петровна, и поначалу я решил, что она оговорилась, спутала мое имя. Мне быстро объяснили, что наш добрый и ехидный народ так обозвал воинов Отечественной войны. И тут я снова усомнился: что у нас — мир победителей или побежденных? Для победителей есть хорошее, известное слово «ветеран», правда, сейчас его встретишь лишь на дверях магазинов, где старым, изможденным людям подкидывают суповые наборы, пачковые пельмени, а случается — колбасу. Но никогда не побалуют куртками из кожзаменителей или безразмерными лифчиками — это для инвалидов, для тех, кто отдал родине часть тела или рассудка.

Не нужно подымать крика по поводу жестокости, бездушия, цинизма нынешних, ведь они такой же народ, как мы, вчерашние. И если вчерашнему народу кажется, что нынешний народ стал другим: злым, безжа-

лостным, то стоит подумать, отчего это произошло.

Официальная пропаганда из кожи лезла вон, чтобы поднять престиж Афганской войны, но из этого ничего не вышло. Не добились и народного милосердия к подневольным участникам и жертвам стыдной, несправедливой войны. И хоть трудно признать такое, но жестокость эта высоконравственна: навеки прокляты в сознании народа слова «захватчик», «оккупант».

А вот теперь неуважение распространилось и на тех, «кто неделями долгими в мерзлых лежал блиндажах». Или мы недопобедили, или дали украсть у себя победу? Мы сокрушили фашизм, освободили Европу, всех на свете спасли... Ну, а себя мы спасли, себя мы освободили? Где трофеи нашей победы, не наручные немецкие часы рядовых и генеральская добыча, а гражданская свобода, человеческое достоинство, социальная защищенность, бытовая устроенность, сытость, наконец?.. Что мы сделали с нашими женщинами? Есть ли в мире кто несчастнее, неухоженнее, измученнее, чем наши матери, жены, сестры, дочери? Две из них сидят рядом со мной. Они далеко не стары, их перемололи в бесконечных магазинных и вагонных давилках, изуродовали неподъемными тяжестями, неженским трудом, медицинской беспомощностью, отсутствием лекарств, плохими родами, послеродовыми инфекциями, а добились — мужьями-алкоголиками. Я уверен, что это русские женщины придумали кличку «вовик», чтобы покарать нас, горе-победителей, уныло качающих права в очередях, за предательство тех, кто нам доверился и впрямь думал, что мы ничего не боимся...

Короче говоря, мне расхотелось длить это

пиршество, и под каким-то благовидным предлогом, совершенно лишним, я отмылил. Я узнал тут и другие сленговые слова, предел языкового хамства,— «сделал ноги». Меня не удерживали. Таинственные переговоры, где самое важное оставалось в паузах (Мандельштам ценил в кружевах не плетение нитей, а дырки), продвинулись так далеко, что застолье изжило себя. Неожиданно Артемьич, легко вскочив с корточек, последовал за мной.

Благодарный за товарищество, я стал восхищаться его автогигантом, который с обычным перерасходом сил и средств, будто в первый раз, строила вся страна, исходя фальшивым энтузиазмом, фанфаронством и обязательствами, которые хладнокровно нарушались, на что никто не обращал внимания. Но все-таки построили, губельно сбив экологическое равновесие края, что тоже никого не взволновало, кроме нескольких газетчиков-очернителей.

Он выслушал мои восторги, лучась пронзительным белым светом из своих хрустально ограненных глаз. Потом сказал в том же тоне душевного подъема:

— А знаете, мы сроду плана не выполняли. Как ни бьемся, а больше шестидесяти пяти процентов дать не можем.

— Почему? — опешил я.

— Никак оборудование не освоим. Оно все импортное.

— Когда-то автомобилистов посылали учиться к Форду.

— И мы посылаем! — чему-то обрадовался он.— Я — каждый год в списке. Только едут не станочники, а ум, честь и совесть нашей эпохи.

Осекшись на производственной теме, я решил возвысить его как пчеловода, хотя нет ничего скучнее пасечного энтузиазма с непременною восхищением многообразными чудодейственными свойствами пчелиных даров, особенно прополиса. Зацепкой мне послужил его значок.

— Значок есть, а меда нет! — отозвался он с присущей ему подъемной бодростью. — Цветочного, я имею в виду. Сахарный — это рыночный обман. А натурального меда мы давно не берем. От дымов и химии все медоносы исчахли.

Я не люблю, когда о кромешных наших бедах говорят с ликованием. Но в безунывности его ответов был не ернический восторг падения, а крепость шеи, которую не согнуть.

Я оставил попытки пробудить в нем здоровую советскую гордость и, несколько подавленный, замолчал. Он тоже молчал, но порой я ловил на себе его сверкающий хрустальный взгляд, чуть косой и заговорщицкий, словно нас связывала какая-то счастливая тайна. Меня стесняло это неоправданное душеразположение токаря-пасечника из далекого новостроечного города. Я до мурашек боюсь однотипных серых городов без старого храма, без памяти о прошлом, без ампирических полуразвалившихся особнячков, останков монастырских стен, приземистых торговых рядов, но с бездушием одинаковых жилых коробок, громадным партийным зданием, чахлым сквериком перед ним и непременною бронзовым истуканом.

Хорошо еще, если излучаемая им восторженная симпатия — просто эманация домашнего коньяка, куда хуже, если его разывает тайный литературный зуд, стремящийся к воплощению.

Ни один мой приезд сюда не обходился без объяснений с каким-либо пенсионером, желающим запечатлеть свой громадный жизненный опыт и уверенным, что ради этой высокой цели профессиональный литератор отложит собственные эгоистические намерения и включится в действенную помощь. А сколько пришлось выслушать беспросветных стихов и прозы! Неужели Артемьичу мало металлической стружки и восковистых сот, и манит злая судьба графомана?

Лес держал на чахлах кронах по-дневному яркое голубое небо, но между стволами копил печальный сумрак. Когда же мы вышли на опушку, нас объял сияющий, солнечный, не помышляющий о конце день. Жизнь продолжалась, она была прекрасна и станет еще прекраснее, если избавиться от Артемьича, от его доброй, но подозрительной назойливости. Мимо медленно катился пожилой велосипедист — наш отдыхающий, не поддавшийся лесным чарам.

— Дайте прокатиться! — неожиданно для самого себя крикнул я.

— Сделайте одолжение, — ответил тот любезно, хотя и с легким недоумением.

Я не помнил, когда в последний раз садился на велосипед. Больные ноги исключали для меня всякий спорт. Чего это я так осмелел? Конечно, хотелось избавиться от Артемьича, да и домашний коньячок бурлил в жилах, даря сумасшедшую надежду, что можно умчаться от этой плюгавой жизни в сияющие небеса.

По-женски забравшись на седло — у недомерков нет рамы, я оттолкнулся, круто вильнул рулем, едва удержав равновесие, и заработал педалями. Как-то сразу пришла уверенность.

Я расслабился, сел поудобнее и помчался в сторону проходной. Боли в ногах не было, видимо, тут задействованы другие мышцы, нежели при ходьбе. Вдохновленный забытой радостью быстрого перемещения в пространстве, я все сильнее и сильнее крутил педали, и ветер дивно охлаждал виски.

Почему-то я раздумал ехать к проходной и круто свернул влево на дорожку, ведущую к искусственным прудам. Слишком круто свернул и сразу понял, что не впишусь в поворот. Руль вышел из повиновения, резко затормозить — потянет юзом. Велосипед перескочил через бордюр из красного кирпича и вмазался передним колесом в рыхлую почву газона. Я кувырнулся через руль и распластался на земле.

Еще не до конца осознав случившееся, я увидел летящего по воздуху человека. Блеск его вытаращенных глаз слился в одну ослепляющую вспышку со сверком спиц пронесшегося надо мной велосипеда. Затем был хруст двух костлявых тел: чужой велосипед упал на мой, а возле меня с мягким чавком приземлился велосипедист.

Упавший мгновенно вскочил, из мыльной пены всклоченной бороды неся испуганный добрый рокоток:

— Вы целы?.. Не ушиблись?.. — Теплые руки ощупывали мои плечи, ребра.

— Я умею падать, как доктор Гаспар Арнери. Помните «Три толстяка»?

— Слышал, но не читал, — успокоенно улыбнулся Артемьич. — Вы брюки испачкали.

— Чепуха! Позвольте, а где ваша штанина?

Он посмотрел на свою голую, жалкую, как сиротка, ногу. Поискал вокруг себя.

— Вот она. В передаче. Я, оказывается, не умею падать.

Он и правда не умел. Кроме потери штанины, он понес кровавый урон: рассадил скулу и бровь. Ободрано было и голое колено.

— Надо промыть раны. Пойдемте к дежурной сестре.

— Не хотелось бы. Домашний коньячок дает сильный выхлоп. Прогонят из санатория да и в профком напишут.

Я вспомнил, что у меня есть немного медицинского спирта для компрессов, и пригласил его к себе.

— Неудобно вас затруднять,— сказал он смущенно.

Мы почистились, подняли велосипеды. К нашей радости, казенное имущество не пострадало.

— Ну и кони нам достались привередливые! — вздохнул Артемьич, засовывая обрывок штанины в карман пиджака.

Мы двинулись к санаторию, ведя за рога наших обидчиков. Я старался понять, как успел Артемьич добежать до вестибюля, взять из стойки велосипед и догнать меня в спасительном усилии, когда вся моя жалкая одиссея длилась считанные минуты?..

Мы благополучно добрались до моего номера, не привлекая ничьего внимания, кроме вахтерши, понимающе и сочувственно покачавшей головой. Это была хорошая старуха, последняя из ветеранов санаторной охраны, которая никогда не стучала на отдыхающих в отличие от молодого энергичного пополнения. Те были бдительны и беспощадны, как лагерная ВОХРА, оттуда они, возможно, и пришли.

В номере Артемьич пошел в ванную, промыл

свои раны, расчесал бороду, а граммую спирта попросил разрешения принять как внутреннее. И, разумеется, не возражал. Нашлась и закуска — курага.

Он выпил и подарил меня благодарным взглядом.

— Джордж Ноэль Гордон Карп,— произнес он тихо, внятно и значительно, как пароль.

— Как? — переспросил я, думая, что ослышался.

— Джордж Ноэль Гордон Карп,— повторил он с глубоким чувством.

— Что за симбиоз Байрона с Поэтом Карпом?

— Люблю обоих.

— А-а!.. Ну, Байрона вы, понятно, читали...

— Не пришлось. О нем — читал. Мне книжка Моруа попала. Какой человек был! Богач, красавец, гений, член палаты лордов, спортсмен — живи и радуйся, а он поехал за греческую свободу сражаться и помер в расцвете лет. Я его как личность обожаю, а Поэла Карпа как писателя.

— Но ведь он печатается все больше в «Книжном обозрении», специальном издании.

— Постоянный подписчик! — Артемьич ткнул себя пальцем в грудь.— Жена «Работницу» выписывает для выкроек, а я «КО» для работы мозга и жизни души.

Так он еще и книгоцей! Вот почему бросал он на меня заговорщицкие и намекающие на общую тайну взгляды: я член редколлегии его любимого печатного органа, дающего пищу уму и сердцу.

— У вас хороший книжный магазин? — спросил я.

— В смысле помещения — лучше не бывает. Кремлевский дворец. А на полках пусто, как в гастрономе.

— Ну уж сравнили!

— Нет, конечно, они заполнены, но пустые. Всегда навалом было классиков марксизма: Сушлова, Романова, Гришина, Лигачева. Из беллетристики: брежневская трилогия и «Перестройка» Горбачева. Полно брошюр: «Как оборудовать избирательный участок», «Структура первичной партийной ячейки Корейской коммунистической партии», решения последних пленумов. Бывает, связки «Роман-газеты» забросят — неликвиды, берут на завертку. Раз Честертон подмоченного завезли. «Человек, который был четвергом» мне, конечно, не достался. Прошел слух, Карелина давать будут, а вдруг «Змеелов»! — люди с ночи встали, оказалось, перепутали — Капралова. Господи! — сказал он на слезе. — Какие книги выходят: Музиль, Марсель Пруст, Камю, Андрей Белый, Мандельштам, Цветаева, Пастернак, Бердяев, Набоков, спаси и помилуй, и Ремизов, и Бунин, и Шмелев, и южноамериканцы, отцы родные, весь Ключевский, Карамзин, Булгаков!..

— Где же вы все эти книги достаете?

— Нигде. Где же их достать? — Он вынул из внутреннего кармана пиджака сложенную вчетверо газету, залоснившуюся на сгибах. Бережно развернул, и я увидел родное «КО» — номер, который вышел уже после моего отъезда в санаторий.

— Жена прислала. Знает, что я без моей газеты не могу. С нею ложусь, с нею встаю. Утром более получасика не выкроишь, зато уж вечером — до упора. К ящику меня силком не загнать, в кино не пойдешь — опасно. Я читаю.

— Что же вам больше по душе?

— В газете? Все по делу — от корки до кор-

ки. Но, конечно, самое любимое вот...— Он отделил тетрадь со списком сигнальных экземпляров.— Как стихи, наизусть заучиваю: Гумилев Н. «Стихи. Письма о русской поэзии», Дюма А. «Асканио», Клюев Н. «Песнеслов», Лондон Д. «Путешествие на «Спарке», Ремарк Э. «Ночь в Лиссабоне. Тени в раю»...

— У вас большая библиотека?

Он ошалело глянул на меня.

— Какая библиотека?

— Ну, вы же собираете книги?

— Какие еще книги? Где их взять? Названия я собираю.

Теперь ошалел я.

— Зачем же вам это надо?

— Как зачем? Я этим живу.— Короткое его раздражение прошло, он опять стал мил и трогательно доверчив.— Я лежу и воображаю. К примеру: Д'Эрвилли. «Приключения доисторического мальчика». Я начинаю придумывать. Сперва самого мальчика, как он выглядит, чем питается, какие у него привычки. Потом придумываю ему друзей и врагов, всякие приключения, схватки с допотопными чудовищами. Иной раз так разойдусь — до утра заснуть не могу. А думаете, неинтересно: Карпухина и Кузнецова «Консервы в домашнем питании»? Еще как интересно-то! Сколько я разных консервов напридумывал — вкусотища, язык проглотишь! Или книжка Шангина «Восстановление лакокрасочного покрытия легкового автомобиля»! Какие я лаки изобрел — ни гвоздем не поцарапать, ни кислотой не взять. Люблю очень медицинские издания. Бывает, так раскочегарюсь — все проблемы решаю. СПИД излечиваю, можете себе представить? А то стихи сочиняю: за Батюшкова, Вяземского, Кюхельбекера — аж до слез.

— А не пробовали записывать?

— Разве это можно записать? Мечтания. Там небось ни складу ни ладу, поцелуй кошку в зад. Это все равно что лак по моему рецепту варить или больных пользоваться. Все только для себя. Безобидный эгоизм. Никому не вредит, а мне душу сохраняет. Ладно, не буду вам мешать. Отдыхайте. Пойду штанину пришивать.

Он сложил газету и сунул в карман. Вздохнула входная дверь...

Я лежал на койке, старый «вовик», родившийся в голодные годы и вскормленный голодным молоком военного коммунизма, плевавший цинготной кровью голодного Ленинградского фронта и собирающийся закончить бал и погасить свечи в новом витке всенародного голодания, лежал и думал о себе, о прожитом дне, о своем недавнем посетителе. Пока мы так празднуем и так читаем, надеяться не на что. Это даже не то наисмирнейшее смирение, каким лесковский старец Памва смутил самого Сатану, это полная капитуляция.

— Родари Д. «Джельсомино в стране лжецов», Габорио Э. «Дело вдовы Леруж», Г. Леру. «Духи Дамы в черном», М. Леблан. «Арсен Люпен — джентльмен-грабитель»... Матушка, спаси своего бедного сына! Урони слезинку на его больную головушку. Посмотри, как они мучат его! Прижми ко груди своей бедную сиротку...

---

От редакции. Поскольку подписка на еженедельник уже прошла и провалилась, рассказ-быль печатается совершенно бескорыстно, им никого не соблазнишь. Артемьич, конечно, остался верен «КО» и заявил: если даже заботами Минфина и других культуртрегеров стоимость подписки превысит заработок, он все равно от нее не откажется. Но пойдет на сделку с совестью и наводнит рынок негодным сахарным медом.

# ЛЮБИМЫЙ УЧЕНИК

*Рассказ*

Как полагается, в преданиях все это обрело притчевый лад, стало наглядным уроком смирения. Иначе и быть не могло. Каждый его жест, каждое слово были перетолкованы в поучение, что не лишено основания. Он не мог растрачиваться на свободную игру чувств, слишком мало времени было ему отпущено,— пойдя вырасти урожай новой веры на каменистой, сухой, неплодной почве дремучих душ. Но сейчас было другое, ему хотелось прикоснуться к человеческой плоти, в близости страшного исхода ему вспало, как мало телесного было в его жизни.

Сильно и нежно помнились ему ласковые крепкие руки и круглые колени матери. Смутно, то ли истинным детским воспоминанием, то ли мнимой, навязанной ему окружающими памятью виделся единственный товарищ его ранних лет, брат в каком-то колене Иоанн, серьезный, красивый и печальный, немного старше его. Неужели он провидел свою судьбу, что голова его с закатившимися глазами будет подана на золотом блюде блудной Иродиаде? Наверное, так подробно он этого не знал, но знал, что будет страшное, и потому никогда не улыбался, тихий, сосредоточенный в себе, приветливый мальчик. Но

ведь и ты никогда не улыбался, потому что тоже знал, что в конце будет страшное. Блаженны неведующие... Как скромны и тихи были их редкие игры. Они не возились, не боролись, не барахтались, как все мальчишки, Иоанн что-то искал в траве, потом приносил цветочек, и вы молча внимательно его рассматривали. И ты в свой черед находил камушек или мертвую бабочку и нес находку другу. И снова шло безмолвное, задумчивое лицезрение. Вы не знали названий этих цветов, травинок, насекомых, но почему-то не спрашивали своих матерей — Марию и Елизавету — об именах малых мира сего. Лишь раз попался цветок, напоминающий формой крест, ты видел такой в руках у матери, когда еще не умел ни ходить, ни говорить и жил у нее на коленях. Слово «крест» входило в название, но ты не вспомнил.

Мать поздно спустила его с рук на землю, словно боялась, что он уйдет и потеряется. Он и ушел в свой час, без сожаления и печали, как уходил от всех ради ждущих впереди. Лишь тем двенадцати, которым он сегодня вымоет ноги, позволено было следовать за ним. Одних он сам позвал, другие напросились в спутники, третьи были ему вверены.

А с Иоанном они встретились через много лет, когда тот стал рослым, стройным мужчиной с прекрасной лохматой головой; его крупное тело было закутано в плащ из грубой верблюжьей шерсти, дыхание отдавало диким медом и травами, он проповедовал людям о скором приходе Мессии и крестил их в Иордани. Иисус пришел к нему из Галилеи принять святое крещение. Что-то отстраняюще щепетильное было в смирении, склоненности Иоанна перед ним, и это пре-

секло возможность доверительного тона старой дружбы. Пришлось удовольствоваться негреющим жаром встречи Мессии и его пророка.

Мысль соскользнула с Иоанна, Иисус вспомнил сестер Марфу и Марию, в чьем доме он находил приют. Они омывали его усталые ноги, мазали миром голову. Особенно приятны были прикосновения легких, внимательных, никуда не спешащих рук Марии. А Марфа, всегда не успевавшая по домашности, вечная хлопотунья, омывала ноги, будто миску споласкивала после еды.

Другая женщина, тоже именем Мария, омыла ему ноги слезами и вытерла своими пышными мягкими рыжими волосами. Она была блудницей среди людей, но что ему до этого? Раз на дороге она припала к его ногам, он наклонился и тронул ее за плечо и в этот миг забыл себя и свое предназначение. Хотелось зарыться в ее рыжие, с бронзовым отливом волосы и остаться там навсегда.

Сам он редко касался человеческой плоти, разве что исцеляя прокаженных, изъязвленных, парализованных, бесноватых или оживляя трупы, но физической радости эти прикосновения не доставляли.

Телесность жизни — вот чем он был обойден. Одинокое странствие по каменистой пустыне и пыльным дорогам, удаления от мира, мучительные искусы, проповеди и поучения, бездомность — лисицы имеют норы, птицы небесные — гнезда, а Сыну человеческому негде преклонить голову, — все это уводило от густого человеческого тепла в стылую пустоту бестелесности. Он трогал жизнь не перстами, а словом. И как прекрасно было, когда вдруг, устав от бессилия взываний, он

схватил плеть и отхлестал торгашей, раскинувшихся в храме со своими товарами, выгнав их вон. Хорошо погуляла треххвостка по жирным спинам и плечам.

И чудесно вспомнить, как на белой ослице он спускался с Иерихонской кручи после сорокадневного искуса легкий, словно бы хмельной от голода, ободравшего его плоть до тонины осеннего листа, и чувствовал худыми лядвиями крепкие шелковистые бока ослицы, а седалищем — твердый круп. Он сидел, сильно откинувшись назад, иначе ослица повалилась бы с отвесной пади, по которой извивалась узенькая тропка. Она так наклонилась, что он видел лишь холку и кончики ушей, но не видел головы; порой казалось, что он пребывает в свободном падении — парении, и это оборачивалось предчувствием будущей невесомости, а ему хотелось совсем иного — тяжести плоти. И он обрадовался, когда в изножии склон стал менее крут, а там и вовсе — положим, тропка расширилась и в правую ногу ему заколотился лопаткой сынок ослицы, трусивший на круче сзади. Иногда он тыкался в него мягким носом, и радостно было слияние с плотью жизни.

Он уже знал, что в небесном чертоге Отца ему будет скучно без грубой, плотной, пахучей, пестрой земной круговерти с кучей ненужных забот и дел, порочной, низкой, отвращающей персть земную от милостиво простертых божьих рук — да ведь после сладимой родниковой воды хочется иной раз ожечь гортань глотком пряного хмельного вина. И сейчас он жалел, что так мало пил из этой чаши.

До чего же, наверное, страшно, душно и захватывающе постоянно пребывать в обхвате этой

жизни, сквозь которую он проходил, как солнечный луч сквозь воздух.

Я ведь так мало знаю о той обычной жизни, которой живут простые люди, а не пророки, думал Иисус. Я не знаю названий многих деревьев, цветов, трав, камней, мелких животных, снующих в траве и песке, я даже не знаю, как называются иные предметы, служащие для домашней пользы, ремесла, забав. Я затрудняюсь порой на обычных словах, и обо мне пустили слух, что я косноязычен. Я слишком рано задумался над тем, что непричастно дневной заботе, и тут у меня достаточно слов, а если вдруг не хватало, я создавал нужные слова сам, и люди, слушавшие меня, понимали их, будто всегда знали, лишь не желавшие слышать делали вид, что не понимают. И я слишком рано прозрел участь мне уготованную и ужаснулся. Нет, я сам уготовил ее себе, пожалев людей и дав этой жалости превзойти любовь к себе единственному, на чем стоит мир людей. Господь, создав меня своим хотением, предоставил мне право выбора. Я мог остаться одним из пророков, еще одним предтечей, но я принял на себя ношу и стал сыном Предвечного. Я не был обречен на свой путь, Вифлеемская звезда сияла не мне, я даже не видел ее из вертепа своими мутными опрокинутыми глазами. Она была звездой надежды. Все делается произволением Божиим, но мне дана была свобода. Я выбрал крест, не обманув Небесного отца. Но пока еще я Сын человеческий и чувства во мне человеческие, иначе я не мог бы исполнить того, к чему призван. И страдания мне предстоят человеческие, и они страшат меня, и опамятование в славе и бестелесности не довлеет моей душе.

...Иисус взял в руки стопу Иоанна, «которого

Он любил» — с трогательной и наивной настойчивостью будет повторять Евангелист, вспоминая свои дни с Христом. А потомки перетолкуют в «любимейшего». Верно ли это? Он, правда, очень любил Иоанна и дал ему место возле себя, как и брату его Иакову Заведееву. О том просила Иисуса их мать, доверяя ему своих сыновей. Он отчитал тщеславную женщину мгновенно родившейся притчей, но по какой-то слабости выполнил ее просьбу. А ведь одесную от него надлежало бы сидеть Петру — камню, на котором он оснует свою церковь, Петру — будущему первосвященнику, хранителю райских врат.

Иоанн был одним из самых любимых, он старался всех любить одинаково, но даже ему это не удавалось. Иоанн был ласков, как женщина. Он все стремился склонить голову на плечо, на грудь Учителя, приятно щекотали шею его волнистые мягкие волосы той же бронзовой рыжины, что у Марии Магдалины. Остальные ученики не решались прикасаться к Учителю, даже горячий, порывистый, не умеющий сдерживать своих движений Петр. Ласковость, любовь, нежность были сущностью Иоанновой души, и невероятно, что этой женственной натуре суждено исторгнуть из себя самые ужасные, неистовые, опаляющие ум слова, какие только слетали когда-либо с человеческого языка, слова его Откровения. Величайшим словослагателем и бесстрашным провидцем окажется этот кроткий человек с легким пушком на округлых девических ланитах. Ему выпадет самая счастливая и долгая жизнь из всех апостолов, если может быть счастлив человек, увидевший внутренним взором коня бледного и семь Ангелов с семью язвами, в коих изойдет ярость Божия. Он узнает бичевание, но его мину-

ет мученическая смерть. Его преклонные дни закатятся среди свято почитающих его единоверцев, которым он, совсем уже дряхлый, будет настойчиво повторять: дети, любите друг друга. Они спросят его, зачем он постоянно твердит одно и то же. И он ответит: это заповедь Господа, и если соблюдете ее, то и довольно.

Нога Иоанна была под стать всему его телесному составу: стройная, с узкой стопой и длинными пальцами, какая-то незахоженная, будто не прошел он следом за Учителем столько каменистых дорог. Иисус с удовольствием обмыл ему ноги и вытер полотенцем из сурового полотна. «Спасибо, равви», — с красным от смущения лицом проговорил Иоанн и отошел, так бережно ставя ноги, будто опасался за свои отныне драгоценные конечности.

Он вымыл ноги Иакову. Тот слышал проповеди Иоанна Крестителя и без колебаний пошел за Иисусом, когда тот его позвал. Это было в характере Иакова: он пойдет как угодно далеко, если его подтолкнуть, и остановится, лишь когда его удержат. Приверженность таких людей особенно ценна, она словно гарантия истинности твоего дела. Иаков — глубоко чувствующий человек, но не чувствительный, как его брат. Его чувства проверяются разумом. Он был бы достойным наследником своего отца — зажиточного рыбака, владельца самых больших коптилен в поселке, но слова Предтечи разбудили в нем другое сердце. И все же он не стал искать того, о ком тот вещал, он ловил рыбу — на редкость удачно. Он был из тех счастливых рыбаков, что имеют легкую руку на рыбу. А в должный час мать взяла его за руку и вместе с младшим сыном вручила Иисусу. Общее семейное сердце

Заведеевых уже открылось той новой вере, которую предрекал Креститель.

Иисус омыл ему ноги, хорошие, надежные, ухоженные ноги человека, знающего себе цену и внимательного к своему телу. Не вяжется с основательным, прочным, осмотрительным Иаковом ожидающая его насильственная смерть от руки Ирода Агриппы.

С тазом воды подошел Андрей, славный, милый Андрей. Он принял крещение от Иоанна и раньше брата своего Петра пошел за Иисусом, потому и прозвище ему будет Первозванный. Он понесет слово Божье в самые темные и страшные пределы земли: к скифам и севернее, к угрюмым племенам, обитающим в дремучих лесах, на берегах широких холодных рек. Редко раскиданные по лесной и полевой бескрайной пустынности и оттого подозрительные, пугливые и жестокие, они не убьют Андрея, как предсказывали свирепые, но все же более человеческие скифы. Терпеливо и недоверчиво будут слушать наставления апостола, иные с кривой усмешкой примут от него святое крещение и отпустят с миром. А мученическую смерть на косом кресте примет Андрей на греческом острове Патросе по воле проконсула Энея. Хуже северных варваров окажутся просвещенные римляне для несущего слово Божье. Что стоит просвещение, если сердце глухо к Главному Слову?

Андрей станет покровителем той страны, что возникнет на месте обитания навещенных им диких племен. И флаг, и высшая награда страны станут андреевскими — ни один из тех, кто пошел за Сыном человеческим, не удостоился подобной мирской почести. Но не уберег крест этот народ, оставшийся в глу-

бине своей таким же темным, диким, кровожадным, как во дни прихода Первозванного. И построят они на своих просторах царство тьмы, второй ад, не скрытый в земном провале, а раскинувшийся бесстыдно, как блудница на ложе, между двух океанов. Появятся там поддельные пророки, чудотворцы волею Сатаны. Христос накормил двумя рыбами и пятью хлебами пять тысяч человек, эти будут кормить тем же количеством пищи, не преумножающейся тайно, трехсотмиллионный народ, порождая глад и мор. А один лжечудотворец превратит все вино в воду, иссушит, изломает, изведет лозу, кою воспитывали бесчисленные поколения виноградарей, дабы обратила она вложенный в нее заботливый нежный труд в благодатный сок. И подведет он смятенный народ, утративший свое исконное веселие, возносившее его дух горе, под власть Змея — Полоза, подручного Сатаны, по чьему хотению соблазнил он прародительницу Еву и лишил человека рая...

Иисус долго поливал водой молодые ноги Варфоломея; под тонкой кожей расходились голубые жилки, и так страшно было представить себе, что эту кожу сдерет с живого человека разъяренная чернь у стен Иерусалима. Первой жертвой христианства будет этот оставшийся неизвестным миру юноша; благодарное, но несведущее потомство подарит ему великие духовные подвиги в Индии, а неблагодарное — откажет в существовании, заменив его Нафанаилом, о котором Иисус обмолвился раз добрым словом.

Иисус не знал прежде, что человеческие ноги столь же разнообразны и выразительны, как лицо и руки, что в них тоже отражается характер. Когда босые ноги купаются в дорожной пыли, кажется, что все они одинаковы, а они разные,

совсем разные, — как щедр Господь в зиждительстве своем, никогда не повторяющем уже бывшее, в его мире нет копий, все сотворено наново.

Сейчас он вытирал ноги Иакову Алфееву, подобные врытым в землю столбам, — так же прочен, прям, неуклонен был суровый характер апостола, двоюродного его брата, ставшего первым епископом Иерусалимским. А у младшего Алфеева — Фаддея, скромного, стремящегося затениться, ноги были тонки и сухи, как у оленя. А вот «разношенные», неухоженные ноги Матфея, бывшего мытаря, немало намытарившегося по земле; небольшие беспокойные ступни Фомы — любопытного, недоверчивого — вот и сейчас посмотрел, чисто ли моет. «Ты и в раны мои персты вложишь, Фома-неверующий», — укорил Иисус. Трудно поверить, что этот пронырливый человек, которому надо все своими руками потрогать, станет одним из самых твердых и бесстрашных проводников его Слова, которое он понесет в огнедышащие аравийские пустыни.

Дошла очередь и до култышек — иначе не скажешь — Петра: коротких, гнутых, без щиколоток. Можно подумать, что Петр ходил другими дорогами, нежели его товарищи. У тех ноги странников, у него — страстотерпца: сбитые, порезанные, в мозолях и синяках. Всегда в горении — нетерпелив, страстен, как собака преданный и, как собака, поджимающий хвост в миг опасности, равно способный к мгновенному героизму и позорному испугу, настолько богатый чувствами, что хватило бы на всех апостолов и еще осталось — вот уж воистину: ничто человеческое не чуждо. Потому и решил основать на нем свою церковь Иисус. Она будет, как он, самоотверженна, как он, не стойка, как он, цель-

на, как он, сумбурна, как он, способна на мученичество: распятый головой вниз, он явит то великое мужество, какого ему не хватало в менее грозных скрутах судьбы, слезливая и неуклонная, как он, любящая и яростная и способная к радости. Если б камню и впрямь быть плотью церкви, то ставить ее надобно на Иакове Алфееве — это кремень. Но он ставил человеческую церковь, и этот горячий, кипящий, наивный делатель годился больше всех, чтобы церковь была для человека, слабого, грешного, исполненного стольких противоречивых задатков, но тянущегося ввысь — к раскаянию и правде.

И вот перед ним смуглые, опрятные, будто не пристаёт к ним дорожная пыль, ноги Иуды. Он чем-то взволнован, Иисус уже научился угадывать чувства учеников по ногам, не заглядывая в лица. Небось опять взял деньги из общей казны, хранителем которой поставили бывшего мытаря. Взял, чтобы отдать какому-нибудь попрошайке. Апостольский казначей знал счет денежке, но был жалостлив и доверчив: не мог отказать в подаении, особенно тем ловкачам, что так хорошо прикидываются несчастнейшими из несчастных. Они выглядят куда убедительнее истинно неимущих, потому что лишены стыдливой гордости бедняков. С какой охотой обнажают они искусно наведенные язвы! А много ли надо такому доброму, мягче воска человеку, как Иуда, у которого не глаза, а сердце на мокром месте. Собственных денег у Иуды почти не водилось, и он запускал руку в общую скудную казну. Все это знали, но молчали, уважая его безоружную доброту.

Но сильнее стыда, тревоги, страха разоблачения была изливающаяся на Иисуса любовь.

Иуда любил его сильнее, чем Петр, Андрей, Иаков, даже сильнее, чем Иоанн. Иисус ладонями чувал то замирающее наслаждение, какое доставляли Иуде прикосновения Учителя, его забота и ласка. Он даже перестал мучиться из-за похищенных грошей, не для своей же сласти он их взял. Как-нибудь заработает и вернет в кассу или у заможных друзей попросит. Но Учитель моет ему ноги, и делает это так старательно и серьезно, что внутри него заходили волны умиления, душа стала влажной, Иуда боялся расплакаться. Иисус услышал взволнованное сердце Иуды через жилку на подъеме ступни, и, похоже, в этот миг уже созревшее решение стало окончательным. Он сможет,— сказалось в нем. И еще он подумал: вот судьба тех, кто слишком сильно любит.

Как всегда, последним подошел к нему Симон Кананит, был он почтенных лет, но еще скромнее Фаддея, хотя никому не уступал спокойным умом, глубокой, преданной душой; его неподдельное смирение благотворно действовало на климат маленькой общины, умеряя любую заносчивость.

Опорожнив таз и вымыв руки, Иисус дал знак, чтобы готовили пасху, а сам отозвал Иуду в покойчик близ трапезной. Они собрались для вечера в поместительном доме юного прозелита Марка. Сам хозяин не принадлежал к избранным ученикам и потому отсутствовал. За высоким окошком дотлевала вечерняя апрельская заря. Они встали в ее печальный изнемогающий свет. Иисус сказал:

— Завтра свершится предсказанное пророком: один из вас предаст меня.

Иуда вскинул кудлатую голову, похожую

на голову большого доброго пса. Иисус понял то, что перелилось в его зрачках: казначей ждал разговора о взятых в кассе деньгах, а Учитель позвал совсем для другого, чего он не мог сразу ухватить.

Христос повторил сказанное. Он не раз заговаривал с учениками о ждущем его конце, правда, темными для простого разума словами пророков.

— Начальники жизни убьют меня. Я умру на кресте, искупив грехи человеческие. Да сбудется воля Божья.

— Но... так скоро?..— донеслось из-за края света.

Он понял.

— В назначенный срок я воскресну и вознесусь к престолу Всевышнего. Так будет. Готов ты стать орудием воли Божьей?

— Я люблю тебя,— снова дуновением.

— Поэтому ты избран.

— Но сам ты любишь Иоанна.

Он ревнует, подумал Иисус.

— Я люблю вас всех. Иоанн ласков и нежен, брат его Иаков скуп в чувстве, но я люблю его не меньше. Петр резок, порывист, порой груб, но дорог мне и за его слабости, и за его достоинства. А могу ли не любить я брата моего Иакова-меньшого, или Первозванного, или доброго ворчуна Матфея, или тишайшего Симона? И так я могу сказать о каждом. Но ты станешь наособь, ближе всех ко мне, ибо возлюбишь меня сильнее жизни, чести и души спасения.

— Значит, и душа моя погибнет?

Иисус наклонил голову. Он мог бы дать ему утешение: до Страшного суда. Когда все грешники, равно ханжи и лицемеры, что пакостили

лишь в помыслах, боясь живого греха, будут низринуты в огненную печь, я возьму тебя за руки и отведу к Престолу Отца моего. Но сейчас я не дам тебе даже такой надежды. Коли откроются смертным помыслы Божьи, вера станет сделкой. Должно всему свершиться по воле Отца моего, но свободным хотением, ибо свободным зрит он человека, движимого верой, а не расчетом на милость и страхом перед карой. Обреки себя на свой страшный подвиг, Иуда, обреки без надежды, и ты станешь выше меня, ибо я знаю, что, пройдя сквозь муки, позор и смерть, восстану в славе и силе, знаю — и трепещу. Меня ждет место одесную Отца моего, а я маюсь, дрожу, мокну холодным потом, мой рассудок мутится от страха, — каково же будет тебе, обреченному на муки вечные и вечный позор в памяти людей? Но ты решишься, и я пойму, почему Господь не отказывается от человека при всей его мерзости и для чего моя смерть на кресте.

— Я сделаю, как ты говоришь, Господи.

Он не сказал «Учитель», он сказал «Господи» — ему открылось, он сделает.

Иисус почувствовал, что ему стыдно смотреть в глаза Иуде. Но он пересилил себя и взглянул. Никогда, никогда не видел он такого бледного, такого бедного лица. Он едва не дрогнул: успокойся, брат, я хотел испытать тебя. Ты выдержал испытание. Спокойно ложись к пасхальному столу. Все будет, как предсказано пророками. Без тебя. И знай, Иуда, ты всегда в моем сердце.

Но он ничего не сказал. Его кроткий и беспощадный взгляд спокойно отторг последнюю — молчаливую — мольбу Иуды.

— Боже,— дрожащим голосом проговорил Иуда,— подари мне одно: дай целованием уст предать тебя врагам.

— Будь по сему,— сказал Иисус.— Но это последняя твоя просьба.

И совершил он пасху с учениками своими. Пили сладкое пасхальное вино, ели легкую пасхальную пищу. И он сказал ученикам, что один из них предаст его. Они опечалились и, не переставая жевать, стали наперебой спрашивать:

— Не я ли, равви?

Он сказал:

— Опустивший со мной руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которм Сын Человеческий предается. Лучше было бы ему не родиться.

Он опустил руку в блюдо с вареным, крупно нарезанным карпом и стал нашаривать кусок. Иуда не протянул своей руки. Иисус уставил взор на его полуопущенные веки. Палец его укололся об острую кость. Иуда долго крепился, не подымая век, но не выдержал и полыхнул на Учителя смятенно-синим взглядом.

— Не я ли, равви? — запинаясь, спросил Иуда.

— Ты сказал,— ответил Иисус и поднес ко рту кусок разваренной рыбы, розовый от крови из его пальца.

Он так и не понял, почему ученики никак не отозвались на сказанное. Когда он только произнес слово о предательстве, Петр схватился за нож. Иисус следил, чтобы перехватить его руку, если он обратит оружие против предателя. Но Петр спокойно переложил нож в руке и отрезал себе козьего сыра. Они и раньше не всегда

его понимали, поскольку он говорил притчами, обиняками — лишь такие речи осиливают время и остаются в памяти потомков, но для их простых умов даже прямое слово не всегда было доходчиво. Нередко они принимали за околичность напрямую выраженную суть. Возможно, и сейчас они полагали какой-то второй смысл за его словами, который был недоступен их усталому и затуманенному вином рассудку. Придет для них пора, когда все туманности и замутненности опрозрачат и сольются в единую завершенную картину. Иисус не стал им ничего пояснять. Так лучше, пусть Иуда на равных проведет со всеми эту последнюю вечерю.

Он взял опреснок, благословив, переломил и роздал ученикам. Никто не удивился, что Иуда получил свой кусок.

— Ядите,— сказал Иисус,— сие тело мое.

Они послушно принялись жевать хлеб.

Он взял чашу с вином и протянул ученикам.

— Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов.

Они отпивали поочередно, Иуда тоже сделал глоток, следующий в череду не побрезговал чашей после него.

— Сказываю вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в Царстве Отца моего.

И снова ему показалось, что лишь один Иуда понял истинный смысл его слов и почернел лицом, ибо знал, что не пить ему Новое вино в Царстве Предвечного. Остальные, похоже, думали, что Иисус собирается выпить с ними в доме покойного плотника Иосифа, мужа его матери Ма-

рии. Никогда еще не видел так ясно Иисус, что пошли за ним люди прекрасные, но несмысленные и медлительные сердцем. Что с того, их час еще не пробил, но он уже близок. Потрясенные его исходом, они очнутся другими людьми, с обновленным разумом и душой: огненноустые проповедники, бесстрашные подвижники, провидцы, мученики за веру, а одного осенит дивный поэтический дар...

После вечера они поднялись на гору Елеонскую, и он напомнил спутникам слова пророка Захарии: «Поражу пастыря, и рассеются овцы стада».

— Сие сказано о вашем Учителе. Ибо вы соблазнитесь обо мне в эту ночь.

И они, то ли снова не поняв, то ли догадываясь о своей слабости, промолчали. Лишь горячка Петр вскричал порывисто:

— Если и все соблазняются о тебе, я никогда не соблазнюсь!

И сказал ему Иисус:

— В эту ночь, прежде чем пропоет петух, ты трижды отречешься от меня.

Всполох поднялся, как в курятнике, куда забралась лисица. Вопили, бедные, что никогда не соблазняются, скорее дадут себя на куски изрезать, и только Иуда молчал.

Потом пошли в Гефсиманский сад, а Иуда отстал.

Иисус взял с собой на ночлег только троих: Иоанна, Иакова и Петра — и с ними удалился под сень старых олив. Он просил спутников не спать, бодрствовать с ним в его последнюю ночь, но, отяжелевшие от пасхального стола и неспособные управлять собой, они сразу начали клевать носом, а там и задышали мерным, с присви-

стом дыханием сна. Он отошел от них и присел на камень.

Ночь была лунная и звездная, он видел кровли Иерусалима и задумался о людях, мирно спящих в своих домах, храпящих, чешущихся, вертящихся с боку на бок, ласкающих женское тело и не ведающих, какой грядет день. День, когда люди убьют Бога. А если б ведали? Все равно спали бы, и храпели, и чесались, и вертелись, и творили любовь, — ведь спят же его ученики, сведомые о расправе над Учителем. Неужели люди так толстокожи и лишены воображения? Или в них еще не проснулась настоящая душа — отзывчивая, жалостливая, влажная? Может, для того и будет завтрашний день: обратить полужверьевую душу, какой до сих пор обходились, в человеческую? Люди станут другими, когда он повиснет на кресте с разъехавшимися позвонками, не все, не сразу, но станут. Возраст нового человечества пойдет от Голгофы.

И вдруг что-то сломалось в нем, будто хрястнул хребет души, он увидел завтрашний день без осеняющего смысла, без света искупительной жертвы, а житейски: потная толпа, источающая чесночный смрад, сухая, горячая пыль, забивающаяся в волосы, в складки одежды, хрустящая на зубах, грубый шум любопытства, нетерпения, злая ругань из-за лучшего места — и себя, нагого, западающего от стыда в собственный живот перед этим тысячеглазьем. Какой срам! Ему, никогда не обнажавшемуся не только перед женщиной, но даже при мужчинах, висеть голым на виду огромной толпы! И там будет Мария Магдалина, и жены-мироносицы, и его Мать, и незнакомые девы и женщины Иерусалима. С содроганием думая о казни, он как-то забывал

об этой казни стыдом. И, не совладав с собой, он закричал в высеребрянное небо:

— Отче мой! Если можешь, да минует меня чаша сия!

Небо не отозвалось.

Он упал на лицо, раздираемый протестующим ужасом и бессилием перед Богом.

Он лежал долго, пока низкое бессилие не обернулось достоинством смирения.

— Будет, как Ты хочешь, а не так, как я хочу,— прошептал Иисус.

Он встал, подошел к ученикам и стал их расталкивать. Они мычали, вертели головами, протирали красные, слезящиеся глаза. Какие жалкие люди! И в них он думал найти поддержку.

— Я же просил вас не спать,— устало сказал Иисус.— Неужели вы не могли один час бодрствовать со мной?

— Прости, равви,— покаянно сказал Петр и зевнул так, что чуть не свихнул себе челюсть.— Мы старались не спать. Как будто кто песку в глаза насыпал.

Иисусу расхотелось укорять их,— видно, еще не властны они ни над духом, ни над плотью своей. Он оставил неспавшихся, зевающих, кашляющих, постанывающих людей и вернулся к своему камню. Иуда не заснул бы, в нем уже пробудилась та грядущая душа, которая постигнет и этих сонь, и тех, кого он не взял с собой. А каково сейчас Иуде? Ему некому пожаловаться, как жаловался он Отцу своему, он даже имени Господа не смеет произнести. Иуде во сто крат страшнее, безысходнее. Его тело не вознесется со смертного одра в небесный чертог, а будет расклевано хищными птицами, душа уйдет в преисподнюю, а память навеки проклята. Вот чья

последняя ночь воистину ужасна. Мысли о Иуде устыдили, он сказал:

— Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, да будет воля Твоя.

Он помолился светлой молитвой и оглянул ночь с тихими деревьями, тенями и бликами, с высоко поднявшимся небом. Исчезло серебряное струение, ограненные кристаллы звезд обособленно раскинулись по темной глухой глади. Удаляющееся небо дышало холодом. С телесным ознобом вернулась леденящая душу тоска.

Иисус пошел к ученикам и вновь застал их спящими. Они не проснулись на громкую, надтреснутую укоризну. Иисус оставил их в покое, хотя так нуждался сейчас в сочувственном слове. Но что поделать: люди спят, небо молчит и дышит холодом. Иуда, лишь мы с тобой обречены бодрствовать в этот страшный канун, Иуда, брат мой и жертва, прости меня!..

Уже под утро, вновь истомленный тоской, он в третий раз толкнулся к тем, от кого ждал помощи в свою последнюю ночь, но они беспросыпно спали, открыв глупые рты.

— Вы все еще спите-почиваете? А ведь приблизился час, и Сын Человеческий предастся в руки грешников!

Он сказал это звучным, глубоким, проникновенным голосом, способным разбудить и мертвого, но рыбаки-проповедники не проснулись.

— Встаньте! — тщетно взывал к ним Иисус.— Приближается предающий меня!

Но они проснулись лишь от топота ног, стука, звяка, бряка вооруженных мечами, копьями, кольями людей, которых привел Иуда. Проснулись, хлопая глазами и словно не понимая, где они находятся и что происходит вокруг. Так,

не поняв, а может, все поняв, пустились наутек и не слышали слов Иуды, обращенных к вожакам своры, которую он привел:

— Кого я поцелую, тот и есть Царь Иудейский. Берите его.

Он повернулся к Иисусу и сделал широкий шаг навстречу ему.

— Радуйся, рабби! — И потянулся к устам Иисуса.

Тот взял в руки его кудлатую голову, их губы сомкнулись. Иисус почувствовал благостный запах скошенных трав, когда к ним попадает мята и душица. Воистину, уста праведников благоухают, а уста грешников источают смрад. Странные слова Иуды были понятны Иисусу: он тверд и сделает все до конца. Нежно и горестно смотрел Спаситель в лицо предавшего его. Как истаяла его плоть, а глаза провалились в череп — вот чем он оплатил эту ночь.

Отсюда, а не с дома Понтия Пилата, начинается крестный путь Христа, ибо здесь испытал он первую жестокую потерю.

Дальше будет много всякого — и пустого, и трогательного, и глупо жестокого, и безобразного, и страдальческого: искаженное лицо Матери, так и не понявшей, что произошло от Благовещения до креста на холме Голгофы; прелестное и в дыме слез, ненужное лицо Марии Магдалины, и последняя доброта человека: воин протянул ему на кончике пики губку, смоченную в питье римского легионера на марше: смесь вина, уксуса и воды, так освежающего спаленную жаждой гортань; отчаянный взыв к Отцу: «Почто меня покинул?» — и душераздирающий, вполне человеческий вопль, когда разъехался позвоночный столб. Затем тьма, дальше началось Богово...

С Иудой все было куда проще. Вечером того же дня он выбрал в окрестностях Иерусалима молодую крепкую оливу. Крепка была и веревка, захваченная из дома. Он взобрался по стволу до толстого, надежного сука, привязал к нему веревку, накинул петлю на шею, затянул до отказа и, прошептав возлюбленное имя, кинулся вниз.

Христос не ошибся в нем. Возмездие должно было следовать прямо за преступлением, иначе не сбылось бы начертанное: Христос будет предан, но горе тому, кто его предаст. В этом коренится многое: и духовные, и даже правовые начала. Первый кнут доносчику — отсюда. В предательство должна быть заложена расплата. Предать Христа мог любой из апостолов, но лишь один Иуда мог после этого повеситься. Пример Петра лучшее тому доказательство: троекратное отречение он оплатил слезами, а не петлей.



## О ГАЛИЧЕ — ЧТО ПОМНИТСЯ

Когда уходит знаменитый человек, он мгновенно обрастает друзьями, как пень опятами в грибной год. Сколько друзей появилось у довольно одинокого в жизни Твардовского и особенно — у Высоцкого! Нечто подобное происходит ныне с Галичем. Хотя свидетельствую: те, кого он называл друзьями, почти все ушли. Саша дружил большей частью с людьми старше себя, и нет ничего удивительного, что они покинули этот свет, ведь и Саше сейчас было бы за семьдесят.

Наши отношения с Сашей (я называю его так, как называл при жизни, величание по имени-отчеству было бы с моей стороны жеманством, ломаньем) прошли через несколько этапов: мгновенное влюбленное сдруживание с затянувшейся эйфорией от мощи первого толчка, долгая дружба, знавшая приливы и отливы, но прочная, верная, преданная — люди спаяны, но не настолько, чтобы поврозь не дышалось, не пелось, не пилось; встречи происходили зачастую непреднамеренно (мы вращались в одном кругу, бывали в одних местах, так что вполне случайными их не назовешь), порой под болезнь, но в основном — под внезапное душевное движение одного, мгновенно находившее отклик в другом, затем пришло чуть

настороженное отчуждение, за которым все же скрывался жар, наконец резкое охлаждение, не убившее окончательно того доброго, что было заложено в молодости, но разведшее нас по разным концам света, сперва фигурально, а там и буквально — я не получал от Саши привета из того далека, куда занесла его судьба.

Попробую рассказать обо всех поворотах наших отношений, может быть, это что-то прибавит к образу Александра Галича, бронзовеющего на глазах под тихоструйной течью елдя и папки. А Саша был настолько значителен и хорош, что нисколько не нуждается в приукрашивании. Он не труп, не надо подмазывать ему губы и румянить щеки, он присутствует в нашей жизни, более близкий и нужный, чем притворяющиеся живыми мертвяки.

Поведу я свой рассказ о Саше от жены его Ангелины, по-вгиковски — Ани, затем — с легкой Сашиной руки для всех сколь-нибудь близких — Ньюшки. Простонародное прозвище было выбрано Сашей по контрасту — редко кому это теплое деревенское уменьшительное имя так мало подходило, как худой, утонченной, с длинными хрупкими пальцами Ангелине. Очень часто во внешности красивой женщины доминируют глаза, реже — волосы, шея, рот, у Ани (я так и не смог перейти на Ньюшку) руки были средоточием прелести. Бывало, на скучных, томительных вгиковских лекциях я, чтобы не отчаяться, неотрывно смотрел на длинные, нервные, нежные пальцы с миндалевидными темно-вишневыми ногтями. Сразу оговорюсь, нас связывала та прекрасная дружба, которая возможна между мужчиной и женщиной, когда и с той и с другой стороны нет и тени влюбленности.

Аня была очень худа, сперва здоровой девичьей худобой, затем худобой чрезмерной, какой-то декадентской. Один режиссер замечательно сказал, что она похожа на рентгеновский снимок борзой. Большой бесплотности и представить себе нельзя. В послевоенном ВГИКе, куда Аня вернулась за дипломом, ее называли Фанера Миросская. Для автора этих воспоминаний идеалом женщины была даже не Венера Миросская, а Русская Венера, запечатленная щедрой кистью Кустодиева. Чистота нашей дружбы охранялась этим вкусом. И как чудесно дружить с юным, красивым, соблазнительным для других существом, когда ты сам застрахован от соблазна тверже, чем целомудренный Иосиф Прекрасный от чар жены Потифара!

Аня в юности была открыта, доверчива, необыкновенно добра, предана в дружбе, влюбчива и долго оставалась такой. Отличал ее и немалый снобизм. Имена, репутации, известность человека значили для нее очень много. Ее женская суть охотно откликалась не просто привлекательному мужчине, а мужчине ну хотя бы заметному. Что не мешало ей быть долго и безответно влюбленной в моего дружка Осю Роскина, бедного московского школяра. Первый серьезный Анин роман был с человеком, который впоследствии сделал себе громкое литературное имя, а в ту пору ходил в подающих надежды режиссерах.

Летучие влюбленности в знаменитостей мирового и вгиковского масштаба завершились весьма прозаическим браком с ординарцем ее отца — бригадного комиссара. Ординарец был нижним чином, но имел за плечами не то мединститут, не то фельдшерскую школу. Красивый тихий парень с пепельными волосами и пушистыми

ресницами. Будущий муж никак не походил на героев Аниных действительных и воображаемых романов — скромнейший человек, которому ни при каких обстоятельствах не светило стать знаменитостью. Но ему светило стать отцом ее ребенка, и бригадный комиссар строжайших нравственных правил не спрашивал ни его, ни дочернего согласия на брак: полковой батюшка насильно обвенчал грешную пару в гарнизонной церкви. (Не знаю с чего, вдруг потянуло посашесоколовски смещать разные исторические пласты.) Они расписались, и Аня приняла смешную, совсем ей не идущую простонародную польскую фамилию мужа. Она была радостным, отходчивым человеком и легко приняла неожиданный поворот в своей судьбе. Тем более что муж по обстоятельствам военной службы довольно редко появлялся в доме. Возможно, эти обстоятельства создавал сам бригадный комиссар, жалея проштрафившуюся дочь в глубине своего чугунного сердца.

Трудно было представить более неподходящего Ане отца, или, это будет вернее, менее подходящей дочери, нежели Аня, для жестковязного комиссара с кругозором, ограниченным «Кратким курсом ВКП(б)». При этом у него был облик полководца эпохи наполеоновских войн. Статью и ростом он напоминал графа Игнатьева, а лицом был красивей, и значительней, и, как ни странно, аристократичней, хотя не существовало дворянского рода Прохоровых. Если и пробивались Прохоровы в первые люди, то по купечеству или предпринимательству. Но вот такая игра природы: Анину утонченность, изысканность профиля с коротким надменным носом легко было вычитать в могутных чертах отца.

От матери, милой, домашней и вовсе не красивой, у Ани не было ничего, кроме доброты и гостеприимства, что не мало.

В положенное время Аня родила девочку. Роды пошли ей на пользу, она чуть пополнила, у нее расцвел рот и лицо обрело горячие южные краски, может, кожа стала восприимчивее к солнцу. Она кормила, у нее появился бюст, в этот период жизни никому не пришло бы в голову пошутить: Фанера Милосская. Она, видимо, чувствовала происшедшую в ней перемену и помогала ей: стала широко, во весь цветущий белозубый рот смеяться и напускать света в серые, с голубоватыми белками глаза.

Мы были соседями и вместе ездили в институт, встречаясь у остановки трамвая на углу Кропоткинской. Доезжали до Арбатской площади, где пересаживались в троллейбус № 2, и через всю Москву плыли к Сельхозвыставке. Помню, мы ехали и разговаривали о популярном и на редкость идиотском романчике «Мими Блюэт», неизвестно почему заходившему в институте по рукам. Это была история потаскушки, написанная как бы от лица ее поклонника-друга, тривиальная, оставшаяся в моей памяти литературным курьезом, ибо автор странным образом не определил своего отношения к неопрятным похождениям героини. Об этом можно было писать осуждающе, иронически, сочувственно, насмешливо, даже восторженно, а он писал как-то рассеянно, будто не понимая, о чем идет речь, и завершал очередную скабрёзную историю меланхолическим возгласом: «О, Мими Блюэт, нежный цветок моего сада!» «Какой сад? — недоумевала Аня.— Он так называет публичный дом?» — «Он имеет в виду де Сада», — глубоко-

мысленно изрекал я. Мы болтали, несли околе-  
сицу, и Аней все сильнее овладевала смешли-  
вость. Вскоре ее смех стал неадекватен поводу —  
с переплеском. Так разряжаются порой непроли-  
тые слезы. Отвалился — пусть на миг — камень,  
и возрадовалось бедное человеческое сердце.  
Пассажиры оборачивались, это не сулило добра.  
Хотя всеобщее озлобление не достигало в ту пору  
нынешнего накала, молодой смех в публичном  
месте воспринимался «винтиками» как личное  
оскорбление. Я ждал, что ее обхамят, но люди  
смотрели на заливающуюся Аню снисходитель-  
но, даже добро, иные сами начинали улыбаться.  
Чему-то они отозвались — безоружности смеха  
или дарящей открытости горячего доверчивого  
лица?..

Когда мы расставались на обычном углу, я  
сказал:

— Ты была удивительно красивая в троллей-  
бусе. Тебе надо чаще смеяться.

Она посмотрела на меня. Лицо ее будто опла-  
вилось и померкло.

— Какая разница?.. Игра сыграна и тро-  
играна.

— Ты бредишь?

— Нет. Проиграна бездарнейшим образом.  
Ладно. Пока.

Она повернулась и пошла, ссутулившись,  
словно немолодая усталая женщина, покорив-  
шаяся судьбе. И вот тогда вошли в меня невы-  
носимая жалость к чужой жизни и жар лер-  
монтовской молитвы...

В самом начале войны Анин муж пропал без  
вести. Отец ушел на фронт. Аня с матерью и  
дочерью эвакуировалась в Чистополь.

Встретились мы через полтора года, а каза-

лось — через век. Аня вернулась в Москву одна, семья оставалась на Каме. Она почти не изменилась, только немного побледнела и чуть опустились уголки губ. Наша встреча получилась печальной, Аня все время плакала. Она не знала ни о гибели Оськи, ни о гибели других наших друзей. Это ее так ударило, что она стала лить слезы при любом сообщении, даже не таящем смертельного исхода. Меня она оплакала со всех сторон. Я был на фронте — в слезы... Демобилизовался после контузии — в слезы... Работаю военкором «Труда» — в слезы... Развелся с женой — поток слез... Женился опять — тютчевский разлив.

— Ты стала слезлива, как Железный Дровосек, — сказал я.

То был персонаж из нашей любимой сказки «Волшебник Изумрудного города». В его железной груди билось бесхитрое железное сердце, отзывающееся на любую боль, в отличие от искушенного человеческого, умеющего себя защитить. Поэтому он все время плакал и от слез ржавел.

Аня вспомнила, засмеялась и подсушилась.

У нее был медицинский спирт и копченая утка — посылка отца с фронта (охотился он там, что ли?). Мы сели ужинать. Я разбавил себе спирта.

— Как можно пить эту гадость? — Ее передернуло отвращением.

Я счел вопрос риторическим и промолчал. Жестоким ответ даст Ане через много лет сама жизнь.

Мы часто перезванивались с Аней, но виделись реже, чем нам хотелось бы. Я уже не был ее соседом, мотался по фронтам и тылам, а в сво-

бодное время обживался в новой семье, в непривычном для меня густом быте, притирался к людям незнакомой мне среды, пытаюсь как-то примирить эту новизну с тем, что мне было дорого в старом укладе. Словом, жил сложно...

В эту пору я познакомился с Сашей — где-то на улице, наспех. Нас познакомил мой вгиковский товарищ, выпускник режиссерского факультета. Оканчивающие во время войны киноинститут получали работу и бронь, кроме лиц еврейской национальности. Справедливо посчитали: пусть молодые киноевреи повоюют за Россию, пока русские выпускники будут строить советский кинематограф в одной отдельно взятой стране. И этот одаренный режиссер, впоследствии поставивший много фильмов, среди которых были настоящие удачи, оказался в какой-то захудалой прожекторной части, где служил прославившийся вскоре Алексей Фатьянов. Алеша был справным золотоволосым солдатом гвардейской стати и лихости, а наш друг, потрясенный несправедливостью, совсем опустился. Словно воин поры начальной неподготовленности, он носил обмотки, башмаки б/у, шинельку б/у, матерчатый зеленый ремень и засаленную пилотку, которую надевал из цинизма не вдоль, а поперек. Он охранял Москву почему-то с востока, в Салтыковке, а на западе стал насмерть, в частях полевой почты, другой вгиковский воин, ныне известный писатель. Я уделяю всему этому так много места не только потому, что режиссер-прожекторист познакомил меня с Галичем, но он познакомил с Галичем и Аню, у которой частенько находился постоем, получая увольнительную из своей призрачной части. Познакомил, как поется в песне, «на свое несчастье, на свою беду».

Еще во вгиковскую пору Аня относилась к нему с повышенным вниманием, поскольку он по праву считался одним из самых элегантных молодых людей Москвы. Его пиджаки, пальто и шуба на бобрах сводили с ума московских пижонов. У него был богатый дед, не чаявший души в сироте внуке.

Когда он представил меня Саше, я вспомнил, что видел того на сцене театра-студии Арбузова в спектакле «Город на заре». Эта пьеса, написанная коллективом юных студийцев (в том числе Сашей) под руководством Арбузова, спустя многие годы таинственным образом оказалась единоличным произведением метра. Саша хорошо играл плохого (троцкистствующего) секретаря комсомольской организации великой стройки. По нынешним временам пьеса была фальшивой, но для нашего поколения она звучала волнующей дерзкой правдой. А сама студия была тем, чем для другого поколения оказался молодой театр «Современник». В спектакле звучали человеческие ноты, в непременно, как бы основополагающую ложь было упаковано немало истинной жизни и поэзии. Со сцены веяло юностью. Саше досталась, наверное, самая неблагоприятная роль, но он с честью вышел из положения.

В короткие минуты первой встречи разговор зашел об этом спектакле. Я расспрашивал его о Гердте, ушедшем на фронт, он меня — о Севе Багрицком, бывшем студийце и молодом поэте, погибшем на Волхове почти на моих глазах. Мы обменялись телефонами.

Саша произвел на меня сильнейшее впечатление. Высокий рост, благородная худоба, длинное узкое лицо, чудесные карие глаза, казавшиеся

темнее от тени, отбрасываемой полями шляпы. Когда Саша, прощаясь, приподнял шляпу, плеснуло смуглым золотом. Прекрасна была и его скромная элегантность: серое пальто-реглан, почти черная, с седым начесом фетровая шляпа, безукоризненная складка брюк. Вот кто умел носить вещи! В дальнейшем я несколько раз ловился на этом. Встречаю Сашу на улице в новом неземном костюме.

— Где шил? На луне?

Он смеется.

— Нет, правда, в Риге, у Бирнбаума?

— В литфондовском ателье. У Шафрана.

Шафран — закройщик из Белостока, откуда пришли все лучшие портные и джаз Эдди Рознера (они достались нам в результате рукопожатия Молотова с Риббентропом), шьет мне отличный костюм, но вполне земной, не с луны. Мне кажется, что он для Саши больше старается, ведь Саша далеко не Аполлон: сутулится и плечи могли быть пошире. Самолюбивый Шафран лезет из кожи вон, шьет мне новый костюм — опять с земли. Шьет Саше — с луны. Дело не в Шафране, а в том, что каждая вещь на Саше живет, а не «сидит», она становится словно второй кожей, участвуя в каждом движении, жесте, шаге, повороте. Он словно населял вещь своим изяществом и шармом.

Н. Коварский называл Сашу «еврейский Дориан Грей».

Я не умел завязывать знакомства, вечно боялся оказаться в тягость, и наша встреча наверняка бы закончилась ничем, не позвони мне Саша на следующий день с предложением «пошататься по городу». Я выдвинул контрпредложение: небольшая выпивка в домашних условиях. Жил

я в ту пору на улице Горького, а Саша неподалеку — на Малой Бронной. Надо сказать, Саша никогда не ломался и был предельно точен. Он появился раньше, чем мы с женой успели накрыть на стол.

— Прямо так сразу? — спросил Саша, застенчиво покосившись на графинчик с водкой.

— А чего терять золотое время?

Мы приступили. Его манера пить мне не понравилась. Он был из незакусывающих. Это значит, он не гасил заедком ожога глотка, а представлял организму справляться самому и уж затем что-то вяло жевал. Он был гурманом, а не едоком. Знал толк в еде, умел о ней поговорить, а сам ел мало и неохотно. Он должен быстро пьянеть, подумал я. Так оно и оказалось.

Саша спросил мою жену, чем она занимается.

— Учусь петь.

— Не пой, красавица, при мне, — наклонив голову баранчиком, сказал Саша.

Шутка была сомнительная — он окосел на третьей рюмке. Вскоре он уже спал на диване, заботливо прикрытый пледом.

Через много лет, перенеся два тяжелейших инфаркта и многие болезни, Саша держал выпивку куда лучше, чем в молодости. Вскоре в нашем доме, в том дружеском кругу, куда ступил Саша, привыкли к его манере гулять. После первых трех рюмок он веселел, становился разговорчив, начинал рассказывать истории, которые мы уже знали наизусть, но могли слушать без конца, после четвертой его тянуло к роялю; он пел всегда одни и те же песни: «Вдали белеет чей-то парус», «Помню, в санях под медвежьей шкурою», «Как в одном небольшом-небольшом городишке», после пятой замолкал, только улы-

бался, наклоняя голову баранчиком и тараща свои прекрасные глаза, затем вдруг исчезал. Кидались его искать, он спал в свободной комнате глубоким, тихим сном. Мы его не трогали. Он просыпался, когда гости уже расходились, застенчиво улыбающийся и совершенно трезвый. «Посошков» он не признавал.

Мне всегда не хватало Саши, даже в тех редких случаях, когда он держался дольше обычного. С его отходом ко сну застолье теряло остроту и очарование. Все становилось плоским, грубым, тусклым, одухотворенный мир сползал в пьянку. И, чувствуя это, кто-то из компании начинал подражать Саше, повторяя его номера: о неудачнике циркаче, который, начав падать с подкупольной высоты, под конец свалился в люк, о продавце патентованного средства «потоляз». Иные делали это очень искусно, почти один к одному, и все равно не получалось, пропадала какая-то изюминка.

В нашем первом скромном пировании, когда Саша проснулся, причем довольно скоро, мы начали с ним ту упоительную игру, которая останется с нами на годы. Называется эта игра: «А помнишь?» Нам почему-то попался под руку Лермонтов.

— А помнишь: «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою»?..

— А это помнишь: «Есть слово, значенье темно иль ничтожно»?..

— А это: «По небу полуночи ангел летел»?..

— А это: «Наедине с тобою, брат»?..

— А это: «В полдневный зной, в долине Дагестана»?..

Хотя Саша и был актером, стихи он читал не по-актерски, а по-домашнему, пусть и в роман-

тическом ключе, без заземленья. И он как-то приближался в эти минуты, потому что Саша почти всегда находился в некотором отдалении. Не то чтобы он держал расстояние — ничуть, но в нем шла постоянная, сильная обременительная работа души, которая не позволяла ему раствориться в окружающем, распахнуться другому человеку. Но стихи он любил... свирепо (любимое горьковское словечко, за которое Алексей Максимович хватался, не в силах найти точного обозначения своей увлеченности) и тут выплывал из темных глубин, становился доверчивым, незащищенным и близким. Наслушавшись Сашиного чтения, моя жена сказала однажды, что не может смотреть на Сашу без слез. Она не была такой уж любительницей поэзии, но верно угадала за маской самоуверенного денди незащищенную, ранимую душу.

Мне кажется, Саша страдал от несоответствия своей истинной сути официальному, что ли, статусу. Он знал, чего стоит, а положение актриски заштатной прифронтовой студии (бывшие арбузовцы обслуживали воинские части) ощущалось им болезненно. Так и в дальнейшем, когда его, творца необыкновенных пьес (недаром же так рано заговорили о «театре Галича»), третировали, как мальчишку, газетные недоумки, когда его упорно не принимали в Союз писателей, хотя у него уже были поставленные пьесы и фильмы, когда его, автора «Матросской Тишины» и «Я умею делать чудеса», знали лишь как соавтора блестящей, но легковесной комедии «Вас вызывает Таймыр». Его драматургию упорно не пускали на сцену, лучшая пьеса «Матросская Тишина» дошла лишь до генеральной репетиции, другая — до премьерного спектакля,

после чего была снята. Зеленую улицу дали лишь конформистской поделке «Пароход зовут «Орленок» — плоду душевной усталости.

Не обольщался он грандиозным успехом че-пуховой и по словам, и по залихватскому мотиву песни «До свиданья, мама, не горюй». Недаром в одноактной пьесе С. Михалкова появлялся полупьяный слесарь по кличке «Маманегорюй». Лишь когда по всей стране зазвучали в записях и на голосах его горестно-насмешливые песни, исполненные раскаленного гражданского чувства, произошло совмещение истинного образа Саши с его проекцией на действительность. За этими песнями был автор «Матросской Тишины», а не развеселых комедий или уютных пьес о «хорошем советском несчастье» вроде «Орленка».

А как давно тянуло Сашу к песне! Еще тогда, в дни войны, рояль и пианино производили на него магнетическое действие. Но что за песни он сочинял в те сумеречные годы! О «золотых листьях», легших на офицерские плечи, — ввели погоны, о страданиях театрального рабочего Григория, полюбившего «инженю-драматик». Помню, он должен был срочно воспеть коня и, по собственному признанию, тачал о нем так неистово, что «ноги стали кривыми, как у кавалериста». Саша жил по тем же законам, что и мы все. Напиши он тогда самую легкую и безобидную из своих гражданских песен, с ним было бы покончено.

Собственно говоря, с ним и так было покончено в свой час, ибо для Саши изгнание означало смерть, хотя песни его прозвучали совсем в ином историческом климате, после оттепели, после XX съезда, вернувшего партию к ленинским нормам. О, эти никак не дающиеся нашему партий-

ному руководству ленинские нормы! Можно подумать, что нравственный кодекс Ленина был сродни рахметовскому: спать на гвоздях и прочие самогубительные подвиги. А ведь речь идет всего-навсего о том, чтобы соблюдать элементарную порядочность. Сашу травили, преследовали, судили на секретариате СП и вышвырнули, как Пастернака, из наших «честных рядов». Его друг и учитель Арбузов огласил постыдное судилище криком: «Ты присвоил себе чужую биографию!» Вон как! Это потому, что Саша пел от лица узников, ссыльных, доходяг, работяг. С таким же успехом подобное обвинение можно бросить Высоцкому, певшему от лица разных бедолаг, и заодно инкриминировать ему самозванство: он пел о войне как солдат, а ведь он был малым ребенком в те годы. Благородному Арбузову, похоже, в голову не пришло, что, живя территориально на улице Черняховского в писательском доме, душой можно быть с теми, кто на лесоповале, что можно носить костюмы от Шафрана, а чувствовать на плечах засаленный ватник. Выходит, Н. А. Некрасов тоже украл биографию у русского мужика-страстотерпца. Ему бы об Английском клубе петь, где он так удачно понтировал, а он о пахарях, бурлаках, странниках надрылся.

Любопытно, что достоверность Сашиных песен ввела в заблуждение зарубежных издателей, и они действительно приписали Галичу чужую биографию: «Провел в тюрьмах и сталинских лагерях до 20 лет. После смерти Сталина был реабилитирован». Но Саша не отвечает за чужие промахи.

Впрочем, все это еще впереди. А сейчас я возвращаюсь из очередной поездки, набираю

знакомый номер, и через полчаса мы до одури надсаживаемся:

— А помнишь: «Образ твой мучительный и зыбкий»?..

— А это: «Над желтизной правительственных зданий»?..

— А это: «Я вернулся в свой город, знакомый до слез»?..

— А это: «Я пью за военные астры»?..

— А это: «Мой щегол, я голову закину»?..

Долгое время нашими героями были Лермонтов, Тютчев, Мандельштам, потом к ним прибавились Цветаева и Пастернак.

Вскоре Саша дал мне прочесть одну из своих ранних пьес — «Улица мальчиков». Я был праведным реалистом и совершенно не понимал даже малой условности в искусстве, но запретный плод сладок, и я сразу влюбился в Сашину пьесу. Я никак не мог взять в толк, что за радость жить на улице, населенной одними мальчиками. С девочками вроде бы интересней. Эзоповский язык пьесы от меня ускользал. А ведь символика ее была так проста: жить на улице мальчиков — это значило бежать из дурного мира взрослых с их ложью, соглашательством, лицемерием и ханжеством. Все это прекрасно поняли люди, управляющие театром, и отвергли пьесу. Исполненный дружеского рвения, я предложил Саше сделать из пьесы повесть. «Проза для меня — дверь за семью печатями», — сказал он. «Я буду писать вдоль твоего текста, от тебя потребуются лишь руководящие указания». Он улыбнулся, пожал плечами. «Если тебе не жалко времени...» Мне ничего не было жалко для этого сказочного человека. Ощущение, что Саша не из настоящей жизни, а из какого-то странного, нездешнего,

печально зачарованного карнавала Ватто, пробуждало во мне страх утраты: казалось, он может исчезнуть, испариться в иное пространство и время, где ему будет уютнее. Годы не сближают людей, это неправда, и если была дружеская близость, то она постепенно тощит в усталости и разочаровании, но что-то от моей первой молодой очарованности Сашей сохранилось во мне навсегда.

Саше сопутствовала некоторая таинственность. Он не любил говорить о делах и обстоятельствах своей жизни. Об ином человеке за рюмкой водки в первый же день такого узнаешь, что потом на весь век хватит. О Саше мы поначалу вообще ничего не знали. Какое-то время за его плечами маячила призрачная фронтовая студия, но с окончанием войны и она отлетела. Где он учился и учился ли вообще?.. Служил ли, или был свободным художником?.. За ним не угадывалось детства, школы, он был человеком с Луны, сейчас бы сказали — инопланетянин. Затем как-то исподволь и чаще не от него самого стали поступать смутные сведения: он вроде был женат, когда мы познакомились, но сейчас то ли развелся, то ли разъехался с женой, как будто и ребенок есть. Отец у него хозяйственный работник: не то заместитель министра, не то завскладом, не то коммерческий директор завода; мать в консерватории вроде не поет и не играет, а ведет концерты, по другим сведениям — администратор. Зато точно известно, что есть младший брат — студент операторского факультета ВГИКа.

Однажды мне срочно понадобился Саша в связи с повестью, которую я продолжал упорно и обреченно писать, уже поняв, что реали-

стическая отмычка не работает в мире тонких условностей. Саша сослался на плохое самочувствие и предложил навестить его. Дал адрес. Я был взволнован. Оказывается, в глубине сознания таилось представление, что Саша обитает на ветке.

Саша открыл мне, убедительно покашливая. В глубине квартиры плакал ребенок, никто его не утешал. Проходя мимо столовой (кажется, то была столовая), я увидел за непритворенной дверью детскую кроватку с сеткой и в ней младенца.

— Моя дочка,— ответил Саша на невысказанный вопрос странно рассеянным, отсутствующим голосом, как бы приглашающим не развивать эту тему.

Да я и не собирался. Я понятия не имею, чем надо восхищаться в личинке человека, не знаю никаких агу, тпруа, мням-мням и прочей людоедчины, младенцы не для меня. Теперь я понимаю, что сподобился мимолетно лицезреть нынешнюю Алену Архангельскую, энергичную хранительницу и устроительницу отцовской памяти и литературного наследства.

Однажды во время войны мы отправились большой компанией на «Тишинку». В ту пору этот давно ушедший в тень рынок играл выдающуюся роль в торговой и общественной жизни Москвы. Здесь сосредоточивалась вся частная купля-продажа столицы. Барахолка подавила жалкий продуктовый базарчик и торговала всем, чем можно и нельзя: от старой обуви, заношенного шмотья, солдатских шинелей до барских шуб, золотых колец и антиквариата, от балалайки без струн и гармошки с порванными мехами до краснощековой семиструнной гитары и

скрипки Страдивариуса, от старых трубастых граммофонов до арф, пистолетов «ТТ», орденов и поддельных документов, от фронтовых ушанок и ватников до архиерейских риз, брюссельских кружев и американских летных комбинезонов на меху; здесь можно было купить егерское белье, комплекты «Нивы» и «Синего журнала», балетные туфли, протез, бормашину, сто томов «Рокамболя», горжетку из крашенных крысиных шкурок, гипсовый бюст Сократа, набор дореволюционных порнографических карточек, романовский полушубок, салоп, елочные игрушки, левую сторону мужского костюма от «Журкевича», фарфоровый сервиз, качалку, пилу, колун, короче говоря — все. И все продать. И получить вместо денег «куколку» — ком старых газет, а бывало, и нож под ребро. Здесь играли в бессмертные рыночные игры: «три листика», «три камушка», «веревочку», буру и рулетку: кручу-верчу — деньги плачу. Безногие инвалиды на колясках торговали рассыпным «Казбеком» и «Беломором», на них не было штанов, они мочились, задрав рубашки, чуть в сторону от своего разложенного на газете товара. Тут бродили громкоголосые пятновыводчики — древние, засаленные, неправдоподобно нахальные и бодрые старики.

В тот раз я наблюдал смешную сцену. Рекламирая свой очищающий товар, старик в картузе с высоченной тульей — он сбежал с картины Шагала — призывал окружающих дать ему самое страшное пятно: чернильное, жирное, сальное — и он его тут же выведет. К нему суетливо протолкался другой шагаловский старик с брюками-дипломат в руке. Пятновыводчик взял брюки и придирчиво осмотрел.

— Это не жир, не сало, не бог пятен, сатана

пятен — чернила. — Он сделал эффектную паузу. — Это сперма!

— Не грехи, — сказал владелец брюк. — Мне за восемьдесят.

— Значит, это не ваша сперма и вы перекупщик! — заклеил его пятновыводчик.

Толпа грохнула, а оскорбленный заказчик, ругаясь и брызгая слюной, ринулся прочь.

Я тоже пошел дальше, мимо калек-папиросников, мимо сволочных казино, где цыганистые парнюги обирали заезжих лопухов, мимо несчастных испитых женщин, торговавших своим последним замученным достоинством, к тихому углу рынка, где нашла пристанище «модная лавка». На подходе к ней мордастые молодайки крикливо рекламировали новейший товар: грубо-добротные робы, плащи и комбинезоны из американских посылок частной помощи. Предназначались они рабочим, но, как полагается, оказались в руках спекулянтов.

А потом — тишина: чистенькие старушки с букольками и осенней пожухлости дамы торговали кружевами, бисерными кошельками, перламутровыми театральными биноклями, страусовыми перьями, лайковыми перчатками. И эффектно над «бутоньерками осенних роз» высилась стройная фигура мужчины в элегантном пальто с поднятым воротником и красиво заломленной фетровой шляпе. Он стоял между траурной старухой, пытавшейся откупить хоть сколько-то стылой жизни за вытертую до мездры лисью горжетку, и сухощавой дамой со следами былой красоты и несколькими самодельными острогрудыми лифчиками на шее, изящно отставив ногу и округлив левую руку, через которую была переброшена дамская фисташковая комбинация.

— Ха, ха,— сказал Саша, увидев меня.

Этим он как бы уплатил дань очевидной растерянности человека, не ожидавшего увидеть на Тишинском рынке Дориана Грея.

В этом сказалось его самообладание и умение без потерь принимать уродливые неизбежности жизни. С тем же мужеством играл он в безнадежно выдохшемся театре, тачал про коня до кривизны ног, лепил для «Ленфильма» «проходные» сценарии, сочинял для эстрады и цирка. Он не выбирал себе подобных занятий, но если нельзя выжить иначе, он делал что требовалось, не растрчивая ни грана своей личности. В число смертных грехов эти поступки не входили, значит, нечего терзаться, дело житейское, не подлежащее каре Божьей. И разве плохо стоять тихим, дремлющим мартовским деньком среди пожилых интеллигентных женщин, кружев, страусовых перьев, вееров, шелков далеких лет, в этом блоковском наборе, и думать о новой пьесе, веря, что ты умеешь делать чудеса?

Мне ли перед ним задаваться! Угрызаясь и самоедничая, я халтурил в десять раз больше и грубее Саши, а если бездельничал на торжище, так лишь потому, что в зимнем ряду моя жена изнывала под тяжестью двух шуб из номенклатурного распределителя.

Я рассказал Саше о «перекупщике».

— Это гениально,— сказал он,— готовый номер.

А что такое «готовый номер», мы узнали тем же вечером, когда собрались в нашем доме обмыть не покупки, а продажу. Первое место среди «торговых гостей» занимала моя теща, распродавшая через подставных лиц почти весь свой гардероб, подлежавший решительному обновле-

нию. Дальше с большим отставанием шли моя жена, молодой искусствовед, реализовавший полученное по ордеру демисезонное пальто, и старый философ, загнавший чернобурку жены и фотоаппарат «Зоркий». Саша сокрушался, что ему, жалкому лоточнику, не по чину гулять с первогильдейными. А потом изобразил сценку на Тишинском с «перекупщиком», украсив ее таким количеством сочных подробностей, что моя скудная информация стала искусством.

Меж тем попытка превратить «Улицу мальчиков» в шедевр социалистического реализма потерпела полное фиаско. Пока я пробирался проселками действительной жизни, дело как-то шло, но вот подступило то, ради чего писалась эта пьеса, и я безнадежно завяз. Я физически чувствовал, как окостеневали персонажи, до этого находившиеся в движении, в определенных отношениях друг с другом. Они онемели, лишились дара перемещения в пространстве, ослепли, оглохли, а там наступил и полный паралич. В хрупком мире условностей здравомыслию нечего делать. И я сдался.

Саша никогда не спрашивал, почему вдруг тема мальчиков, захотевших жить своим особым мирком, исчезла из нашего общения. Думается, он все знал заранее и был рад, что попытке с негодными средствами настал конец.

Как раз в это время человек в обмотках познакомил Сашу с Аней. Размундиренный боец-прожекторист где-то случайно столкнулся с Аней, и она вспомнила, каким ослепительным кавалером был он в незабвенные вгиковские дни. Но дело, конечно, не в снобистской памяти, а в доброте, которая была основным качеством Аниной души, она смертельно зажалела бывшего

лорда Бреммеля. Теперь у него всегда был постой и ночлег в Москве. Получив увольнительную, человек в обмотках ехал из Салтыковки прямо к Ане на Кропоткинскую, сбрасывал военную ветошь, надевал чистую, наглаженную Аней сорочку, прекрасный костюм, начищенные до блеска ботинки (обувь у него была грязной даже в золотые дни), с неподражаемым искусством повязывал бабочку, выпивал спирту, закусывал копченой уткой и обретал если не счастье, то покой и волю. Один из своих дивных пиджаков он подарил Ане, которой удивительно шли мужские вещи: куртки, пиджаки, плащи, шляпы (она всегда помнила, что любимая героиня нашей юности, очаровательная и шалавая Брет из «Фиесты», носила мужскую шляпу). Они куда-то шли. Всю войну в Москве работали рестораны «Арагви» и «Националь», был открыт коктейль-холл на улице Горького. В одну из своих вылазок они наткнулись на Сашу. Человек в обмотках горделиво представил его Ане. Сашу затащили домой, угостили разведенным спиртом под дежурное блюдо. Он распустил павлиний хвост. Воину пора было возвращаться в часть. Он переоделся, как всегда, неумело накрутил свои обмотки, напялил пилотку, так что звездочка оказалась над левым ухом, повязался ремнем, как кушаком, и отбыл — сперва в комендатуру на Ново-Басманной за порочащий Красную Армию вид и отсутствие противозаза — крайне необходимого в тот период войны, — а потом в часть.

Саша спохватился, что пора идти домой, когда время перевалило за полночь, а у него не было ночного пропуска. «Не беда, переночую в милиции, авось не привыкать», — сказал он с меланхолической улыбкой. Аня была не таким чело-

веком, чтобы отпустить странника во тьму. Он остался и всю ночь читал ей стихи. Мандельштам доконал уже поддавшуюся душу.

Больше салтыковский воин копченной утки не едал. Для решительного объяснения Аня вышла к нему на улицу в «старомодном ветхом шушуне». Она прихватила с собой старый чемодан со всеми нарядами бывшего постояльца. Произошла тяжелая сцена. Аня без обиняков сказала ему, что любит Сашу. Он с не меньшей прямо-той сказала, что любит ее. Аня, узнавшая наконец, что такое любовь, поняла, как ему сейчас плохо, и расплакалась от жалости. И он тоже расплакался, чего с ним на трезвую голову никогда не бывало. Потом он признался мне, что в этом потоке слез посчитал дело свое выигранным и был потрясен, когда, отплакавшись и высморкавшись, Аня железным голосом сказала, чтобы он не смел приходить. Дав от ворот поворот этому кавалеру, наша влюбчивая, легкомысленная Аня навсегда вошла в тот образ верной, преданной жены, от которого никогда не отдалялась, что бы ни вытворял муж. Впрочем, женой Саши ей еще предстояло стать.

А человек в обмотках снова оказался в коммандатуре в тот роковой день, его взял патруль за подозрительно красное лицо, мокрые глаза и отсутствие противогаса.

Весной сорок пятого года решено было отпраздновать мой день рождения: как-никак четверть века жизни и пять лет окололитературной деятельности. Война стремительно шла к победе, настроение было повышенное, и мы назвали полный дом народа.

До этого я находился в долгой фронтовой командировке и ничего не знал о происшедших

событиях. Меня поторопились проинформировать. Человек в обмотках был патетичен: у него разбито сердце, он никого так не любил, как Аню, и ни одна женщина не сможет заменить ее. Саша сказал просто: «Ты знаешь, мы теперь с Нюшкой». Так впервые прозвучало новое имя Ани, которое не легло мне на язык.

Аня сияла, сверкала, лучилась глазами, улыбкой, даже кожей, источавшей какой-то матовый свет, и не нужно было никаких признаний. Я сказал:

— «Ни о чем не нужно говорить, ничему не следует учить...»

— «И печальна так и хороша темная звериная душа», — подхватила Аня. — У меня сейчас звериная душа. Я забыла все, чем жила, всех, с кем жила, словно и не было никакой жизни. А может, ее и правда не было?

Меня испугало ее счастье, такое откровенное, распахнутое, ничем не защищенное. Боги не любят, когда смертные становятся слишком беспечны, слишком доверяют судьбе.

Потом человек в обмотках увел Аню на кухню — для последнего объяснения. Тертый калач в какой-то необъяснимой слепоте ни за что не хотел признать очевидное. Он был эгоцентриком до мозга костей, ужасно жалел себя и не мог поверить, что Аня не разделяет этой жалости. Он надеялся на ее доброту, слабость перед чужой болью, согласен был и на брезгливую подачку: ей невыносимо станет видеть его перемазанную горем рожу, и она махнет рукой на Сашу. Гордостью, мужским самолюбием тут не пахло. Любовь сделала мягкую, податливую Аню железной. Из кухни он вышел с красными полубезумными глазами и весь долгий праздник пытался испор-

тить людям настроение своим неопрытным страданием. Мне вспомнился платоновский инженер, который был так несчастен в любви, что пришлось его уничтожить, потому что люди не могли больше видеть таких мук. Здесь собрался народ повыносливей. Все же, когда он отбыл то ли в Салтыковку, то ли в комендатуру, по меньшей мере трое почувствовали облегчение: Аня, Саша и я как хозяин дома.

Памятуя о комендантском часе, гости разошлись в начале двенадцатого. Саша и Аня задержались, они словно забыли о времени. Далеко за полночь Саша спросил:

— Можно, мы останемся у вас?

— По-моему, вы уже это сделали.

Место было только в ванной комнате. Жена принесла две гладильные доски, тощий матрасик, белье. Ложе получилось довольно узким и твердым.

— Ложе ригориста,— заметил Саша,— хорошо хоть, без гвоздей.

Утром за завтраком я спросил, как им спалось.

— Лучшая ночь в моей жизни,— улыбнулся Саша.

— И моей! — воскликнула Аня.

Они были так неподдельно счастливы, что я предложил жене спать отныне только на гладильных досках.

— Ничего у вас не выйдет,— сказал Саша.

— Почему?

— Вы ветераны. А у нас это была свадебная ночь.

Мы тепло поздравили молодоженов. Жена принесла шампанского.

Конечно, мне было интересно, зачем любящей

паре понадобились ванна и гладильные доски, если у Ани стоит пустая квартира. Когда женщины пошли варить кофе на кухню, я спросил Сашу. Он сказал, что не может пробыть там больше минуты. Квартира населена любовью и муками человека в обмотках, и это дает нестерпимый эффект присутствия. Я засмеялся, Саша подхватил. Есть такое противное выражение: смехунчик в рот попал. Это случилось с нами, не могу понять почему. Разговор-то шел о грустном, а мы ржали, как жеребцы. Очевидно, снимались какие-то напряжения. Но что-то в этом смехе насторожило меня. Его волны докатились до счастливого, безмерно, беззащитно счастливого лица и затопили его. Лицо пошло ко дну, не было на нем и следа счастья, лишь пустота и отчужденность смерти.

— У тебя это серьезно? — спросил я. — Я Аньку знаю как облупленную, у нее такого сроду не было. Если она сейчас обманется... Все. Конец. Прости, что я об этом говорю.

Он мгновенно стер смех с лица.

— Не бойся. Это серьезно. Думаю, навсегда.

Так оно и случилось. Они поженились. Саша не давал Ане обет целомудрия, да она и не ждала от него никаких жертв. Саша был нужен ей такой, какой есть, а не украшенный чуждыми всей его сути добродетелями: верный муж, председатель общества трезвости, борец с никотином и другими наркотиками, примерный во всех отношениях гражданин. Ей был нужен блестящий, безудержный, неуправляемый, широкий, талантливый, непризнанный, нежный и в любых кренах жизни преданный человек, на которого она могла бы смотреть хоть чуточку снизу вверх. Ане нужен был не просто любимый, а любимый, кото-

рому можно поклоняться. Как бы ни складывалась их жизнь, а в ней было много всякого, как почти в каждой настоящей, не сусличьей жизни,— и семейные распри, и брань, что не виснет на вороту, и дым коромыслом,— но взгляд чуть снизу все равно оставался, ибо в главном, в Боговом, Саша никогда не ронял себя. То не был взгляд сброшенной с седла амазонки (такой может быть и свысока), а взгляд женщины, склонившейся перед уходящим на бой воином. И ведь близилось то время, когда каждый день Сашиной жизни станет боем с противником, неуязвимым, как Ахилл, столь же свирепым, но куда менее обаятельным.

Саша не позволял обстоятельствам брать верх над ним. Я редко встречал такое спокойное, не кичливое, вроде бы не сознающее себя мужество. Когда сталинский антисемитизм стал доминирующим цветом времени, он написал лучшую свою пьесу «Матросская Тишина» и, не в силах поставить ее на сцене, стал читать по домам. Читал он «Матросскую Тишину» и в нашей компании.

Нельзя сказать, что он нашел благодарную аудиторию. Прежде всего, проблема пьесы никого кровно не затрагивала, а недостаток интеллигентности не позволял чувствовать чужую боль изгнанничества внутри собственной страны как свою боль. Похоже, Саша провидел в пьесе свою судьбу, хотя тогда ничего не говорило, что «инженю-драматик» сменится песнями гнева и печали. Впрочем, почему не говорило? «Матросская Тишина» по тем временам была опаснее вольнолюбивой гитары поры оттепели и застоя. Саша понимал это и хладнокровно шел читать в любое сборище, где его готовы были слушать. Аня вос-

хищалась его бесстрашием, сама трусила, но не до омрачения. Она приучалась «жить с молнией».

В тот раз Саша зря потратил время, душу и артистический темперамент — вежливо-одобрительное мычание показало, что пьеса не дошла. И мои натужные критические рассуждения тоже были ни к чему Саше. Антон Рубинштейн говорил: творцу нужна похвала и только похвала. Особенно творцу непризнанному или полупризнанному, каким был Рубинштейн-композитор, каким был Саша с его домашней славой.

Появились, как положено, водка, закуски. Хотели выпить за пьесу, Саша сказал: «Нет, нет, за дела не пьют!» Выпили за него. Кто-то попросил: «Старик, изобрази «пришел на копчик». — «Да, это больше подходит...» — пробормотал Саша и начал знаменитый, в зубах навязший монолог о циркаче-неудачнике...

Пьеса по-настоящему дошла до меня, когда я прочел ее в прекрасной книге Саши «Генеральная репетиция». А ведь он здорово умел писать прозу! Как жаль, что он пренебрег этим своим талантом. Может быть, отложил на старость, чтобы воплотить в воспоминания о бурно прожитой жизни? Но старости у него не было. Проводок сволочного суперновейшего проигрывателя пустил в его большое грузное тело несильный ток парижской сети — и остановилось истерзанное инфарктами, преследованиями и растущими дозами морфия сердце, немного не дотянувшее до того порога, за которым начинается старость. Горькая книга и мастерски построенная. Тут и в самом деле описана генеральная репетиция пьесы «Матросская Тишина» со всеми переживаниями автора, с надеждами, страхами — ведь

спектакль смотрят две сановные дамы, от которых зависит: быть или не быть. Внутри этого описания поактно вложена пьеса — вся целиком. Происходящее на сцене и происходящее в зале взаимопроникают, образуя единый скрут боли. Напряжение достигает кульминации, когда в антракте чиновные дамы встают с непроницаемосуровыми лицами и величественно выплывают из зала. Неужели они ушли, недосмотрев? Но ведь это смертный приговор спектаклю? Нет, дамы с тем же значительным видом возвращаются, они просто ходили в туалет. Но приговор — смертный — лишь отложен. Он будет вынесен в свой час.

Мечта философа Федорова оживить всех ушедших осуществляется сейчас в нашей литературе. Среди оживленных — Галич с его пьесой «Матросская Тишина», ставшей спектаклем. А чиновные театральные дамы помаленьку перемещаются из кабинетов-застенок в кооперативные туалеты, где им и место.

В этой книге замечательный конец. Гаснет свет в опустевшем зале, Галич прижимает к себе грустную поседевшую голову своей уже немолодой жены. Вот то, чего не отнимут, как отнимают спектакли, фильмы, книги, успех, славу, заработки, возможность видеть мир, молиться, петь, общаться с близкими по духу, — единственное прибежище и спасение. Искреннее, чистое, усталое, глубокое чувство вложено в финал этой печальной книги. Саша не ошибся, не переоценил своих душевных возможностей, когда, поднявшись с гладильных досок, сказал мне сильное слово навсегда.

А вот бытовой пример Сашиной силы воли. В исходе войны, в середине апреля, мы гуляли

у другого вгиковского воина, охранявшего западные подступы к Москве, — в Одинцове. Это был первый солнечный и голубой день пасмурной, хоть и не студеной весны, и мы решили осушить предобеденную чарку на давно уже вскрывшейся речке. Пришли, увидели блестящую веселую воду, и кто-то сказал, что не грех бы искупаться, смыть грехи перед большим истовым застольем. Все мужчины хвастливо поддержали предложение, но легко дали отговорить себя разволновавшимся женам. Пока мы ломались и кочевряжились, изображая мужскую снисходительность к слабостям боязливых женщин, Саша неторопливо разделся до трусов. Моя жена спросила Аню:

— Это серьезно? Он что — с ума сошел?

— Если Саша что решил, его не собьешь, — с вымученной улыбкой отозвалась Аня.

— Ах, робята вы, робята! — сказал Саша. — Такого удовольствия себя лишаете.

Он медленно вошел в ледяную воду, чуть постоял и нырнул. Прошел под водой метров пять-шесть и стал отмахивать саженками. Он переплыл на тот берег, посидел на купающихся в воде голых ветвях ивы, снова нырнул.

Он плавал еще минут десять, не отзываясь на наши подло-благоразумные призывы: «Выходи!.. Довольно форситы!.. Что за ребячество!.. Ты простудишься!.. Ладно тебе геройствовать, нашел чем удивить!..» Нам стало стыдно, но никакой стыд не мог загнать нас в ошпаривающую ледяную воду.

— Он что — морж? — спросил кто-то Аню.

— Какой там морж! Он в ванну, если меньше сорока, не ползет.

Да, не ползет. Но здесь был брошен вызов,

и он единственный, кто его принял. Главное даже не в том, что он заставил себя выкупаться, а в том, как он это сделал. Спокойно улыбаясь, не дрогнув ни единой жилочкой, даже без гусиной кожи, что вовсе загадочно, не торопясь, до конца сохраняя такой вид, будто это ему в привычку и в удовольствие.

Выйдя наконец из воды, он не спешил одеться, говоря, что надо сперва обсохнуть. Так же не спеша выпил стопку водки, крикнул: «Эх, хороша!» — и пошел в ивняк, чтобы выжать трусы и одеться.

Должен сказать два слова в защиту вгиковских рекрутов. Не всех их задержал Московский военный округ, остальные попали на фронт. Один благополучно довоевал до конца войны и так полюбился властям, что те решили не расставаться с ним. Ему оченьгодились солдатский ватник и справные кирзовые сапоги в дальнейших долгих странствиях. Другому оторвало руку, за ненужностью его отпустили. Со временем он стал видным деятелем белорусской кинематографии. Воевали и другие, я не знаю их судеб, знаю лишь, что все они вернулись.

Видел я Сашино мужество и иного рода. Мы проводили лето в Алуште. Я приехал туда по Сашиному зову. Почему он выбрал это самое скучное и непозитичное место на всем крымском побережье, не помню. Аня и Саша жили в маленькой и дружной московской колонии, облюбовавшей тихий край городка. Хотя это место находилось в стороне от алуштинского променада, сюда каждый вечер наведывались комсомольские патрули и заставляли игравших в волейбол женщин надевать поверх сарафанов баски. Голые плечи считались неприличными.

— Вы не на пляже,— говорил двадцатилетний белобрысый и красноглазый альбинос, капитан комсомольской полиции нравов.

— Но это же спорт! — бессильно возражали мы.

— Спортом занимаются на стадионе, а здесь открытое место. Потрудитесь соблюдать приличия.

— Вот не знали, что русский сарафан неприличен. Это же национальная одежда. Его наши бабушки носили.

— Не умничайте, если не хотите в милицию.

— За что? — спросил Саша.— За ум или за сарафан?

Парень посмотрел на Сашу, и его белые, в красном обводе глаза налились ядовитой желтью ненависти.

— У вашей жены, гражданин, национальная одежда не сарафан, а котиковая шуба.

— Вы ошибаетесь,— улыбнулся Саша.— Моя жена русская. А у вас есть зачатки мышления. Почему вы не развиваете их? Зачем вы мотаетесь по жаре и мешаете людям жить? Кстати, вы знаете, что женщины под сарафаном голые? Да, да, совсем голые, даже без фигового листа. Снимите с них мысленно сарафан, что вы там видите? Ай-яй-яй, а еще комсомолец!..

С раскаленным злым лицом парень повернулся и пошел прочь.

Любопытно, что это идиотское ханжество и прочие крымские «бетизы», как говаривал Лесков, обязаны своим появлением визиту Сталина в Крым. Ему не понравились кипарисы за их траурность, курортницы — за легкомысленный вид. И пали под топорами и пилами прекрасные старые деревья, а стыдливая комсомольская юность

взяла на себя заботу, чтобы ни один лишний сантиметр загорелого женского тела не оскорблял целомудренного взгляда.

Но я не к тому вспомнил Алушту. В дни, когда мы безмятежно резвились под присмотром комсомольских патрулей, в «Правде» появилась разгромная статья о спектакле Театра сатиры по новой пьесе Галича, написанной в соавторстве. Еще шел с неубывающим успехом «Вас вызывает Таймыр», ожидалось, что и новый спектакль на гребне этого успеха принесет театру битковые сборы и славу. Так поначалу и шло, и вдруг — мощный залп из всех бортовых орудий. Мнение «Правды» было в ту пору непререкаемым, каждое критическое слово звучало как приговор к высшей мере. И что-то загадочное было в этой статье: стрельба из пушек по воробьям, мрачно-безжалостный, предельно грубый тон, будто речь шла не о легкой, непритязательной комедии — о сотрясении государственных основ, и все это — при совершенной бездоказательности разносного текста. Невинные и довольно беззубые шутки персонажей преподносились как угроза общественному вкусу, традиционная комедийная путаница трактовалась как попытка дезориентировать советских людей перед лицом капиталистической опасности. Из статьи становилось ясно: если порочная пьеса останется в репертуаре, то нечего и думать о построении коммунизма.

Словом, то был сталинский маразм на высшем уровне, когда отбрасываются все моральные запреты, приличие, вежливость, дневной разум и чувство реальности. И на что потрачен весь этот невероятный боевой арсенал? На уничтожение милой театральной шутки. Лев Толстой меньше напрягался, ниспровергая Шекспира. Но там ги-

гант борол гиганта, здесь же на кусочек пастилы накинута раздувшаяся в железную свинью мышь.

Мы были подавлены, тем паче что в нарочитой грубости статьи, ее житейской неоправданности проглядывала та мрачная и таинственная воля, которая никак не хотела дать передохнуть несчастному, истомленному войной народу, измышляя для него все новые муки. Статья, несомненно, была инспирирована сверху. Так оно и оказалось. Пришла очередь творческой интеллигенции (с упором на еврейскую ее часть) двинуться на Голгофу. Впрочем, излишней щепетильности не проявляли, на позорище мог быть выставлен и русский (хотя бы Малюгин). Сейчас был брошен пробный камень. Один из наших друзей, деливший с нами алуштинские утехы и дни, Н. Мельников, искренне сочувствовавший Саше, не знал, что окажется Иоанном-предтечей космополитизма. С разгрома его талантливой повести «Редакция» начнется та долгая и зловещая кампания, которая увенчает терновым венцом одних и позорными лаврами других...

Саша появился на пляже ближе к обеду, по обыкновению подтянутый, выбритый, элегантный и улыбающийся. У меня даже мелькнула мысль, что он не видел газеты.

— Ну как ты, старик?

— А что? Тачал с утра... Ах, ты об этом!.. Ничего. Надел чистую рубашечку, погладил брюки — и сюда.

Я смотрел на Сашу. То, что произошло, не было локальной неудачей. Совершенно очевидно, что ему опять перекрыли кислород. Хорошо, если «Таймыр» не снимут. Год с небольшим длилась его удача. Не говоря уже о том, что рухнули

надежды на хороший заработок, больше ста театров собирались ставить его пьесу, теперь об этом не может быть и речи. И тоска проработки, когда настырно, тупо, зло, бессмысленно будет склоняться твоя фамилия, чтобы вся литературная шушера могла лишней раз расписаться в своих верноподданнических чувствах, когда мелкое (к тому же липовое) литературное прегрешение вырастет до размеров стихийного бедствия. Словом, скука зеленая, безнадега, и никто не скажет, когда ты опять выползешь на свет Божий, да и выползешь ли? А Саша держался так, будто ничего не случилось. Впрочем, «держался» плохое слово, в нем проглядывает искусственность, тягота усилия, а Саша был естествен, свободен, ничуть не напряжен. Вот так же не дрогнул он в ледяной воде, так же принял глухоту друзей, которым читал свою заветную пьесу, так же вышел недавно с заседания секретариата СП, вновь не принявшего его в Союз писателей. Его нельзя было согнуть. Крепкой человеческой сталью называл таких людей Александр Грин.

Явилась Аня с припухшими глазами, но шутила, смеялась и напомнила, что вечером идем в кафе. Мы-то малодушно решили, что поход отменяется по причине траура. В кафе мы засиделись допоздна. Когда все посетители ушли, мы с благословения заведующей сдвинули столики, заказали еще напитков, раскрыли старенькое пианино, и Саша закатил грандиозный концерт. Он спел «Маму» и все другие свои песни, не получившие столь широкого признания, репертуар Вертинского, Лещенко, Морфесси, жестокие романы. А пили мы пиво пополам с ситро, Саша называл напиток «панаше», и закусывали печеньем, которое называлось «курабье». В конце вече-

ра Саша исполнил романс-экспромт о брошенной девушке. Кончался романс на рыдающей ноте:

Все бывшее развеялось прахом,  
А на сердце у ней курабье.

А какое курабье было на сердце самого певца, у которого одним нагло-воровским выпадом отняли успех, деньги, надежду на спокойную жизнь и работу?..

И вот еще на тему Сашиного мужества. Он очень часто бывал в нашем доме, порой с ночевкой, и, верно, ему захотелось отплатить за гостеприимство. Он решил отпраздновать свой день рождения и пригласил всю честную компанию, состоявшую сплошь из его почитателей. Так, во всяком случае, считалось. Через много, много лет, вернувшись из Парижа, я сказал одному из тогдашнего дружеского круга, что ходил на Сашину могилу. Этот человек был едва ли не самым горячим поклонником Саши, он пел под него и не без успеха подражал его устным рассказам, одевался «под Сашу», коверкал язык под Сашу: «Ах, робята вы, робята!» А сейчас: «Да?..» — бросил он рассеянно. «Тебя это не волнует?» — «Нет. Ты же знаешь, я никогда не разделял ваших восторгов». — «Я помню прямо противоположное». — «У тебя плохая память», — сказал он, спокойно и прямо глядя мне в глаза. Его недавно избрали секретарем партийной организации института, где он заведовал кафедрой. Все, я в том числе, считали его отличным малым. Он не стучал, не предавал, не делал гадостей, просто умел, когда надо, наступить на свое вчерашнее сердце.

Но в описываемую пору Галич, которого надо бояться, Галич, от которого надо отрекаться, еще не существовал, и все охотно приняли его

приглашение. Саша был на редкость мил и любезен в качестве хозяина. Мы познакомились с его матерью — величественной дамой с прекрасно уложенной бронзово-рыжеватой головой (так мне, во всяком случае, запомнилось) и низким, глубоким голосом. Она работала концертным администратором в филармонии и, похоже, очень ценила свой пост. Отца дома не оказалось. Он вообще был фигурой несколько эфемерной. Когда о нем заговаривали, Саша уплывал в таинственные горные выси и возвращался назад не раньше, чем тема давшего ему жизнь затухала. С появлением Ани невидимка чуть обрисовался. Оказывается, он был маленький, лысый, ушастый и чем-то заведовал. «Трудно поверить,— говорила Аня,— что это Сашин отец. Уж больно просто-ват. Он вообще не монтируется с остальной семьей». В какой-то момент он и сам понял это и ушел. Попытка зажить другой, более простой жизнью не удалась. Он уже был отравлен сладким ядом культуры. Он вернулся.

День рождения Саши проходил томительно. И не сказать было, откуда взялась эта томительность, все вроде разворачивалось по обычному сценарию, только Саша обошелся без положенного выпадения в освежающий сон, что можно было только приветствовать. И Сашина мать была гостеприимна, и брат Валерий симпатичен, как всегда.

Если бы Саша не пел так много и охотно, мы долго бы не выдержали. По дороге к дому — нам всем было по пути — мы тщетно пытались понять, что нам мешало. Квартира мрачная, говорил один, тяжелая мебель, тусклый свет. А мне кажется, возражал другой, Сашина мать была не в восторге от нашего визита. Она, как все мате-

ри, считает, что Сашу спаивают друзья. Валерий был какой-то напряженный, высказывал свои соображения третий. И ушел рано, почти демонстративно. Мы сами виноваты, самокритично прикидывал четвертый, не нашли правильного тона. Как-то уж очень по-свойски стали себя вести...

Через некоторое время мы узнали, что в канун Сашиного дня рождения арестовали его отца. Саше не хотелось ни говорить нам об этом, ни придумывать фальшивую причину для отмены праздника. Он выбрал путь самый трудный для любого человека, кроме него: делать вид, будто ничего не случилось. Это ему вполне удалось, но ни мать, ни брат не обладали его выдержкой. И, как ни старались, от них веяло неблагополучием...

Сашин отец не был «политическим», то есть не обвинялся ложно по 58-й статье. Он шел по какой-то хозяйственной статье, тоже ложной, судя по тому, что вскоре его выпустили.

И последнее — на тему Сашиного мужества. Не помню, в каком году Саша начал колотиться. Знаю, что это случилось после тяжелейшего инфаркта, когда не было уверенности, что он выкарабкается. Или же после второго инфаркта, последовавшего вскоре за первым. И тогда Саша подсчитал, что ему осталось жить самое большее семь лет. А потом инфаркты зачастили воистину с пулеметной быстротой. Будь это действительно инфаркты, Саша получил бы почетное место в книге Гиннеса как мировой рекордсмен. На моей памяти их было не меньше двух десятков. Но близкий Саше человек сказал (я уже понял это без него), что жестокие сердечные инциденты, кидавшие Сашу в постель и щедро выдава-

емые за инфаркты, случались от резкого повышения дозы морфия. А он делал это всякий раз, когда привычная доза переставала действовать. К морфию же он пристрастился во время своих настоящих инфарктов, сопровождавшихся ужасными болями, которые иначе невозможно было снять.

Однажды в Ленинграде он сделал себе укол и занес инфекцию. Страшнейшее заражение крови. В больнице врачи настаивали на ампутации руки, иначе не ручались за его жизнь. Он наотрез отказался. Уже звучала на всю страну его гитара и лилась главная песнь. Из Москвы вызвали Аню. Она на коленях умоляла согласиться на операцию. В больницу пришли Сашины друзья, они плакали и просили Сашу остаться жить. Саша — черное лицо, выпадающие из орбит глаза — выборматывал с ужасной улыбкой:

— Вы видели безрукого гитариста?

Аня кричала, что покончит с собой, если он умрет.

Саша уверял, что вовсе не ставит себе целью умереть, но жить согласен лишь в полном комплекте. «И он все улыбался, сволочь такая!» — рассказывала после Аня с яростью и восторгом. Случилось непонятное врачам и противное природе — человеческое упрямство победило.

Я предчувствую взрыв читательского ханжества. Какой же он сильный человек, если не мог побороть пристрастия к наркотикам? А он и не собирался, как и Высоцкий, который в последние годы жизни тоже начал колотиться. Их это не ослабляло, а усиливало в той борьбе, которую вела против них всемогущая власть. У власти была одна цель: заткнуть им рты, а они пели, пели вопреки всему. Им перекрыли все краны: не дава-

ли площадок, не пускали ни на радио, ни на телевидение, ни в печать, ни пластинок их не было, ни кассет, а они умудрялись быть услышанными по всей стране, да что там — по всему миру. Какой душевной силой, каким мужеством, смелостью и верностью своему избранничеству надо обладать, чтобы выстоять против чудовищной машины насилия и уничтожения! Но иногда иссякали внутренние ресурсы, металл ведь тоже устает, а человеческое сердце не из металла, и они давали себе перевести дыхание, отключиться — уколom в вену, чтобы затем снова в бой. Гитара и губы против железного хряка бездушия. И казалось, хряк победил: сжевал Высоцкого, а Галича отрыгнул в изгнанничество и гибель. Ан нет, песни остались, победа за певцами.

Пусть их судит лишь тот, кто сам способен поставить жизнь на кон ради правды и чести, а не добродетельные и законопослушные холуи власти.

И вдруг мне вспомнился совсем иной пример Сашиного самообладания. Эту историю я слышал от трех ее участников: Саши, Ани и Дамы, их версии совпадали. Дело было в Дубултах, в доме отдыха, в каком году — не помню, но знаю, что уже минуло много нелегкой и разной жизни. Можно сказать так: на заре туманной старости, когда люди, знающие, что им до конца оставаться в одной упряжке, начинают многое прощать друг другу. Саша сообщил Ане, что хочет совершить большую прогулку по берегу, в сторону заката солнца, в компании с одной из отдыхающих. «Я давно не обращаю внимания на Сашины шашни, — рассказывала мне Аня, — но тут я обозлилась. Девка была как-то противно похожа на меня. Будь она совсем другой: «незнакомка»,

или рубенсовское тесто, или ренуаровский рыжик, или «куда ни тронь, везде огонь», я бы слова не сказала, он, правда, застоялся, но тут — какого черта? Доска два соска. Зачем тебе навынос, когда можно распивочно. Я могла бы увязаться за ними, но болят ноги и собралась компания для «разбойничка». Аня придумала другой хитроумный план. Едва романтическая пара двинулась вдоль белой нитки прибоа, как с балкона послышался отчаянный крик:

— Саша!

— Что, Нюшка?

— Ты взял валидол?

Он похлопал себя по нагрудному карману.

— Взял!

— А нитроглицерин взял?

— Хватит валидола.

— Нет, нет! Без «нитры» я тебя не пушу.

Аня сбежала вниз и протянула Даме стеклянную капсулу с нитроглицерином.

— Если ему будет плохо, дайте две крупинки.

— Хорошо, — сказала Дама и положила лекарство в сумочку.

— Гемитон у тебя есть?

— Зачем еще?

— А если подскочит давление?

— Что за чепуха!

— Ничего не чепуха. Ждите!

Аня сбежала в номер и принесла набор лекарств: от давления, от аритмии, от желудочных колик, бруфен (если схватит поясницу), спазмалгин и пантокрин. Все это она передала Даме с подробными наставлениями, при каких обстоятельствах и как эти лекарства давать.

«Мой расчет был не на Сашу, ты же знаешь его хладнокровие, — говорила Аня, — хотя тут

дрогнул бы и каменный Голем, а на Даму. Кому захочется идти с таким ненадежным кавалером. Я недооценила ее. Она выслушала все спокойно, кое-что уточнила, а потом сказала:

— Нюша, дайте еще клистир и ночной горшок, и поскорей, не то мы пропустим закат.

Перед такой выдержкой я спасовала.

— Ладно, идите на... закат. Если у него будет эпилептический припадок, смотрите, чтобы не проглотил язык.

— У меня не проглотит,— сказала Дама.

И они ушли на закат, а я утешилась «разбойничком». Мне здорово везло в тот вечер».

Не стоит только думать, что в семейной жизни все шишки валились на одну Аню, что она была стратотерпицей, а Саша — беспечный гуляка. Каждому выпала своя ноша, и трудно сказать, чья оказалась тяжелее. Анина нервность, почти неощутимая в юности и лишь изредка смещавшая ее легкие черты в зрелости, в ходе лет обострилась. А сгущавшиеся над Сашиной головой тучи усиливали ее беспокойство, которое надо было скрывать. Она жила в постоянной тревоге и страхе. Никакие успокоительные не действовали, и Аня стала искать забвения там, где его от века ищут и находят русские люди. Аня, которая без содрогания не могла смотреть на пьющего человека. Это бестелесное существо выбрало самый неподходящий к его эльфической структуре напиток: пиво — и загружалось им, как бравый солдат Швейк «У чаши». Опыание от пива медленное и тяжелое, все клетки тела налиты жидкостью. Все же разрушение психики опережало телесную деформацию, и только к моменту вынужденного отъезда изысканная Аня воплотилась в цельный, законченный образ груз-

ной, неуклюжей скандальной бабы с кирпичной грубой кожей.

Саша воистину «ни единой долькой не отдалялся от лица», всегда был на высоте и дрогнул лишь в день своего вынужденного отъезда, когда Аня во дворе нашего общего дома устроила истерику, не хотела садиться в машину, кричала, плакала. Он не сдержал себя и впервые, с мучительно перекошенным лицом, наорал на нее. Но я не уверен, был ли то настоящий срыв или необходимая лечебная мера, чтобы привести ее в сознание, пробиться сквозь защитную корку полубезумия-полувздора сорвавшейся с петель души. В «Цитадели» Кронина молодой врач в сходной ситуации отхлестывает по щекам зашедшуюся в приступе истерику, чем и приводит ее в чувство. Саша обошелся без силового метода. Аня позволила усадить себя в машину и даже улыбнулась провожавшим. Много народа, презрев пугливую осмотрительность, высыпало во двор. С нашего унылого, никогда не озаряемого солнцем двора и начался страдальческий путь этих людей, приведший их довольно скоро к «полной гибели всерьез».

Оставить родину никому не легко, но никто, наверное, не уезжал так тяжело и надрывно, как Галич. На это были особые причины. Создавая свои горькие русские песни, Саша сросся с русским народом, с его бедой, смирением, непротивленчеством, всепрощением и естественно пришел к православию. Он ни от чего не отрекался, ибо ничего не имел, будучи чужд иудаизма, но ему необходим был этот смешной и несовременный в глазах дураков акт, исполненный глубокого душевного и символического смысла. Он не думал, да и не мог ничего выгадать этим у русского

народа (известно: жид крещеный что вор прощенный), за беззаветную службу которому поплатился потерей своей русской родины.

Саша стал тепло верующим человеком. И я не понимаю, почему хорошие переделкинские люди смеялись над ним, когда на светлый Христов праздник он шел в церковь с белым чистым узелком в руке освятить кулич и пасху. Свою искренность он подтвердил Голгофой исхода.

Анино отчаяние было проще. Она боялась за себя. Она оставляла мать, дочь, не захотевшую ехать с ними, друзей, квартиру и налаженный быт, дающих некоторую гарантию прочности, и, больная, запойная, отправлялась в никуда с человеком хотя и любимым и преданным, но ненадежным ни в смысле здоровья, ни в смысле страстей.

Может, стоит досказать здесь историю изгнанников. Аня не обманулась в своих худших опасениях. После тихой (весьма относительно тихой, поскольку Аня уже познакомилась с клиникой) жизни в Норвегии они подались в Париж. Туда же последовала новая мюнхенская влюбленность Саши — мужняя жена, о которой я слышал два взаимоисключающих мнения: одно трогательно-рождественское, в духе байки о замерзающем у озаренных праздником барских окон маленьком нищем, другое — уничтожающее, Аня же застарожилилась в психиатрической больнице. Очень дорогой и комфортной — Саше пришлось подналечь на работу, чтобы содержать там Аню, — но все же и в минуты просветления не дающей радости существования. Ужасная и горестная жизнь, что там говорить. Саша разрывался между работой, концертами, бедной возлюбленной — мюнхенский муж громко и ясно объявил, что едет в Париж иступить

хорошо наточенный резак: он был мясником по роду занятий и уголовником по той тьме, что заменяла ему душу. И на все это путаное, тягостное существование накладывалась гнетущая тоска по России, неотвязная, как зубная боль.

Он свободно пел свои песни, печатал стихи, был признан, уважаем, любим, знал, что и дома его помнят, но ни один человек из тех, кого я расспрашивал о Саше, не сказал мне, что он был счастлив, весел, хотя бы покоен. Конечно, его угнетали Анина болезнь и вся нелепость обстоятельств, но главное было в том, что Саша не мог и не хотел перерезать пуповину, связывающую его с родиной. А это единственный способ смириться с жизнью в изгнании. Я не видел таких, кто бы вовсе не скучал по России, но видел многих, кто склонен был преувеличивать свои изгнаннические муки, это тоже входит в эмигрантский комплекс. Саша ничего не преувеличивал, не угнетал окружающих подавленностью, не жаловался, молчал и улыбался, но в стихах звучала лютая тоска.

Зигмунд Фрейд отвергал случайность в человеческом поведении: оговорки, обмолвки, неловкие жесты, спотыкания, он считал, что все детерминировано, и перечисленное выше — проговоры подсознания. «Ты зачем ушиб локоть?» — спрашивал он ревущего от боли малыша, и выяснялось, что тот в чем-то проштрафился и сам себя наказал, ничуть, разумеется, об этом не догадываясь. «Зачем ты поскользнулась?» — допытывался он у дочери, и выяснялось, что девочка тайком полакомилась вишневым вареньем. Если б можно было спросить Сашу: «Зачем ты коснулся обнаженного проводка проигрывателя?» — ответ был бы один: так легко развязывались все

узлы. Сознание человека — островершек айсберга, который скрыт в темной глубине. О подводную массу айсберга разбился «Титаник». Все главное и роковое в нас творится в подсознании. Я уверен, оттуда последовал неслышимый приказ красивой длиннопалой Сашиной руке: схватись за смерть. И никто не убедит меня в противном.

Когда я был в Париже в 1978 году, вскоре после Сашиной гибели, то поехал в Сен-Женевьев-де-Буа проведать его могилу. Я долго мыкался по этому не слишком большому, но какому-то путаному кладбищу, где среди скромных крестов неизвестных русских людей, умерших на чужбине, высятся пышные надгробья героев белого движения, неизменно выходя к странному, вроде бы мальтийскому кресту на могиле Бунина, к бедным плитам Мережковского и Гиппиус. Никто не мог показать мне еще свежего Сашиного захоронения. Наконец какой-то дед, подновлявший дерн на запущенной могиле, согласился проводить меня за небольшую мзду. Он привел меня, взял деньги и повернул назад. Старое, облупившееся, оштукатуренное по камню надгробье сохранило полустершиеся буквы незнакомого женского имени. Я долго его помнил, а сейчас забыл.

— Дедушка! — окликнул я старика, он был русский.— Это не та могила. Здесь какая-то женщина лежит.

— Недолго ей тут лежать,— отозвался старик.— Скоро ее выселят, и Галич ваш один останется.

Оказывается, в связи с перенаселением кладбища покойников из забытых могил стали вывозить в другие места упокоения. Место на кладбище не покупается раз и навсегда, за могилу

надо постоянно платить. Аня хотела похоронить Сашу только на Сен-Женевьев-де-Буа, она подкупила сторожа, и тот подселил Сашу в чужую смертную квартиру. Я отыскал маленькую дощечку: «Александр Аркадьевич Галич». Вот ирония судьбы: и посмертно Аня вынуждена оставлять Сашу с другой дамой.

Вся дорожка возле могилы была закидана лепестками анютиных глазок, они лежали словно мертвые бабочки, бархатистые фиолетовые, желтые, синие, коричневые. На могиле цвели свежие розы и торчали обезглавленные короткие стебельки анютиных глазок. Я догадался, что тут произошло: Аня пришла на могилу, обнаружила бедные цветы, посаженные соперницей, и все их пообрывала.

Остается сказать о судьбе Ани. Конец ее был нелеп и ужасен. После смерти Саши она бросила пить, очень подтянулась, стала заниматься общественной деятельностью, литературным наследством мужа. Затем пришла весть о скоропостижной смерти ее дочери Гали. Известие ее потрясло. Аня «развязала». А тут, как на грех, приехала старая приятельница и бывшая собутыльница. Аня высоко зажгла свой костер. Однажды она заснула с непогашенной сигаретой в руке. Затлело ватное одеяло. Аня почти не обгорела, она задохнулась во сне.

Так бездарно кончилось то, что началось молодо и счастливо на гладильных досках в доме по улице Горького. А Саша вернулся в свою страну, в свою Москву, как и предсказывал, вернулся песнями, стихами, пьесами, фильмами, вернулся легендой, восторгом одних и кислой злобой других, вернулся громко, открыто, уверенно, как победитель.

Но все это потом, а тогда, в те неправдоподобно далекие годы, была своя жизнь, какая-никакая, а была. И порой она казалась нам прекрасной. Саша обладал удивительным даром создавать из всего праздник. Качество, начисто отсутствующее у меня и потому особенно мною ценимое. Я умел или запойно работать, или вусмерть гулять. Я говорю о той поре, когда изживалась сильно затянувшаяся юность. До войны для меня главным был спорт, к исходу пятидесятых появилось два мощных увлечения: охота и рыбалка. А вот после войны до мартовской встряски пятьдесят третьего я умел лишь менять рабочий стол на пиршественный. В свободное время запойно читал и порой вовсе забывал, что происходит за окнами. И тогда возникал Саша с каким-нибудь простым, но ошарашивающим меня предложением.

Звонок.

— Юрушка, ты когда последний раз был в бане?

— В поезде-бане с вошебойкой я был в октябре сорок второго, в Малой Вишере.

— Нет, в настоящей бане. В Сандунах или Центральных.

— В Сандунах я сроду не был, а в Центральных — когда мне было шесть лет. В женском отделении, с мамой и Вероней.

— Я приглашаю тебя в мужское отделение. Пойдем в Центральные, там хороший бассейн. Ты паришься?

— Нет.

— Ладно. Обойдемся без парилки. С нами будет мой старый друг. Смешной и милый парень. Не возражаешь?

Мы встретились у главного входа в бани.

Саша разговаривал с грузноватым и рыхловатым человеком, приметно старше нас, с шапкой курчавых волос, большим лицом и редкими, неровными зубами. Последнее сразу бросилось в глаза, потому что человек этот все время смеялся, картинно смеялся, на публику, что мне резко не понравилось. Мог ли я думать, что Саша делает мне свой лучший подарок: этот заливающийся показным хохотом человек станет одним из самых дорогих моих друзей и неизбежной болью, когда уйдет до срока.

— Драгунский! — гаркнул курчавый озорник, объявив свое имя не только мне, но и всему Театральному проезду.

— Как, неужели вы обо мне не слышали? — удивился он моей слишком спокойной реакции на столь шумное имя.— Я самый знаменитый московский бродяга.

— Ладно тебе,— улыбнулся Саша,— есть и познаменитей.

— Это кто же? — вскинулся тот.— Скажи в любой компании: Виктор, и сразу добавят: Драгунский.

— А правда, что каждый Виктор мнит себя Гюго? — спросил я.

— Не больше, чем каждый Вальтер — Скоттом,— немедленно отпарировал он.— Не поймаете. Это старая шутка Хлебникова.

— Но дней минувших анекдоты!..— с пафосом продекламировал Саша.

— От Ромула до наших дней хранил он в памяти своей,— подхватил Драгунский.

— Чем он занимается? — спросил я Сашу, когда Драгунский отошел купить билеты.

— Актер. Работал в «Сатире». Сейчас в цирке. Коверным. И вроде бы снимается у Ромма.

Потом я высчитал, что как раз в эту пору Драгунский задумал свою «Синюю птичку», неожиданную и необыкновенно талантливую поначалу, когда она была капустником, и неуклонно тускнеющую с получением официального статуса театра. Пока Драгунский просто резвился, реализуя свои многочисленные таланты: драматурга, режиссера и актера, его спектакли напоминали, по выражению Олеси, кипящий суп. А потом к нему протянулись щупальца главреперткома, всевозможных инстанций, управлений, а против этого бессилён любой талант. Теперь требовалось тупое и однообразное разоблачение маршала Тито, бенилюксов и плана Маршалла — очарование ушло. Но довольно долго «Синяя птичка» была единственным ярким пятном на серости будней.

Драгунский без умолку говорил. Мне запомнилась грустная история циркача на призывном пункте. Когда его спросили, какая у него воинская специальность, циркач ответил: движущаяся мишень.

Мы еще не знали, что каждому из нас в какой-то период жизни можно будет так же определить свою не воинскую, а гражданскую специальность. Но в полной мере движущейся мишенью окажется Саша. По нему гвоздили из всех калибров за песни, расстреляли — до взлета — его лучшие сценарии и, наконец, дружным залпом прикончили человека с гитарой.

В бане мне был преподан урок, как надо наслаждаться жизнью. В первый и в последний раз воспользовался я услугами банщика: костлявого могучего старика в набедренной повязке, с белотрупными руками, железной хваткой и разбойной серьгой в ухе. Он сломал мне все суставы, растоп-

тал мою плоть, потом взбил, как сливки. Отдышавшись, я узнал благо нагретой простынки и ледяного пива с красными от стыда за человека, бросающего живое в кипяток, хрусткими раками.

Завернувшись в простыню, я выстоял маленькую очередь в парикмахерскую, находившуюся тут же при раздевалке. Я все время боялся, что простыня сосколзнет, а бывалые Драгунский и Саша держались со свободным достоинством римских патрициев на форуме, их простыни казались тогами. Помню, бегавшая то и дело к телефону хорошенькая парикмахерша вдруг круто осадила и принялась разглядывать Драгунского и Сашу, морща узкий лобик трудной, ускользающей мыслью.

— Братъя? — спросила она радостно.

— Ага! — столь же радостно подтвердил Драгунский.

— Как не похожи! — сказала она с недовольной гримасой.

«Люблю маленькие загадки жизни,— говорил позже Саша.— Ее вопрос мог возникнуть только из ощущения сходства, хотя между нами ничего общего. Что происходило в ее маленьком мозгу, упрятанном под перманент? Мы никогда этого не узнаем. А ведь там творилась сложнейшая работа наблюдения, умозаключений, открытия и внезапного разрушающего прозрения».

— Рассуждения в духе Панурга,— заметил Драгунский.— Такое же велеречие и пустота. Давайте лучше выпьем. Пошли в «Арагви».

— Если хочешь получить хороший карский,— назидательно сказал Саша,— надо идти не в «Арагви», а в шашлычную рядом с бывшим «Великим немым».

Это было характерно для Саши: он всегда

знал, куда надо идти, если хочешь, чтоб было хорошо.

За корейкой — нам порекомендовал ее официант — мы вспоминали баню, и тут я с грустью обнаружил, что мы побывали словно бы в разных местах. У них было куда интереснее. Они вспоминали множество подробностей, начисто от меня ускользнувших. Оказывается, там все время происходило что-то занятное, смешное или глупое. В этот цирк вносили свою лепту посетители, банщики, буфетчик, хранитель бассейна, парикмахерши, сантехники. Подобный тип наблюдательности — со стороны — мне начисто чужд. Я бессознательно отбираю из окружающего то, что меня близко касается. А все нейтральное или чуждое моей сути я просто не вижу. Это большой недостаток для пишущего. Угадав мою слабость, оба начали с серьезным видом «вспоминать» все новые невероятные подробности. Оказывается, рядом с нами мылась бородатая женщина, банщик с серьгой был сыном знаменитого налетчика эпохи «военного коммунизма» Ленки Пантелеева — одно лицо! — жулик буфетчик у каждого второго рака оторвал клешню, у парикмахерши, бегавшей к телефону, халат был надет на голое тело, в бассейне ходила полутораметровая щука...

Тот блаженный день, начавшийся омовением, пивом и парикмахерской, продолжившийся корейкой, лавашем и «Саперави», имел продолжение. Нам не хотелось разлучаться. И когда официант предложил кофе, Саша решительно сказал:

— Спасибо, дайте счет. Поедем пить чай из самовара с горячими калачами.

— У тебя есть машина времени с задним ходом? — спросил Драгунский.

— Бродяга должен знать свой город. В Парке культуры, на границе с Нескучным садом, в ложбинке схоронилась чайная. Там самовар, горячие калачи с маслом и зернистая икра.

— Схоронилась, говоришь? — ядовитым голосом сказал Драгунский. — Небось на курьих ножках? В кассе — Баба Яга, официантом — Кашей Бессмертный?

— Может, поспорим?..

— Идет! На калач с икрой.

Конечно, он поспорил. Все было, как говорил Саша: самовар, калачи, горячие, сдобные, желтое масло, зернистая икра. Бабы Яги и Кашея Бессмертного не было, но их Саша и не обещал. И вот что странно: не было посетителей. Саша объяснил это тем, что никто не верит в существование такой чайной, и мы завтра перестанем верить, отнесем к похмельным видениям.

Вечер мы завершили в коктейль-холле на улице Горького, «котельной», как прозвала это заведение Галина Шергова. В компании оказался один начинающий писатель, который почему-то требовал, чтобы его называли Никита, хотя у него было другое, тоже красивое имя. Он и ныне здравствует, так и оставшись по прошествии жизни начинающим писателем. Он помнится мне человеком одаренным, умным, острым, внешне привлекательным. У его колыбели присутствовали все наличные феи, одарившие его своим богатством, кроме какой-то одной, довольно захудалой, но, видать, необходимой. У нее самой ничего нет, как у бедной родственницы, но она запускает в ход дары своих старших товарок, иначе они бездейственны, как двигатель без горючего. Все дарования Никиты остались вещью в себе, никак не оплодотворив человечество.

Никита придумал игру в неузнавание знакомых. Игра примитивная, но очень смешная. Подходит старый знакомец, дружески вас приветствует, а вы — ноль внимания. Он кланяется снова, делает приветственный жест рукой, вы сидите с каменным лицом, словно поклон относится к кому-то за вашей спиной. Человек сбит с толка, он пытается что-то вам растолковать, волнуется, горячится, вы — сама вежливость и внимание — не понимаете, чего он от вас хочет. Озадаченный, расстроенный и обиженный, человек неловко отходит. Игра занята реакцией неузнанных. Почти никому не удастся выйти с честью из положения; все тратят массу ненужных слов, сердятся, бывает — ругаются, чуть не плюются, хоть бы один рассмеялся и махнул на шутников рукой. Впрочем, один нашелся — Смирнов-Сокольский. Он внимательно посмотрел на Сашино отчужденное лицо.

— Простите,— сказал он,— я принял вас за своего протезиста.

Саша расхохотался, вскочил, они поцеловались.

Эта игра надолго увела от меня Сашу. В тот вечер он поддался змеинному очарованию Никиты, которого знал давно, но как-то не сумел оценить. Никита принадлежал к большой и замечательной семье, обладавшей, кроме достоинств доброты, гостеприимства, расположения к людям, неизъяснимым семейным очарованием, которое каждый из членов семьи сохранял, хотя в разной степени, отрываясь от клана. Я никогда не видел таких умельцев обольщать людей, как эти обитатели дома с мезонином на Сивцевом Вражке. Стоило попасть к ним однажды, окунуться в атмосферу тепла, искренней заинтере-

сованности в твоих заботах и бедах, глубочайшей порядочности, лишенной даже и намека на педантство и ханжество, услышать легкий, музыкальный смех, как ты навсегда становился их пленником. Саша там не бывал, возможно, поэтому проглядел Никиту, который один из всей семьи был с некоторой червоточиной, видимо отвращавшей Сашу, хотя он едва ли отдавал себе в этом отчет.

У Никиты были все семейные достоинства — и легкий смех, и море обаяния, но иногда его привлекательное лицо корежила гримаса завистливой злобы. Бесплодность несомненного литературного таланта — вот уж: «дар напрасный, дар случайный»! — корежила ему душу, из-под шапки пепельных волос вдруг выстреливал взгляд хорька. Он знал это за собой и, чтобы компенсировать проговоры теневой стороны души, эксплуатировал всю родовое очарование. Если хотел, он становился неотразимым. Это было самоутверждением, какого он не мог найти в бегущей его рук литературе. Его главной и злой радостью было разрушать чужие дружбы и любви. Так, он надолго испортил жизнь одному нашему общему другу, отбив у него невесту, когда тот уехал в долгую командировку. Едва разбитое сердце склеилось, Никита равнодушно оставил девушку. Лишь случайно не преуспел он в другой подобной же попытке, но крови людям попортил немало.

Он давно уже открыл нашу общую влюбленность в Сашу и решил обездолить нас скопом. Довольно долго его чары не действовали, что лишь придавало ему охотничьего азарта, и вдруг в «котельной» Саша взял наживку. Ему чего-то недоставало в нашем кружке. Мы были слишком

серьезны, не только в том, что заслуживало серьезности, но и в загуле, по-русски безудержном, с угарцем и тьмою. Саше хотелось расслабляться более весело и легко, хотелось игры, бездельничанья с милой или дерзкой выдумкой. «Пленительная лень» была не из нашего обихода. А у Саши порой возникала настоящая потребность в таком вот безмятежном, солнечном ничегонеделанье. Lentяй, выдумщик, острый собеседник, Никита как-то вдруг «пришелся» ему. В эту пору Саша вышел из неизвестности, из подполья домашней признанности, узнал вкус денег, да и надоело однообразие чуть надрывных аполлоногригорьевских застолий со слезой и битьем себя в грудь. Саша ушел в легкий и разнообразный мир, предложенный ему Никитой. Начав путь вдвоем, они вскоре обросли компанией звонких, прозрачных, легко воспаряющих над землей людей, не таящих под тонким слоем песенного забвения неизбывной русской маеты.

Мне кажется, что в глубине души я так и не простил Сашиного отступничества.

В последующие годы мы встречались куда реже. Ко всему еще обстоятельства моей жизни изменились: мы с женой разошлись, и не стало объединяющего наш круг дома по улице Горького. Дом, разумеется, остался, но соединял он теперь совсем других людей. Наша компания разбрелась.

Порой мы встречались с Сашей за преферансом. Меня втягивала в это дело Аня, не хотевшая окончательного угасания отношений. Я чужд картежного азарта, но тут вдруг почувствовал вкус к «пульке», нежданно явив качества довольно крепкого игрока. За картами открылась еще одна черта Саши, которую он сам называл

фатальным невезением. Играя сильнее всех нас, он неизменно проигрывал. Нечто похожее было на бильярде. У Саши был отлично поставленный удар, меткий глаз, он тончайше знал игру, но брал верх куда реже, чем следовало. Что-то ему мешало. Он совсем не умел ненавидеть противника, а без этого выиграть трудно.

В преферанс Саше действительно не везло. Если он объявлял мизер на своем ходе, имея одну восьмерку, то остальная масть оказывалась на одной руке, и приходилось сразу брать неизбежную взятку. Если же Саша играл мизер на чужом ходе, то непременно оставался с «коллективом». Он постоянно налетал на четвертого валета и на те парадоксальные расклады, что потом являются в кошмарных снах. Играл Саша всегда с улыбкой, но однажды не выдержал, ударил себя ладонью по лбу, и какая-то подозрительная звень прозвучала в его голосе:

— Чего стоит все умение, знание игры, партнерство с лучшими игроками, бесчисленные ночи над пулькой перед этим свинским, хамским невезением!. И ведь во всем так... — добавил тихо.

Вот тогда я подумал, что невезение тут ни при чем. Мне тоже не шла карта, — похоже, я искупал невероятное, какое-то даже пугающее везение моей матери, ярой картежницы, и все же я чаще всего выигрывал. Саша был представителем почти выродившейся породы людей, которые придерживаются, сами того не желая, но это сильнее их, принципа fair play. Я знал лишь еще одного человека — художника Владимира Роскина, который мог бы поспорить с Сашей по обреченной преданности этому роду игрового поведения, да и не только игрового: fair play — это жизненная позиция.

В игре необходимы: ожесточение, беспощадность в использовании любого преимущества, умение подавлять порывы благородства и жалости, выдержка и хоть толика жульничества, ну хотя бы не отводить глаза, если противник дает заглянуть в свои карты. Ничего этого не было у двух образцовых джентльменов: Роскина и Галича, и все их игровое мастерство не приводило к выигрышу. Это не значит, что Саша и Роскин вообще никогда не выигрывали, так не бывает, ибо чужое невезение, чужое неискусство оказывались порой сильнее их бессознательной боязни победить и причинить этим боль другому существу, но суть в том, что они обязаны были выигрывать, как правило, а они, как правило, проигрывали. Прикупая однажды на мизере туза и короля к валету, Саша сказал со вздохом, что надеется дожить до коммунизма.

— Зачем тебе это надо? — спросил я.

— При коммунизме будут играть с открытым прикупом,— сказал он фразу, ставшую потом крылатой.

Сейчас, когда мой рассказ, вдруг сильно рванувшийся в будущее, вновь вернулся в гиблые сталинские времена, уместно коснуться темы, которая не дает покоя нынешним хорошим молодым людям. Это гласно и безгласно обращенный к нам, старикам, вопрос: как можно было жить в кошмаре террора, зубодробительных проработок, садистских унижений, одуряющей демагогии, доноительства и предательства. Я могу ответить за своих сверстников, родившихся вскоре после революции. Мы жили молодостью, которая из-за войны чудно растянулась и довела нас до пятьдесят третьего года с неиссякаемыми надеждами, с готовностью начать новую челове-

ческую жизнь. И мы ее начали. Впрочем, не надо думать, что предшествующую жизнь мы считали нечеловеческой, как бы ужасна она ни была. Есть такая штука — повседневность. Она заполняет время и дает ему течь незаметно, ибо лишь незаполненное время замирает, превращается в стоячую лужу. Мы, наш круг людей, решившихся верить друг другу и не обманувшихся в этом, находили в общении друг с другом много радости. А дурное, о чем говорилось выше, пришло куда позже, но опять же обернулось лишь моральным, а не физическим предательством, служа делу самосохранения. Любопытно, что люди, выдержавшие испытание огнем, согнулись, потянувшись к жирному куску. В ту пору жирного куска не было, а если и был, то требовал не просто нравственной сделки, а подлости всерьез, до конца, на что далеко не все способны.

В принципе, каждый из нас мог уничтожить другого да и всех сразу одним росчерком пера. Каждый был для другого инженером Гариным, вооруженным лучом смерти. Не важно, что такое же оружие было у стоящего рядом, это не тормоз, а скорее побудитель к опережающему действию, но мы все уцелели, а ведь круг наш был очень широк. Наверное, это придавало тогдашнему общению особую значительность и ценность, что-то почти ритуальное было в наших частых сборищах, которые мы все же не подвергали опасности политических разговоров. Да и о чем было говорить? Война и первые послевоенные годы были залиты алым светом патриотизма. О политике заговаривали лишь провокаторы и стукачи. Нас это не интересовало. Перед нами разворачивалось огромное поле полулегальной свободы, охватывающей и неположенную лите-

ратуру, вроде Мандельштама или Павла Васильева, Селина, Джойса или Алданова, не запрещенную, но и не разрешенную живопись импрессионистов, «Мира искусства», русского футуризма, мы вспоминали театр Мейерхольда, Камерный поры расцвета, новации Каверина, Охлопкова, быковские «Гримасы», Вертинского пели до его возвращения, слушали Лещенко, поклонялись Шостаковичу и Прокофьеву независимо от их официальной котировки, обожали «цыганщину», пили широко и шумно, но к этому тогда относились снисходительно, рукою Саши писали «Матросскую Тишину», рукою Корсаковой рисовали жестко формалистические рисунки, талантом Рихтера ставили костюмированное представление «Марсельский кабачок», воодушевлением Драгунского создавали «Синюю птичку», гортанью Кочеткова выплакивали «Балладу о прокуренном вагоне», скажу и о себе, чтобы не выглядеть паразитом: повесть «Встань и иди», рассказы «Над пропастью во лжи», «Спринтер или стайер» в первом варианте были написаны нами тогда. И были романы, было много загульной гитары, и драки были, и бильярд до одурения, и шатание по улицам до рассвета, когда отменили комендантский час, а у многих к этому добавлялась помощь своим узникам. Словом, было чем жить, даже до появления замечательных трофейных фильмов вроде «Моста Ватерлоо», «Касабланки» и «В старом Чикаго». Это была наша сладкая жизнь, но вам я не желаю такой.

И это была жизнь, которая формировала Сашу. Ведь песни, которые из него хлынули, как вода из раскрученного крана, где-то в шестидесятые, возникли не враз, а вызревали постепенно,

еще в молчании-мычании сороковых и пятидеся-  
тых, когда шла работа наблюдения, работа стра-  
дания и сострадания, крутеж среди людей и вне-  
запное затворничество. Мы думали, что Саша  
погружается в свою сокровенную драматургию,  
летучие пьесы не требовали самоизоляции, но,  
возможно, тогда уже творилась в горле певца его  
главная песнь, что в должный час разольется  
по всей стране без помощи радио, телевидения,  
пластинок и профессиональной эстрады.

В мертвые годы, в халтуре, в домашнем ге-  
ниальничанье, в шумном бражничанье, в глухой  
тишине, глубокой любви и легких романах, на-  
бирая в глазах все больше печали, но на людях  
всегда держа фасон, вызревал великий мене-  
стрель Галич. В той же дряни, веселье и боли,  
в тех же компромиссах и верности своему стерж-  
ню, не бунтуя, но и не принимая причастия дьяво-  
ла, обретали себя те его друзья, которым в меру  
отпущенных сил удалось что-то сделать в жизни.

Весна 1953 года была весной вдвойне. Преж-  
де всего это была полагающаяся по законам  
природы тревожная, слякотная, пасмурная,  
с редкими промывами и все равно благословенная  
русская весна, а черный март подарил вторую  
весну: отвалилась от сердца России душащая  
глыба — вождь народов, забрав с собой напоследок  
несколько тысяч задушенных в похоронной  
давке граждан Москвы, убыл в преисподнюю.

Все порядочные люди испытывали подъем,  
хотелось много пить и мало работать. В один из  
ослепительных майских дней мне позвонил Са-  
ша, с которым я давно уже не виделся.

— Юрушка, ты чувствуешь, какой день?  
Сердцу хочется ласковой песни и хорошей боль-  
шой любви.

— Есть кадры?

— Кадров нет, хотя они по-прежнему решают все. Кстати, ты задумывался над этой формулировкой? Не люди, не граждане, не делатели, а кадры. Вот дубина!

— Кого же мы будем любить?

— Город полон молодых цветущих женщин. Доверимся его весенней щедрости.

— Я не умею знакомиться на улице.

Короткая пауза, затем с уверенностью, в которую я не поверил:

— Зато я мастак.

Мы встретились на улице Горького. Саша был в новом фланелевом костюме, сшитом на Марсе, мягких замшевых туфлях из другой галактики и вороновой шерстяной рубашке с кометы Галлея. Я подумал, что, если его опыт уличных знакомств и не так значителен, самый вид сработает безотказно.

Но юные существа, выстукивающие каблучками тротуары улицы Горького, были настроены на волну, далекую от нашей. Правда, они останавливались, терпеливо выслушивали Сашу, иные даже вступали в переговоры, что-то уточняли, но затем решительно, хотя порой не без легкого сожаления, продолжали свой путь. Не знаю, о чем у них шла речь, от стыда я всякий раз отскакивал к витрине, газировщице, киоску, делая вид, что не имею никакого отношения к этому приставале.

Но одно я понял: обращаться с диковатым предложением провести вместе вечер можно без риска каких-либо осложнений к любой незнакомой женщине. Саша глядел лишь на возраст и внешность, ничуть не заботясь по поводу социального и нравственного статуса дамы. Странно,

что солидные матроны вели себя точно так же, как вертлявые травестиюшки, сонные студентки, озабоченные служащие с портфелем, спешащие домой после утомительного трудового дня, и те неопределенного назначения смазливые существа, которые вошли в молодую литературу шестидесятых годов под кодовым названием «кадришки». Одна величественная особа даже записала Саше свой телефон — губной помадой на клочке бумаги, прежде чем сесть в поджидающий ее ЗИС с правительственными стыдливими занавесочками.

У меня мелькнула надежда, что мы завершим этот вечер вдвоем — по Вертинскому: «Как хорошо с приятелем вдвоем сидеть и пить простой шотландский виски». И вообще: «Как хорошо без женщин!»

Напрасная мечта — Саша зацепил каких-то мединеток.

— Юрушка! — прозвенел восторженный крик. — Иди сюда! С кем я тебя познакомлю!..

Я подошел и представился.

В ответ:

— Нина.

— Оля.

Здороваясь, они подавали вялую ладонь и чуть приседали, будто делали книксен. Откуда взялся такой политес? Может быть, темным наитием Сталина этот старинный светский присед ввели в женских школах?

— А теперь познакомь меня, — попросил Саша.

Я назвал его. Он счел необходимым добавить, что является автором пьесы «Вас вызывает Таймыр». Это произвело впечатление. Щедрый Саша решил поднять и мое реноме, на чем я вовсе

не настаивал, но девушки — им было лет по двадцать — ни «Трубки», ни «Зимнего дуба» не читали.

— «Трубку» вы могли по радио слышать, — сказал Саша. — Ее все время передают.

— А мы в парикмахерской не работаем, — довольно находчиво сказала Нина, видимо ведущая в паре.

Естественно, это определило Сашин выбор, а мне досталась «вторенькая», к чему я был готов, исходя из правил подобных знакомств.

Большой разницы между девушками не было: обе невысокие, ладненькие русоволосые, с круглыми личиками. И одеты сходно: шерстяная юбка, свитер, сумка через плечо. Они вместе работали, жили рядом, в Замоскворечье, а сейчас вышли прогуляться после работы, больно вечер хорош. Все эти мало что говорящие сведения сообщила Нина.

— Куда мы пойдем? — спросил Саша. — Самое время поужинать. Предлагаю четвертый этаж «Москвы». На террасе. В помещении душно. Мы будем сидеть под московским вечерующим небом и смотреть на закат.

Девушки чуть оробели от такого велеречия. Между ними произошел быстрый, суматошный обмен, похожий на вспышку воробьиного волнения над свежей навозной кучей: шорох, шелест, мельканье крыл, скачки, шебуршня. У них, конечно, это выглядело иначе: молчаливый и паразитально богатый содержанием разговор при крайней ограниченности средств выражения — взгляд, взмах ресниц, поджатие губ, передерг плеча, вскид головы, встрях волос, вытаращ глаз, кивок. Это читалось примерно так: «Он чокнутый?» — «Вроде нет, выпендривается». — «Мо-

жет, пошлем их?» — «Чуваки вроде солидные». — «Не люблю, когда лапшу вешают». — «А нам-то что — скрутим динаму»...

— Мы не одеты, — сказала Нина.

— Для этого бар... бара? Вы прекрасно одеты.

— Небось мест нету.

— Для нас всегда найдутся.

Мы разбились на пары и похлопали к гостинице. Я мучительно придумывал, о чем бы заговорить. Страна находилась на переломе, весь мир настороженно следил, куда мы пойдём; весна чудно преобразила город, женщины скинули зимнее барахло и в простой легкой одежде дивно похорошели; на улице ежеминутно что-то происходило: подростки, гоняясь друг за дружкой, сбили с ног лоточницу, продавец воздушных шаров упустил шарик и так расстроился, что чуть было не лишился всей связки, огромный негр купил брикет мороженого и неумело лизал его, капая на костюм, прошел Лемешев, стесняясь своей известности и красоты, пьяный мочился в урну, словом, материала для беседы было более чем достаточно, но я не знал, как им распорядиться. Я понимал что говорить надо небрежно, беспечно, хотя и с тонким подтекстом, помогающим сближению, но какая-то тяжесть навалилась на плечи, словно Атлант дал подержать свою ношу. Впереди Саша разливался соловьем, и Нина, более смекалистая из подруг, похоже, убрала колючки. Она смеялась, потом взяла Сашу под руку.

Я начал складывать в уме идиотскую фразу, что нашим друзьям хорошо друг с другом, но не мог найти интонацию. Ирония тут неуместна и вредна, одобрение глупо, простая констатация

факта — бессмысленна. Фраза должна звучать как объективное наблюдение, но с игривым подтекстом: мол, и нам бы так! Но попробуй быть игривым, когда на плечах земной шар!

— Вы в отпуске еще не были? — спросил я, удивленный собственной тупостью.

— Нет, не была.— Через минуту-другую она спросила:— А вы?

Как сказать ей, что у писателей нет отпусков, мы сами выбираем время для отдыха? Она просто не поймет. Придется объяснять статус человека свободной профессии, члена творческого союза. Это далеко заведет. И я сказал с непонятным подъемом:

— Нет, еще не был!

По счастью, мы вышли на угол Охотного ряда, надо было обеспечить переход опасного перекрестка. Я бывало и ловко — так мне казалось — взял ее за острый локоток и быстро повел через улицу, уговаривая себя, что мы выглядим живо, юно и бесконечно привлекательно. А потом я подумал, что настанет день, когда все это окажется в далеком прошлом и я буду вспоминать о маленьком приключении не только спокойно, но, может, даже с улыбкой. Скорее бы это время настало.

Мы вошли в ресторан, и дамы, как принято у наших соотечественниц, немедленно скрылись в туалете. Отсутствовали они так долго, что в душе шевельнулась спасительная надежда на «динаму». Но они все-таки вышли оттуда, в том же самом виде, в каком ушли. Что они там делали столько времени? И почему у западных женщин нет такого обычая? Надо полагать, что физиологически они устроены так же, значит, причина не в этом. Наверное, у наших всегда что-то

не в порядке с туалетом: какая-нибудь штрипка держится на честном слове, ослабла резинка на трусиках, пуговица на лифчике вот-вот оторвется, поехала петля на чулке и ее надо заклеить слюнями. Или они забыли вымыть утром шею, почистить зубы, проверить уши. Но отечественным дамам всегда нужна доводка, как «Жигулям», идущим на экспорт. Все это коренится в запущенности советского человека и убогости нашего быта. Чем, впрочем, не исключается и повальный цистит.

Мест, конечно, не было, но Саша немедленно получил столик, к тому же у самой балюстрады, откуда во все концы распахивалось сиреневое вечернее городское пространство.

Когда-то Саша рассказывал мне, как он завтракал с Вертинским за одним столиком в «Европейской». Саша, желая не ударить лицом в грязь перед таким ценителем всех радостей жизни, каким справедливо считался Вертинский, заказал зернистую икру, поджаренный хлеб, миноги, омлет с ветчиной, марочный коньяк и кофе. Официант равнодушно принял заказ и почтительно склонился к Вертинскому, который с брезгливой миной вертел в руках меню.

— Чаю, — наконец гнусаво сказал тот.

— Прикажете с лимончиком, вареньем или сливочками?

— Просто чаю. Вы понимаете русский язык?

После этого он трижды возвращал стакан официанту: в первый раз было не крепко, в другой — чай отдавал мочалкой, в третий — подстаканник был не по руке. Но официант, крайне небрежно обслуживший Сашу, здесь не жалел ног. А когда Вертинский ушел, забрав сдачу, офи-

циант умильно посмотрел ему вслед и сказал мечтательно:

— Настоящий барин!..

Но здесь в качестве настоящего барина фигурировал Саша. Мои жалкие попытки вмешаться в происходящее обрывались суровым взглядом официанта, желавшим иметь дело только с Сашей. Правда, его барственность отдавала сейчас купеческим размахом. Он, видно, решил ошеломить наших подруг. Какие блюда он заказывал! Какие придумывал к ним соусы! Как сокрушался, что нету устриц и трюфелей!

Старый официант с трясущейся головой наслаждался этими барскими причудами, напомиравшими ему былые сладостные времена «Ново-Московской» и «Стрельны». И даже раз обмолвился странным обращением: «Господа купцы».

Перед первой рюмкой Саша сказал:

— Юрушка, какие мы с тобой счастливые. Лучшие девушки Москвы сидят за нашим столом, а вокруг такая весна! Давайте обойдемся без тостов. Пусть каждый выпьет за свое. И это окажется общим, ведь все мы выпьем за любовь!

Лучшие девушки Москвы как-то подозрительно отнеслись к этому витийству, они переглянулись и молча выпили.

Сашу не остановила их сдержанность, он продолжал в том же возвышенном стиле, словно утратив ориентировку в окружающем. Сыпал Мандельштамом и Пастернаком, рассказывал истории из жизни знаменитостей, о которых наши подруги сроду не слышали, замечательно рассуждал о том, как по московской весне бродят тысячи одиноких и не догадываются, что самый нужный, единственно нужный человек только что прошел мимо, бросив беглый, незнающий

взгляд, опустился на ту же садовую скамейку, задел локтем в дверях магазина, счастье часто бывает рядом, только мы не знаем его в лицо. Естественно, все это требовалось для того, чтобы оттенить редкую удачливость Саши и Юрушки, ведь «лучшие девушки Москвы»...

Надо сказать, что наши приятельницы, несмотря на все Сашино красноречие, стихи, обильный стол и серьезные возлияния, оттаивали медленно. Даже Нина, встрепенувшаяся было на улице, опять подморозилась. В какой-то момент они дружно встали, извинились и отправились в туалет. Отсутствовали они так долго, что я вторично окрылился надеждой на освобождение. Правда, сейчас не без некоторой досады. О чем сказал Саше.

— Господь с тобой! Они вернутся. Неужели ты не видишь, что они очарованы? Просто стесняются. Девственные, не испорченные цивилизацией души.

Саша оказался прав. Беглянки вернулись оживленные, улыбающиеся, какие-то одомашненные, видимо, туалетные переговоры окончились в нашу пользу.

— Небось думали, что мы динаму скрутили? — кокетливо сказала Нина и ущипнула Сашу за ухо.

— Никогда! — пылко вскричал Саша. — Я знал, что вы придете, что ты придешь! Позволь говорить тебе «ты». «Вы» лишено сердца!

Ты придешь и на голос печали,  
Потому что светла и нежна.  
Потому что тебя обещали  
Мне когда-то сирень и луна.

Выпьем, Юрушка, за наших прекрасных подруг!  
За нашу встречу!

— Бывают в жизни встречи, и то лишь иногда,— вдруг проговорила молчаливая Оля.

Саша был потрясен:

— Как вы хорошо сказали!

— У нас на Восьмое марта поэт выступал,— чуть ревниво вмешалась Нина.— Коноплев. Он в этом... Союзе писателей работает. Со сцены травил неинтересно, а на междусобойчике хорошие стихи читал.

— Ты знаешь поэта Коноплева? — спросил меня Саша.

— Вроде слышал.

— Он известный поэт. Я один стишок даже запомнила.

— Прочтите! — молитвенно сложил руки Саша.

Нина откашлялась, постучала себя ладонью по груди, изгоняя никотиново-водочную хрипотцу:

Чтоб не страдали наши киски  
В Международный женский день,  
Жуй мясо, шпик, шашлык, сосиски,  
Залей глаза, и к черту лены!..

Саша улыбался напряженно, слегка бодаясь, что было у него признаком душевного дискомфорта. Но быстро справился с собой и шепнул:

— А все-таки мы их приручили.

После чего стал врачевать нас от виршей Коноплева прекрасной русской поэзией. Он растранивал себя так щедро, будто от этого зависела судьба. Большой актер не думает, для кого играет, ибо играет прежде всего для самого себя. Наквось артистичный, Саша не применялся к аудитории, и он играл в захлеб, «при этом не выгадывая пользы».

Был одиннадцатый час, но еще дотлевала

долгая майская заря, когда мы вышли из ресторана.

Я был с машиной и развозил компанию, хотя меня самого порядком развезло. Но это никогда не смущало тех, кого я развозил. Нигде в мире не видел я такого полного, спокойного, безоблачного доверия к нетрезвому водителю, как у нас. Даже когда меня почти вносили в машину и я не мог попасть ключом в щель зажигания, не было случая, чтобы кто-нибудь засомневался, стоит ли доверять свою единственную и неповторимую жизнь выпавшему из сознания шоферу. А стоило сказать: «Да что вы, братцы, мне и до дома не доехать!», как начиналось: «Зазнался!.. Бензина жалеешь!»...

Первой мы отвезли Нину, она жила ближе. Саша пошел ее провожать. Настроившись на долгое ожидание, я завел с Олей разговор на библейскую тему: «Накормите меня яблоками, напоите молоком, ибо я изнемогаю от любви». Но не успел развить тему, когда Саша вернулся. Какой-то странный, смущенный, улыбающийся, тихий. Молча сел в машину. Мы тронулись.

Старый деревянный поленовский дом Оли находился в глубине сельского замоскворецкого двора. Она сказала, что заезжать туда не стоит: народ разбудим.

— Я провожу вас, — крикнул я, когда она выпрыгнула из машины. И тихо спросил Сашу: — Что случилось?

Он боднул воздух лбом.

— Она поцеловала мне руку.

— Зачем? — тупо спросил я.

— Не знаю.

— А дальше что?

— Ничего. Что же могло быть дальше?

— Гнилой интеллигент! — крикнул я и кинулся со всех ног за Олей, решив взять с нее за себя и за того парня.

Нагнал я ее в подъезде. Тут хорошо пахло старым деревом, паутиной и теплой пылью. Оконные ниши, широкие подоконники, батареи — все располагало к любви, но Оля целеустремленно цокала каблучками по скрипучим ступеням, и я поспешил за ней.

Она отомкнула обитую клеенкой дверь и пропустила меня в сумрачную прихожую. Приложив палец к губам, открыла другую дверь и зажгла свет.

— Олька, ты, что ль? — слышался старушечий голос из-за ситцевой занавески.

— Я, бабушка, спи.

Посреди комнаты стояла детская кроватка, в ней находился раскаленный младенец, заткнутый соской.

— Жарко бедняжке! — Оля подошла и стала что-то делать с младенцем, который продолжал спать, кисло жмуря глазки.

— Девочка или мальчик? — обреченно спросил я.

— Пацанка.

— А отец где?

— Кто его знает? Нам никто не нужен. Мы сами по себе.

Кто-то тяжело, по-животному задышал. Мелькнула бредовая мысль, что за стеной обитает корова.

— Бабушка, — сказала Оля. — Астма у нее. Хорошая у меня дочка?

— Замечательная. Как звать?

— Надя. Наденька. Надюша. Надюнечка. Надежда.

— Ну, я побежал,— сказал я деловито.

Саша курил, широко раскинувшись на заднем сиденье.

— Тебе привет от Наденьки.

— Кто это?

— Надя. Наденька. Надюша. Надюнечка. Надежда. Дитя любви.

— У нее дочка? Сколько ей?

— Не знаю. Совсем новенькая. Еще есть бабушка. За занавеской. Я не был ей представлен.

Саша засмеялся.

— Не злись. Это же здорово! Вот увидишь: всякие варфоломеевские ночи, как говорит наша лифтерша, забудутся, а это — нет... «Вот наша жизнь прошла, а это не пройдет».

— Чье это? Ранний Коноплев?

— Нет, поздний Георгий Иванов, тоже прекрасный поэт.

Вот так мы «пожуировали жизнью», по выражению лесковских купчиков, вернувшихся из Парижа...

Совсем иная история разыгралась в исходе жаркого, душного лета пятьдесят третьего года, когда люди наконец поверили, что хотя бы в физическом смысле Сталин действительно умер всерьез и надолго. И пусть в ушах еще стояли заклинания, что долг советских художников до скончания века воспевать вождя, соборно творить сагу о его житии, пусть газеты еще сопливились фальшивой скорбью, пусть тело его торжественно водрузили рядом с тем, чьим полным отрицанием он был, развенчание творилось ежедневно, ежечасно, ежеминутно: выражением лиц, громким смехом, прямым, не прөваливающимся внутрь себя и не ускользающим взглядом, как бы враз polegчавшим воздухом и

тем, что люди начали строить планы на будущее и ждать, робко, неуверенно, потаенно ждать своих исчезнувших в зазеркалье того социального разврата, который издевательски называли социализмом. А может, это и есть социализм?..

Эту историю мне хочется рассказать из сегодняшнего дня.

Я никак не мог отыскать нужную мне улицу возле метро «Молодежная». Уж больно противоречивы были объяснения, на что я впопыхах не обратил внимания: выходило, я должен одновременно ехать в двух прямо противоположных направлениях — к кунцевскому метро и от кунцевского метро.

Я мыкался по Ярцевской улице, которая оказалась вся перекопана, застревая то у светофоров, то в объездном потоке встречного движения, натываясь на заграждения и бездействующие катки, и еще раз убедился, что Москва — Богом проклятый город, а все москвичи — чокнутые. В двух шагах от большой магистрали никто и слыхом о ней не слыхал. Вопрос мой почему-то казался оскорбительным местным жителям, и отвечали они соответственно. Обхамленный и оплеванный, я все же отыскал эту унылую новостроечную улицу и как-то высчитал дом, проехав его поначалу, поскольку на нем не было номера.

Когда я разворачивался, в машине что-то заело — я до сих пор ни черта не понимаю в автомобилях, как и тогда, когда впервые сел за баранку, — и сигнал завыл сиреной. Можно было подумать, что заработало противоугонное устройство. Я никак не мог унять истошный вой. Захлопали окна, на мою голову обрушилась злая — и справедливая — ругань. В отчаянии я

схватился за какой-то провод и стал его тянуть. Провод охотно полез из нутра машины, я намазывал его на руку. Несколько тревожило, что я вымотаю из машины все кишки, но вдруг провод оборвался, вой стих, а мотор продолжал работать. Я развернулся и подкатил к подъезду, увидел сидящих на завалинке старух и узнал ее раньше, чем она поднялась, опираясь на костыли.

— Ну, здравствуй.

— Здравствуй.

Мы поцеловались, встретившись через жизнь.

— Ты не знаешь, что за сволочь там гудела?

— Знаю. Это я.

Она засмеялась, и я сразу увидел ее такой, какой она была тридцать пять лет назад. Это окружающие старухи отбрасывали на нее свой тускло-тленный отсвет да костыли сбивали глаз с цели. А теперь я видел: загорелое лицо с крепкими высокими скулами, чудесные серые глаза, пепельные волосы, благородная стать, — порода не поддается возрасту: так же хороша была до последнего дня моя мать — столбовая дворянка, а в жилах Наташи текла царская кровь. Правда, ее отец Романов, белая ворона в державной семье, был лишен великокняжеского сана за мезальянс — женился на женщине незнатного происхождения. Таким образом, Наташа оказалась не великой, а простой княжной, но крестила ее греческая королева.

Этого было более чем достаточно, чтобы испортить жизнь. Дальше семилетки ее не пустили, Наташа пробавлялась то шитьем, то черчением, то спортом, то шоферила. И от всей этой жизни полезла на стену — в буквальном смысле слова, вошла в номер мотоциклиста Смирнова: гонки

по вертикальной стене. Кто из старых москвичей не помнит легендарную Наталью Андросову, сотрясавшую деревянный павильон в Парке культуры и отдыха своим бешеным мотоциклом? Бесстрашная красавица стала королевой старого Арбата, где жила в полуподвале, лишь с приходом Булата Окуджавы началось двоецарствие. Межиров и Вознесенский посвящали ей стихи, Юрий Казаков сделал героиней рассказа, закончить который помешала ему смерть.

Случалось, Наташа падала, ломала кости, попадала в больницу. Но, подлечившись, снова входила в свой смертельный номер. Ее партнеры плохо кончили: Смирнов спился, Айказуни разбился насмерть, Левитан покончил самоубийством в приступе умственного помрачения — ежедневный риск расшатал психику крепкого, как из стали литого, жестокосердного супермена. Для Наташи ее спортивная страда обернулась костылями. Измолотые хрящи срослись намертво, каждое неосторожное движение оборачивается скрутом боли. Костыли не вздыбили ей плечи, не испортили фигуры; упираясь сильными руками в перекладины, она подвешивает свое по-прежнему безукоризненно стройное тело. Так же стройны ее длинные ноги, только не могут сами ступать.

Мы поднялись на лифте. Дверь квартиры была нараспашку.

— Доверчиво живешь!

— Да кто ко мне полезет? Что у меня взять?

Взять и правда нечего. Разве что тринадцатилетнюю маленькую дворняжку с седой мордочкой. Стол, шкаф, два-три стула, узкая лежанка, полка с книгами, несколько фотографий. Среди них карточка подростка с нежным, добрым, бла-

городным, истинно великокняжеским лицом. Это Наташин кузен Алеша — наследник русского престола, расстрелянный вместе со всей семьей в екатеринбургском подвале. По российской расхлябанности и расстрелять-то толком не сумели. Мальчишка, плавающего в большой, несвертывающейся крови, добивали на полу. Нельзя отвести глаз от чистого доверчивого лица. Если б не события семнадцатого года, какой добрый, славный государь был бы у русского народа!

Наташа протянула мне листок бумаги со стихами, я еще издали узнал четкий Сашин почерк. По-моему, стихи эти не были опубликованы. Вот они:

#### НАТАШЕНЬКЕ

Буду ждать привета, слова, вести,  
Где бы жить теперь ни довелось.  
Если уж нельзя быть вместе, вместе  
Будем жить, покуда, вместе — врозь!  
Ну а там — кто знает! К счастью, на дом  
Нам за жизнь не присылают счет!  
Может, мы еще и будем рядом,  
Все, как кем-то сказано, течет!  
И ведь должен, должен быть порядок —  
Чувствам, судьбам, времени предел...  
Этот август... как он пролетел,  
Как он был, почти безбожно, краток.

*Август 1953 г.*

О том августе и пойдет речь.

В один из душных, раскаленных дней, в восьмом часу вечера, когда спадала тягостная, насыщенная электричеством неразряжающихся гроз жара и начиналось томление, неведомое в пору вселенского испуга — это томление было пробуждением подавленной личности, — раздался телефонный звонок.

— Юрушка, ты что делаешь? — слышался подозрительно вкрадчивый голос Саши.

— Ничего. Я один. Все уехали на дачу.

— Хочешь видеть меня с двумя очаровательными дамами?

— Поклонницами поэта Коноплева?

— Нет, нет! Это настоящие дамы.

— Но мне нечем принять настоящих дам. В доме шаром покати. Кажется, есть кофе.

— Мы все привезем. Берем такси и едем.— Саша сразу положил трубку.

Мне вспомнилось наставление Драгунского: никогда не поддавайся, если товарищ напрашивается к тебе с двумя дамами, вторая обязательно окажется крокодилом. Я пожалел о своем опрометчивом согласии, но отменить его не было возможности. Вспомнился и другой наказ Драгунского: если ты уже влип, налей глаза до одурения, и в какой-то миг ты обнаружишь в крокодиле неяркую степную красоту.

Я едва успел прибрать в комнате, помыть рюмки и бокалы, когда восторженный лай эрделя Лешки возвестил о приходе гостей.

Я открыл дверь и пережил одно из самых сильных потрясений в моей жизни. Как будто цветы внесли под звуки тарантеллы в убогую квартирнку. Она наполнилась благоуханьем, светом, звенью молодой великолепной жизни. И не скажешь, какая из двух красивей, настолько они разные. Одна — нордического типа: высокая, стройная, с развернутыми плечами, пепельно-волосая, с матовыми серыми глазами, другая Дина Дурбин — один к одному. Только мы знали черно-белую Дину, а эта была чудно расцвечена — природой больше, чем косметикой. С гордостью принца-консорта Саша представил

нордическую красавицу, назвав полным, хоть и утраченным титулом, затем ее подругу, артистку эстрады, работавшую в номере знаменитого эксцентрика. Меня ошеломили королевское происхождение и спортивная слава Княжны, но сразила меня не она, а Дина Дурбин, что весьма обрадовало Сашу. Оказывается, они с Княжной были знакомы еще до войны, но как-то не угадали друг друга, а сейчас пришло отнюдь не запоздалое прозрение.

Они встретились случайно на концерте в Измайловском парке, где выступала Дина Дурбин, и решили вместе поужинать у одного нашего общего друга. Но там вырубился свет, и тайная вечеря в кромешной темноте не прельщала подруг. Этому я и был обязан неожиданным знакомством. Моя ценность для них заключалась в квартире с действующим освещением.

Вот такой странный ход придумала судьба, чтобы перевернуть мою жизнь: в скором времени Дина Дурбин стала моей женой.

Не было у меня ничего прекраснее той поры «парных» романов. Новая любовь чудесно сплелась со старой и новой дружбами. Мы старались не разлучаться. Ходили вместе на выставки, которых вдруг стало очень много, в кино, на концерты, часами простаивали в деревянном павильоне, который Княжна сотрясала чудовищным громом своего ревущего, плюющего голубым дымом мотоцикла, обедали и ужинали в ресторанах, где возникла какая-то домашняя, доброжелательная атмосфера. И стучала в висок пронзительно и волнующе, как свановская нота в сонате Вентейля: «Сталин сдох!.. Сталин сдох!..»

Гранд-отель. Огромный и высоченный зал. Я танцую с Диной Дурбин. Вдруг радостный женский голос:

— Здравствуйте, дорогой сосед!

Рядом топчется со своей милостивой русской женой корреспондент Юнайтед Пресс Генри Шапиро. Мы шестнадцать лет живем в одном подъезде, из которого взяли Осипа Мандельштама и Сергея Клычкова, я на первом, он на втором этаже, но никогда не здороваемся, делая вид, что не знаем друг друга. Когда у американца засоряется раковина, ванна или уборная, а случается это нередко, поскольку дом наш стар и гнил, нас заливают фекалиями, а мы сидим и не рыпаемся. Боже упаси вступить в контакт с иностранцем! Самый страшный момент в моей жизни настал, когда, ставя свой «шевроле» на стоянку возле дома, Шапиро сцепился буфером с моим «Москвичом». Такое склеивание грозило обернуться десятью годами без права переписки, конечно, не для корреспондента Юнайтед Пресс. Ведь сколько шпионских сведений мог я ему передать, пока мы растаскивали машины, и запросто продать секреты своего мастерства. Несколько месяцев мы не спали, ожидая рокового звонка в дверь. Мне были собраны теплые вещи. Обошлось. А теперь: «Здравствуйте! Как я рад вас видеть!» — «Почему вы никогда не зайдете?» — «Закрутился, знаете... Непременно зайду». Я зашел к ним через двадцать шесть лет в Миннеаполисе, где читал лекции в университете, а их старшая дочь профессорствовала на кафедре русского языка. А потом принимал бывшую соседку у себя на даче. И тоже обошлось. Но все происходило уже в либеральную эпоху застоя.

Однажды мы возвращались из ресторана гостиницы «Советская», и меня задержал гаишник. Не помню, какое нарушение я сделал, вроде бы никакого, он просто увидел мое лицо.

— Права! — сказал молодой белобрысый очень строгий лейтенант, и я понял, что лишился машины в дни, когда она мне нужнее всего.

— Ну, лейтенант! — нежнейше пропела Дина Дурбин и просунулась к нему всей необъятностью пушистых сияющих глаз.— Простите нас!

Лейтенант вздрогнул, покраснел, даже чуть отшатнулся, но сохранил верность долгу и присяге.

— Права! — повторил он.

— Брось, лейтенант! — слышался чуть хриловатый, словно севший, незнакомый голос Княжны.— Больно ты прыткий. Зачем Юрика обижаешь?

Лейтенант посмотрел на кружевное пенное голубое и палевое, грозно надвигающееся из сумрака машины, и что-то дрогнуло в нем.

— Они пьяные.

Кружевное пенное голубое и палевое придвинулось еще ближе, объяло светом невиданной красоты, той, что спасет мир, и вдруг озвучилось совсем не музыкой сфер:

— . . . . .

Я вынужден прибегнуть к опыту дореволюционных издателей «Пантагрюэля», заменявших многоточием целые главы, «в силу крайней непристойности», как обязательно сообщалось в сноске. То, что выдала Княжна лейтенанту, можно услышать во время пиратского бунта,

ссоры биндюжников или грузчиков в одесском порту, на бандитском толковище перед вынесением смертного приговора.

Мы с Диной Дурбин помирали со смеху. Саша улыбался несколько принужденно, он был шокирован, сбит с толку. Зато милиционер должным образом оценил контраст старинной кружевной прелести княжеского облика и неправдоподобного цинизма речевого потока.

— Как в театре! — сказал он, утирая слезы. — Спасибо вам!

Я сохранил шоферские права, за руль по требованию милиционера села Княжна, чья складная речь доказала совершенную ее трезвость. В благодарность лейтенант был приглашен в Парк культуры на мотоциклетные гонки.

Как-то в разговоре с Сашей, вспомнив об этой истории, я сказал, что не ждал от него такого ханжества.

— О чем ты? — не понял он.

— Ты смутился, как красная девица, когда Наташка хулиганила.

— Что за чепуха! — Он болезненно сморщился. — Я понял, какой у нее грубый и страшный жизненный опыт. Бедная Наташа, как же мурыжила и била ее жизнь, через какие бездны таскала! По тонкой, нежной коже каленым железом... Я не хотел думать об этом, а как теперь не думать?..

Я понял Сашу много времени спустя, когда Наташа рассказала мне свою жизнь. Да, нелегко уцелеть в нашей действительности княжне царской крови. Она прошла через ад. Преследования, издевательства, шантаж, упорные, неотвязные попытки «святого дела сыска» пристегнуть к своей упряжке, побеги из Москвы, уход на дно,

чтоб забыли, оставили в покое, рабская зависимость от подонков партнеров, обиравших до нитки за то, что держали в номере, подлость во всех видах и образах — только Романова и могла выстоять.

То был последний взлет нашей дружбы с Сашей, растянувшийся на годы, а потом началось медленное угасание, приведшее не к разрыву, а к отчуждению.

Я очень долго не ощущал, что наши дороги пошли в разные стороны. Прежде всего, мы достаточно часто виделись, и между нами продолжался дружеский обмен: мы сталкивались во дворе и не отпускали друг друга без хорошего разговора, я навещал Сашу, когда он болел, а это случалось нередко, он был очень внимателен ко мне во время моего инфаркта (я лежал дома); Саша как большой специалист обучал меня душевной гигиене сердечника. Особенно ликовали мы при случайных встречах, скажем, в Ленинграде, прямо душили друг дружку в объятиях, и начинались посиделки на всю ночь. Бывало и другое. Мы уже долго не виделись, и вдруг взволнованный звонок Саши:

— Срочно приходи!

Бегу. У Саши в руках известное, но непонятное стихотворение Мандельштама «На розвальнях, уложенных соломой...». Мы его любим и ненавидим, как укор нашей поэтической глухоте.

— Я держу Мандельштама за хвост,— с легким самодовольством заявляет Саша.— Первое и самое главное — эти стихи посвящены Марине Цветаевой, как и предшествующие «В разногласии девического хора». Еще одно любовное стихотворение Мандельштама. Выходит, у него их не так уж мало.

Надо ли говорить, что мы понятия не имели о письме Цветаевой к Бахраку, где она прямо называет посвященные ей стихотворения Осипа Эмильевича?

— Тут нет никакой Цветаевой,— уверенно говорю я.

— А кого везут на «розвальнях, уложенных соломой»? Ца-ре-ви-ча! Лжедмитрия, которому она хотела быть Лжемариною. Мандельштам вживается в Самозванца от сознания преступности своей любви — Марина была замужем.

— При чем тогда: «А в Угличе играют дети в бабки. И пахнет хлеб оставленный в печи»? Тут же явно об убиении малолетнего Дмитрия Иоанновича.

— Правильно, это координата времени. Исток ненавидимого Мандельштамом Смутного времени, губительного для России.

— А что значит «три встречи» и утверждение: «никогда он Рима не любил»?

— Три встречи — не знаю. Или что-то очень личное, или три религии в жизни Мандельштама. От иудаизма через католицизм к православию. От Рима он уже отрекался в стихах. И не признавал Москву третьим Римом. А Москву, православную, это очень важно, ему открывала «болярина Марина».

— Я все же не понимаю связи частей.

— А я понимаю, но не могу объяснить,— засмеялся Саша чуть принужденно.— Тут зашифрованы очень конкретные вещи: любовь к Марине, грех-преступность этой любви, обретение православия с его средоточием — Москвой и предчувствие катастрофы. Она в черных птичьих стаях и подожженной соломе. Это символ бунта.

— Я все же не ухватываю, почему в конце гибель?

— А ты считаешь, что тут могло кончиться свадьбой? Как в пушкинских сказках? Ведь ко всему еще это 1916 год, а Мандельштам был провидцем.

Мы мучились, изобретая пилу, оторванные от мировой культуры, от мирового ищущего и обретающего разума, давно уже прочитавшего это стихотворение, хотя и не в последнюю его глубь. Так было у всех нас, и не только с Мандельштамом. А потом удивляемся, почему отстала промышленность, одряхла техника, развалилась наука, отсутствуют изначальные навыки управления, нет мяса, мыла и обуви. Неужто все дело в Мандельштаме? И в нем тоже. В свободе раскованного разума, который не изолируется от мировой информации, мирового обмена, всего богатства культуры, питаюсь мякиной мертвых догм и перемолотой чужими челюстями, отрыгнутой чужим желудком жвачкой.

Наше расхождение началось в пору, когда песни Галича завоевывали страну. Рать его поклонников была если не многочисленнее тьмы почитателей Окуджавы, то куда шумнее, поскольку моложе. Саша знал, что делает главное дело своей жизни, и дело весьма опасное, которое может сломать ему судьбу, ему нужно было понимание и союзничество, а я не могу ему этого дать. Я был в плену у Окуджавы, Сашины песни мне не нравились.

А так хотелось, чтобы нравились, ведь я по-прежнему любил Сашу и боялся потерять его окончательно, впрочем, долгое время такая мысль мне и в голову не приходила.

Как-то мы оказались в Ленинграде вместе:

Саша, Булат и я, хотя каждый приехал по своему делу. У меня в номере началось нескончаемое застолье, что так любил Саша и не выносил Булат, но терпел, поскольку собрались наши общие близкие друзья. Невольно вспоминается строфа Георгия Иванова о милых приметах Царского Села: «То, что Анненский нежно любил, то, чего не терпел Гумилев».

Среди присутствующих оказалась очередная Сашина поклонница, женщина большой душевной энергии и, как выяснилось много позже, выдающегося литературного дара, которого никто не хотел за ней признать. Сейчас мне кажется, что этой женщине, с ее страстным, необузданным, склонным к конфликтам характером, очень хотелось столкнуть наших бардов, в надежде, что верх окажется за ненаглядным ее Сашей. Она все время висела на телефоне, отыскивая ристалище для песенного поединка, гостиничный номер для этого не годился. Словом, готовилось нечто вроде трагического состязания знаменитых менестрелей Вольфрама фон Эшенбаха и Генриха фон Офтердингена в замке Вартбург. Там побежденный должен был принять смерть. И лишь заступничество великого барда Вальтера фон Фогельвейде склонило владетельную княгиню помиловать побежденного Офтердингена, заменив ему смертную казнь изгнанием. Не думаю, чтобы Сашина подруга оказалась столь же милосердной. Наконец дом для песни был отыскан.

Окуджава — это было в его стиле — сказал, что петь не будет, но с удовольствием послушает Сашу. Гитару тем не менее он с собой прихватил.

Мы приехали в типично петербургскую ста-

рую квартиру с высоченными темными от копоти потолками, кафельными печами и останками гарнитура красного дерева. Старинные гравюры с мачтами и парусами угрюмились на стенах. Но тридцатилетняя хозяйка была вполне из нашего времени, даже несколько впереди, она исходила агрессивным задором, сленгом и никотином. И все время что-то потягивала из стакана. Нам всем поднесли выпить и сразу расчехлили Сашину гитару с загнутым грифом.

Саша пел очень много, как всегда не ломаясь, на всю железку. Тут были песни из «золотого фонда»: о том, как «молчальники выходят в начальники, потому что молчание золото», о суперноменклатурном зяте, растоптавшем чужую жизнь, о том, что «любое движение вправо начинается с левой ноги», о могилах сталинских лагерей, перед которыми «премьеры» не преклоняют колен, о Егоре Петровиче, которого руководящие указания подымают со смертного ложа, о народном Демосфене Климе Петровиче, выступающем на митинге от лица советской матери. После каждой песни Сашина поклонница и хозяйка дома обводили слушающих восторженно-свирепым взглядом: мол, попробуй скажи, что тебе не нравится. Но это никому и в голову не приходило. Всем нравилось, все любили Сашу и восхищались им. Я тоже восхищался, не пытаясь ничего оценивать, Сашиной смелостью, едким сарказмом и болью за униженных и оскорбленных.

Быть может, все обошлось бы, но Булат дал себя уговорить спеть. Больше всего старался в своем неизменном благородстве Саша. Ему Булат не мог отказать. И вот уже последний троллейбус плывет над Москвой, верша по бульварам кружение...

Сознание не участвовало в том вздохе — сто-  
не души, который вырвался из меня, едва замолк  
голос певца.

— Боже мой, как хорошо!..

— А вы не кричите! — перекосив лицо нена-  
вистью, заорала хозяйка дома. — За стеной люди  
спят!..

— Нет элементарного такта, — свистящим  
шипом кобры поддержала Сашина поклонни-  
ца. — В чужом доме!.. Какое хамство!..

Это было так дико по невоспитанности, зло-  
бе и несправедливости: и Булат, и особенно Саша  
рождали куда больше шума, никого не трево-  
жившего за толстыми ленинградскими стена-  
ми, — что я растерялся, съежился и не нашел от-  
вета. Мне казалось, что Саша должен осадить их,  
но он промолчал. Видимо, окончательно понял  
по моему невольному проговору, что его муза мне  
чужда, и, как говорится, умыл руки. Больше он  
никогда не пел в моем присутствии.

Когда Владимира Войновича, недавно гостив-  
шего в Москве, спросили на телевидении тоном  
жесткого утверждения: вы, конечно, любите Га-  
лича? — он, отвечавший до этого тоже жестко и  
решительно до агрессивности, вдруг смутился и  
промямлил, что любил, «как и все мы тогда»,  
Окуджаву... Но да... конечно, он хорошо относит-  
ся и к Галичу...

Отвлекусь на вдруг мелькнувшую мысль: по-  
чему можно любить Толстого и Достоевского,  
Чехова и Бунина, Мандельштама и Пастернака,  
Леонардо и Рафаэля, Пруста и Джойса, но нель-  
зя любить Козловского, если любишь Лемеше-  
ва, Доминго, если любишь Паваротти, Тибальди,  
если любишь Каллас. Исключения бывают, но  
крайне редко. Может быть, пение действует

на какие-то ментальные или чувственные центры, что исключает совместительство, как истинная любовь-страсть?

Я, как и Войнович, пусть он моложе меня, человек эпохи Окуджавы. Моя любовь к нему не уменьшилась и сейчас, хотя я стал куда восприимчивей и открытее другому пению. В том числе песням Галича, слушаю их с огромным удовольствием. Кажется, я могу объяснить, в чем тут дело.

Недавно мне дали прочесть рукопись мемуарной книги одного умного и одаренного журналиста-ученого (надеюсь, рукопись эта станет книгой), где он пишет о своей потрясенности Галичем в те самые годы, о которых речь идет у меня. Человек шестидесятых годов, он говорит, что любил Окуджаву, но явился Галич и отнял эту любовь. Ибо Булат Окуджава, при всем его таланте и обаянии, выражается символами, порой не до конца ясными (черный кот, который в усы усмешку прячет), а Галич все называет впрямую, своими именами. Его гражданское чувство, мол, куда сильнее и действеннее.

Это не локальная проблема: Окуджава — Галич. Когда вышел фильм «Покаяние», его многие не приняли за иносказательность, «замаскированность» героя. Надо было делать фильм впрямую о Сталине, а не размывать образ: то ли Сталин, то ли Берия, то ли какой-то диктатор местного масштаба. Но громадность этого фильма как раз в том, что он дает вселенский, на все времена образ деспотизма: от древних царств и Рима до наших дней, а не разменивается на конкретику частных судеб и характеров.

Первый фильм о пережитом апокалипсисе мог быть только таким. Трагический фильм впря-

мую о Сталине вообще невозможен, потому что, превращая жизнь в трагедию, сам Сталин не был фигурой трагической. Низкорослый, рябой, сухо-рукий, косноязычный дворцовый интриган с примитивным мышлением и отсутствием душевной жизни — отсюда его ошеломляющее и часто необъяснимое кровоядство — не Макбет и даже не Ричард III — у него не могло быть такого взлета, как у горбатого хромца, обольстившего венценосную вдову над могилой убитого им мужа. И о Гитлере не может быть трагического произведения, он тянет разве что на сатиру в духе чаплиновского «Великого диктатора». Сталин — страшная, но пошлая фигура. Художественное чутье Абуладзе подсказало ему единственно верное решение. Он создал могучий символ, а не бытовую, пусть и «украшенную» всеми пороками фигуру.

Для меня — и не только для меня — песни Окуджавы больше сказали о проклятом времени загадочной песней про черного кота, чем предметные и прямолинейные разоблачения Галича. Но дело не только в этом, и даже вовсе не в этом. Окуджава разорвал великое безмолвие, в котором маялись наши души при всей щедрой радио-озвученности тусклых дней; нам открылось, что в глухом, дрожащем существовании выжили и нежность, и волнение встреч, что не оставили нас три сестры милосердных — молчаливые Вера, Надежда, Любовь, что уличная жизнь исполнена поэзии, не исчезло чудо, что мы остались людьми. Окуджава открывал нам нас самих, возвращал полное чувство жизни, помогал преодолению прошлого всего, целиком, а не в омерзительных частностях. И для людей, несших на себя клеймо этого прошлого, его часто пе-

чальные, но не злые песни были значительней разоблачений и сарказмов Галича. А вот уже другому поколению, не знавшему наших мук и душ пропажу, конкретика песен Галича была привлекательней.

Для меня песни Галича зазвучали по-настоящему года три-четыре назад. Казалось бы, то, о чем он поет, отодвинулось, утратило остроту, — ничуть не бывало. За минувшие годы мы не только не залечили ни одной болячки, не разрешили ни одного мучительного вопроса, не приблизились к чему-то лучшему, если исключить право (весьма лимитированное) кричать о наших муках, физической и моральной нищете и униженности, но довели все до последнего предела. И Сашины сарказмы ничуть не пожухли, напротив, выострились. Теперь пришло время называть все своими словами, прямо в лоб. Покров тайны сорван с действительности, не надо играть ни в какие символические игры, нужны конкретные имена, точные обстоятельства преступлений. Сашины песни переживают второе рождение, став, как никогда, нужными расхотевшему терпеть народу.

Так вот соединился я с Сашиными песнями. А в далекие годы мне куда больше нравилась его поэма о Корчаке, стихи. Любил же я лишь песню о возвращении. Саша оказался провидцем, хотя едва ли мог предположить, что возвращение его на родную землю будет столь победительным.

Я по заслугам потерял Сашу. Он шел своим крестным путем, он был обречен песне, знал, что его ждет жестокая расплата: либо тюрьма, либо изгнание — и не мог тратить душевные силы на тех, кто был всего лишь тепел.

Я все время думаю о Саше, разговариваю с ним, вижу его прекрасные глаза, улыбку, слышу глубокий голос, так богатый интонациями доброты, и вдруг олений трубный возглас сотрясает мне душу: «Юрушка, какие мы счастливые, лучшие девушки мира!..»

Ах, Господи, где они, где мы, где прошлогодний снег?..

---

**ГОЛГОФА**  
**МАНДЕЛЬШТАМА**

Однажды в программе «Взгляд» показали дом, приютивший Осипа Мандельштама в его воронежском изгнании. И с экрана прозвучал короткий диалог ведущего программу с одним из «хозяев города». Ведущий поинтересовался, нет ли у городских властей намерения присвоить улице имя опального поэта. Иронически и снисходительно посмеиваясь, спрашиваемый, типичный представитель дремучего племени номенклатуры — сытое, гладкое, самоуверенное лицо, взгляд насквозь — пожал плечами: с чего, мол? Ну как же! — жалко забился голос ведущего. Такая трагическая судьба, такой большой поэт!.. «Да ведь не Пушкин!» — срезал Хозяин города и сам засмеялся, довольный своей находчивостью. В подтексте звучало: думаете, мы провинциальные, серенькие, не знаем, что почем? Нас на мякине не проведешь!..

Тут же на экране возник вездесущий Марк Захаров и со свойственной ему д'артаньяновской реакцией сделал ответный выпад: «Конечно, не Пушкин. Он другой гений!» Великолепный укол. Впрочем, его противник не только уцелел, но даже не почувствовал боли. В отличие от Сирано де Бержерака, для которого любая рана была бы смертельна, ибо он состоял из сплошного сердца, представитель воронежской элиты этим чувствительным и уязвимым органом вовсе не обладал.

А мне пришел в голову другой ответ, который мог бы хоть озадачить закованную в броню тупость. Кто-то из великих сказал, что Пушкин — наше всё. Пушкин не имя, а слово, самое полное и звучное слово для обозначения российского гения. Поэтому можно сказать: пушкин Гоголь, пушкин Лермонтов, пушкин Достоевский, пушкин Мандельштам. Да, да, дорогие воронежцы, на одной из невзрачных улиц вашего города, в невзрачном доме жил, творил, готовился к исходу и преображению пушкин русской поэзии двадцатого столетия по имени Мандельштам. Незавидного росточка, худощавый, старообразный человек, которому не было пятидесяти, а выглядел далеко за шестьдесят, с серой щетиной на провалившихся в челюстную пустоту щеках, со вскинутой по-гоголиному головой, тонуший в не по чину барственной, тронутой молью шубе с чужого плеча.

— Дедушка, ты генерал или поп? — спрашивали его воронежские ребятишки, недобро приглядываясь к странному чужаку.

— Немножко и то и другое, — отвечал тот, пересчитывая их бегло-взблескивающим взглядом.

Мандельштам вызывал чувство недоумения не только у воронежской детворы. Ни одна поэтическая и человеческая судьба не может поспорить в непонимании с участью Мандельштама. И вообще-то глуховатый к творчеству современников Блок (как трудно давалось ему приближение к родственному всем настрою Иннокентию Анненскому) на дух не принимал Мандельштама, издевательски сравнивая его с безвестным московским поэтом-дилетантом. Лишь когда Мандельштам вымахал чуть не во весь свой по-

этический рост, Блок проявил к нему некоторую снисходительность. То ли Хлебников, то ли Маяковский пустили о нем злую шутку, высмеивающую античные пристрастия поэта и прицепившуюся к нему, как репей: мраморная муха. К середине двадцатых критики стали делать вид, что такого поэта, как Мандельштам, вовсе не существует, если же приходилось вспоминать о нем, волчья пасть вспенивалась бешеной слюной злобы. Даже бывший собрат по цеху поэтов талантливый Георгий Иванов признавал полностью лишь «Камень», в «Тристии» обнаруживал остывание дара, а все остальное — и высшее — резко отвергал. Б. Пастернак под уклон дней признался, что недооценивал в молодости почти всех лучших поэтов-современников. Мандельштаму это дорого обошлось. Когда его посадили в первый раз за антисталинские стихи, обиженный вождь позвонил Пастернаку, желая узнать, какое впечатление произвел этот арест на писательскую среду. В ту пору еще существовало общественное мнение, да и с границей считались. Сильное слово Пастернака могло бы спасти Осипа Эмильевича. Но Пастернак, взволнованный звонком Сталина, в которого был тогда по-женски влюблен, не мог сосредоточиться на предмете беседы. Он стал зачем-то уверять Сталина, что поэтически Мандельштам ему глубоко чужд. Это было правдой, но сейчас вовсе не нужной. «Вы плохо защищаете друга», — сказал Сталин. Все еще во власти звездного, а не земного, Пастернак уточнил, что его отношения с Мандельштамом нельзя назвать дружбой в том высоком смысле... Сталин уже не слушал, он понял главное: большого шума арест Мандельштама не подымет. Лишь после того как звякнул рыча-

жок трубки, Пастернак опамятовался: не туда его занесло. С тревожным, дискомфортным чувством набрал он номер Сталина. «Нам надо поговорить!» — «О чем?» — холодно спросил вождь. Желая укрупнить предмет беседы, Борис Леонидович затрубил: о жизни и смерти, о вечности!.. Сталин бросил трубку.

Но что-то сработало. Резолюция о Мандельштаме была непривычно мягкой: изолировать, но сохранить.

В свете того, что совершил Мандельштам, снисходительность Сталина кажется сейчас невероятной и необъяснимой. Часто приходится слышать: почему не нашлось на Сталина Занда, Шарлотты Корде, хотя бы Фанни Каплан? Почему же — нашлось, только Мандельштам действовал не кинжалом или пулей, а словом. В дни рабьего молчания, наклона и угодливости он громыхнул такими стихами:

Мы живем, под собою не чуя страны,  
Наши речи на десять шагов не слышны,  
А где хватит на полразговорца,—  
Там помянут кремлевского горца.  
Его толстые пальцы, как черви, жирны,  
И слова, как пудовые гири, верны.  
Тараканьи смеются усища,  
И сияют его голенища.

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,  
Он играет услугами полулюдей.  
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,  
Он один лишь бабачит и тычет.

Как подкову, дарит за указом указ —  
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.

Что ни казнь у него,— то малина  
И широкая грудь осетина.

Сейчас, когда о Мандельштаме пишут в мире куда больше, чем о любом другом русском поэте, нельзя вроде бы говорить о каком-то его непризнании. Скажем иначе, мягче: затянувшаяся недооценка, недопонимание, нежелание отдать Богу Богово. Даже такой поклонник поэта, как американский исследователь К. Браун, проявляет порой странную глухоту. Обманутый летучей легкостью «Американки», «Тенниса», «Кинематографа», он считает эти стихи пустой тратой поэтических сил, а не пронизательным и радостным откликом поэта на движение времени: двадцатый век оттесняет молодым мускулистым плечом своего предшественника — на смеющую дряхлым струнам лир он натягивает золотой ракеты струны.

Меня удвляет, каким сдержанным — до сухости — стал Иосиф Бродский в оценке Мандельштама. Он даже объявил своим учителем сверстника и друга Евгения Рейна, чтобы не числиться по ведомству Мандельштама. И многие приняли за чистую монету это усмешливое смирение. «Маленький Ося» называли его в ахматовском кругу в отличие от «Большого Оси», в милой этой шутке признавалась связь поэзии молодого Бродского с автором «Камня». Тогда Бродский охотно отзывался на любовное прозвище, но сейчас он сознает себя самого «Большим Осей». Великие не любят предтеч.

Я с вниманием и сочувствием следил за антологией советской поэзии, которую вел Евг. Евтушенко на страницах «Огонька», и на меня пахнуло неожиданным холодком от мандельштамовской публикации. Я знал, как любит Евтушенко сияющее, хотя и очевидное стихотворение «За гремучую доблесть грядущих веков», и ждал иной подачи поэта.

Самое невероятное, что самый близкий Мандельштаму человек, близкий ребром, а не только умственным, духовным и душевным настроем, автор высокой, трагической книги о нем, его жена Надежда Яковлевна Мандельштам завершила свой реквием устало-снисходительной ужимкой всезнания: Ося не великий поэт. Что за помрачение зора, видевшего любимого человека в такую глубину? Не хочется думать, что это слепота чрезмерной приближенности — слишком бедно для такой личности, как Надежда Яковлевна. Или тут смирение перед неумолимостью судьбы, которая все равно обманет, так не лучше ли самой — в упреждение — умалить родного великого человека? Или — что-то коренящееся в комплексе жены — загадочный и до боли обидный срыв?..

Зато знала Мандельштаму цену и не колебалась отдать первенство всевидящая и неподкупная Анна Ахматова. Увидела сразу — в рост — и назвала «молодым Державиным» равновеликая Анне Ахматовой Марина Цветаева. Если впоследствии ясный взгляд болярыни Марины в его сторону чуть замутился, то виноваты его собственные взбрыки. И вот что удивительно: Есенин, который в хмельном ожесточении чуть ли не с кулаками кидался на Мандельштама и поносил на чем свет стоит, однажды сказал с болью и чистотой совершенного поэтического бескорыстия: «Разве все мы пишем стихи? Вот Мандельштам пишет».

При жизни Мандельштама литературное непризнание — в юности у старших: Брюсова, Блока, в зрелые годы — у советской критики — сочеталось с неприятием его как личности. Опять же, люди значительные: Гумилев, Ахматова.

Цветаева, Тынянов, Георгий Иванов, можно назвать еще много высоких имен, — не просто мирились с неудобным Мандельштамом, но искренне любили его. С. Маковский, ностальгически вспоминая в парижском самоизгнании прошлое, а в нем Мандельштама, писал о его детскости, которой нельзя было не восхищаться. Можно. Эта его детскость, незащищенность, любовь к сладкому, беспричинный смех (он смеялся от «иррационального комизма, переполняющего мир») и рядом — резкая самостоятельность мнений, независимость, умственная и душевная, неподчиненность авторитетам, догмам, принятому мнению, правилам литературного поведения — раздражали людей. Мандельштама старались высмеять даже за поступки, которые, будь они совершены другими, считались бы по справедливости героическими. Так, он разорвал список приговоренных к расстрелу, который собирался подмахнуть, не глядя, оголтелый чекист Блюмкин — убийца немецкого посла Мирбаха и завсегдатай литературных салонов. Об этом рассказывали с упором не на отчаянную смелость жеста, а на то, что Мандельштам с криком выбежал из комнаты, когда Блюмкин выхватил пистолет. Литературный эфемер и житейский хам, Амир Саргиджан оскорбил Надежду Яковлевну. Мандельштам доверчиво обратился к писательскому суду, и этот последний под председательством Алексея Толстого оправдал хулигана. Поэт дал ему публично пощечину. Но в литературной среде говорили не о поступке чести, а лишь о вельможном ответе советского графа: «Я настолько силен, что мог бы стереть вас в порошок, но я даже не подам в суд».

А непотребный шум вокруг «дела Горнфель-

да» — обвинение Мандельштама в плагиате. До сих пор непонятно, что двигало Горнфельдом, кто стоял за его кляузой. Вой поднялся такой, что впервые возмутилась сонная и равнодушная писательская общественность и выступила с коллективным письмом в защиту измученного Мандельштама.

Кухонная злоба человеческого нищедушия преследовала его и после смерти. Даже порядочный человек Э. Герштейн, обиженная Надеждой Яковлевной, разразилась книгой «Новое о Мандельштаме», которая, не прибавляя ничего нового к образу поэта, хорошо питает обывательскую неприязнь к духовности.

Что же держало Мандельштама на плаву? Да разве был на плаву этот вечно бездомный, почти нищий человек, то незамечаемый, то хищно преследуемый поэт, а потом узник, самоубийца-неудачник, ссыльный, живущий подаянием, наконец, лагерный зэк, не умерший, а сгинувший невесть на каком из островов архипелага ГУЛАГ? Было к нему и другое отношение. Весной 1933 года Мандельштам дважды выступал в Ленинграде. Анна Ахматова писала: «Осипа Эмильевича встречали в Ленинграде как великого поэта, *persona grata* и т. п., к нему в Европейскую гостиницу на поклон пошел весь литературный Ленинград... и его приезд и вечера были событием, о котором вспоминали много лет и вспоминают еще сейчас».

О его вечере в Москве писал Н. Харджиев: «Мандельштам — единственное утешение. Это поэт гениальный... Мандельштам держал слушателей, как шаман, целых два с половиной часа. Он читал все стихотворения, написанные за последние два года, в хронологическом порядке.

В них было столько заклинаний, что многие испугались. Даже Пастернак испугался, промолвив: «Я завидую Вашей свободе. В моих глазах Вы новый Хлебников. И такой же чужой, как он. Мне нужна не свобода». (Замечательное признание! — Ю.Н.) На провокационные вопросы придворных поэтов Мандельштам отвечал с высокомерием пленного императора».

И все же не это главное. Мандельштама держало то, что он всегда оставался Мандельштамом, знающим себе цену. Он рос, невероятно рос, понимая свою огромность. В самую страшную пору, когда казалось, что дальше уже некуда, он писал:

И не ограблен я и не надломлен,  
Но только что всего переогромлен —  
Как Слово о полку, струна моя туга,  
И в голосе моем после удушья  
Звучит земля — последнее оружие —  
Сухая влажность черноземных га.

Только графоманы и гении обладают такой вот безграничной — вопреки всему — верой в себя. Мандельштам не был графоман. Когда-то он сказал о замечательном пианисте Генрихе Нейгаузе вещие слова, полностью применимые к нему самому, да они и были выражением его поэтической веры:

Не прелюды он и не вальсы  
И не Листа листал листы —  
В нем росли и переливались  
Волны собственной правоты.

К этой правоте Мандельштам шел семимильными шагами: от туманностей и очарованности своего раннего символизма, когда он не верил в собственную материальность: «Неужели я настоящий и действительно смерть придет?», не верил слову и красоте, заклиная их не воплощаться:

«Останься пеной, Афродита, // И слово в музыку вернись», через вещественный и здравомыслящий акмеизм: «Нет, не луна, а светлый циферблат // Сияет мне, и чем я виноват, // Что слабых звезд я ощущаю млечность», к такому объемному постижению всего сущего, такому охвату его неслыханным словом, что постижение это обернулось зиждательством, возведением собственной вселенной, ничем не уступающей Божьей. Тут нашлось место земле и небу, пространству и времени, историческому прошлому и настоящему, храмам, дворцам, избам, квартирам, человеку горнему и человеку среди утвари, всему мировому напряжению, создающему религию и культуру.

Поэт был для Манделштама строителем. Через всю его поэзию прошло восхищение строением — стихи о Нотр-Дам, Айе-Софии, Реймском, Кельнском, Исаакиевском, Казанском соборах, Адмиралтействе. Иисус основал свою церковь на камне — Петросе, камень — в основе поэтической постройки Манделштама, недаром первую свою книгу он назвал «Камень».

Построив свою церковь и ощутив ее этическую и эстетическую огромность, согласившись принести ту искупительную жертву, которой оплачивается возведение нового Дома Господня, Манделштам не обмолвился, а всей звучной гортанью сказал Иисусово: «От меня будет миру светло».

Автор лучшей книги о Манделштаме, Никита Струве, до этого бесстрашно шедший за ним в его глубь, как Данте за Вергилием по кругам ада, здесь слегка оступился. При другом, подобном же высоком уподоблении, он вдруг тонким голосом завел, что не может же Манделштам с его пиететом к Господу Богу... Может, он все

может, недаром его ненавидели пигмеи. Нет, только так открывается во всей полноте и завершенности беспримерный путь поэта и непреложность его исхода — без воплощения нет Мандельштама. В молодом изумительном, но еще незрячем стихотворении «Лютеранин», далекий от понимания своего масштаба Мандельштам говорил: «Мы не пророки, даже не предтечи». Конечно, он не пророк и не предтеча, он тот, о ком пророчат, кому предтекают. Как и Христос, Мандельштам обладал правом выбора и выбрал путь, ведущий на Голгофу.

Его Голгофа была едва ли не страшней Иисусовой. Муки Сына Человеческого: истязание, венчание терновым венцом, путь под тяжестью креста по нынешней недлинной Делароза — от дома Пилата до Голгофского холма, томление на кресте — завершились в течение дня, а там было снятие с креста, пеленание, положение во гроб и вознесение. У Мандельштама муки растянулись на месяцы, может быть, на год, никто не знает, когда, где и как он умер. Но слухи об исходе великого поэта России ужасны. Кто видел голодного безумца, читающего стихи у лагерного костра за хлебную корку, кто — блокадный призрак, так довел он себя голодом из боязни быть отравленным, кто — задыхающегося доходягу в битком набитом трюме то ли по расчету затопленной, то ли потонувшей в шторме тюремной баржи. Большинство слухов сходится на одном — признаках безумия. А это страшнее всего. «Не дай мне Бог сойти с ума», — молил Пушкин, не боявшийся ни страданий, ни смерти. И никто не протянул умирающему жестом милосердия губку, смоченную в освежающем питье: смеси вина, уксуса, воды. И никто не спеленал

его тела и не положил во гроб. Могилы Мандельштама нет, как нет могил Леонардо и Моцарта.

Иисус на горе Елеонской молил Отца небесного пронести мимо предназначенную ему чашу. О том же устами Гамлета просил Пастернак, хотя угроза ему не была столь велика. Когда Сталин объявил Маяковского «лучшим, талантливейшим поэтом нашей эпохи», Борис Леонидович послал ему благодарственное письмо: Сталин снял с его плеч непомерную ношу считаться первым стихотворцем. Нельзя было устоять перед такой непробиваемой наивностью, и вождь дал указание «оставить в покое этого небожителя».

Для Мандельштама, как и для Ахматовой, настанет час взмолиться о чаше — чтобы мимо, чтобы помиловали. Ахматова сделает это ради несчастного сына холодными «сталинскими» стихами; Мандельштам сдастся измученным глазам «нищенки подруги», перекошенному страхом рту жалкого брата и собственной усталости, он введет Сталина в стихи — мастеровитые, как и все, что выходило из-под его пера, но мертвые. Искушенный в поэзии и сервиллизме вождь не поддался на удочку, сразу увидев, насколько эти чеканные строчки слабее вырвавшейся из сердца хулы про кавказского горца или ходившего по рукам «Фазетонщика»: «Он безносой канителью // Правит, душу веселя, // Чтоб вертелась каруселью // Кисло-сладкая земля...». Поняв, что чаши не избежать, Мандельштам плюнул на все и бодро понес свой крест на Голгофу. Да, бодро, ибо поразительна поэтическая мощь его черных воронежских дней, на такую высоту не поднимался ни он сам, ни какой другой поэт века, да и что может быть выше Голгофы?

В упомянутой мною книге Никиты Струве

найден ключ к такому сложному явлению, как Осип Мандельштам. Во главу своего исследования он поставил понятие судьбы в христианском смысле: не слепой рок, а свободное исполнение человеком Божьего замысла. «Мандельштам,— пишет Струве,— не только не ушел от своей судьбы, он пошел ей навстречу, выбрал ее и овладел ею. 16 строчек о Сталине в ноябре 1933 года никак нельзя рассматривать как случайность, как безрассудное дерзновение: они сердцевина жизненного и творческого пути, его итог и предопределение».

Неужели личная судьба и в самом деле должна подтверждать правоту поэта? Когда-то Кюхельбекер сказал: «Тяжка судьба поэтов всей земли, но горше всех — певцов моей России». Пушкин и Лермонтов сознательно шли на пулю. Их роковые поединки не имеют ничего общего с галантными дуэлями Фердинанда Лассалья и Эвариста Галуа, хотя и тут был смертельный исход. Но одно дело, когда к барьеру ведут правила рыцарской игры, другое — давление жизненных обстоятельств и собственный неотвратимый посыл. Пуля подтвердила поэтическую правоту Гумилева и Маяковского (правотой может быть и расплата за измену поэзии), петля — Есенина и Цветаевой; Блок был заморен голодом с собственного согласия, Клюев сгинул то ли в ссылке, то ли в лагере, та же участь постигла Клычкова, Хармса и Введенского, Пастернака затравили, список можно бесконечно расширять. Случалось в большом поэтическом хозяйстве России, что Орфей выводил из ада Эвридику: трагическая жизнь Ахматовой увенчалась признанием и славой. Но это исключение. Может, потому и не могла так долго состояться поэти-

ческая судьба гениального Тютчева, что великий любовник, остроумец и баловень гостиных не купил ее жертвой? Коли твой голос прорезал смутное многоголосье, вырвался из хора, то подтверди кровью свое право «глаголом жечь сердца людей». Ахматова говорила, что не могла бы пожелать поэту Мандельштаму лучшей судьбы, она восхищалась арестом и ссылкой Бродского: ему делают прекрасную судьбу. Надо сказать, что на западе к поэту подобных требований не предъявляют. Судьбы Вийона, Шенье, Клейста не типичны. Более естественны академические лавры и почести. Нынешние ведущие советские поэты тоже не гибнут, а становятся секретарями СП и лауреатами. Прежде наша родина куда строже спрашивала с лироносцев.

Но даже в ряду отечественных поэтов-страдальцев, поэтов-жертв участь Мандельштама беспримерна. Прежде всего — по сознательности и твердости выбора, именно выбора, а не пассивного принятия. У него не было никаких иллюзий, когда он выбирал, — он встал и пошел...

Попробуем пунктирно проследить путь Мандельштама, смешно посягать на большее в кратком очерке, когда и тома новых исследований (зарубежных) не могут исчерпать этой темы. Даже в прекрасной работе Никиты Струве мне недостает анализа отдельных стихотворений. В тех немногих случаях, когда Струве приступает к такому пристальному разбору, он все-таки недостаточно подробен. И мне вспоминается статья Иосифа Бродского, посвященная анализу одного стихотворения Марины Цветаевой. Адресат стихотворения — Эрих Мария Рильке — ее далекая любовь. Все тут очень личное, зашифрованное и, как мне казалось, безнадежно непрочитыва-

емое. Но вот его коснулся смелый, острый и точный скальпель равновеликого поэта, и стихотворение распахнулось, раскрылось во всю глубину, темные далекие ассоциации высветились, будто вынули драгоценность из запертого футляра, и вот она на твоей ладони сверкает, переливается, играет всеми гранями. И какое наслаждение перечитать отягощенные важным смыслом и теперь понятные строки!

Никита Струве не поэт, а талантливый и добросовестный исследователь и не допускает себя до столь беспощадной и, в прекрасном смысле, наглой пронизательности. А может, это правильный расчет собственных сил: ученый не может посягать на то, что открывается интуиции и тайномыслию поэта. Вот если бы Бродский под добрую руку сделал для Мандельштама такую же работу, как для Цветаевой!

Но обязательно ли расшифровывать Мандельштама, а если нет, то можно ли наслаждаться не прочитанными до конца стихами? Помните у Лермонтова:

Есть речи — значенье  
Темно иль ничтожно —  
Но им без волненья  
Внимать невозможно.

Лермонтов первый в русской поэзии обнаружил, что со словом не все так просто, не всегда оно очевидно, не всегда совпадает с сутью. Вот комический пример тайнозначия слов из «Пиквикского клуба». Мистера Пиквика судят за мнимое нарушение брачного обязательства. Адвокат истицы, вдовы Бардль, хитрый крючкотвор Бацфус опирается на фразу мистера Пиквика, сказанную им вдове: он попросил грелку в постель. Бацфус уверяет, что Пиквик имел в виду не при-

бор для согревания простынь, а саму вдову. Любовники сплошь да рядом называют друг друга чем угодно, только не по именам: рыбкой, ласточкой, втулочкой, почему же не назвать грелкой аппетитную вдовушку? Если отвлечься от данного конкретного случая, то это верно: любовная игра порой такие слова изобретает, какие не снились ни одному заумщику, но ведь любовники отлично понимают друг друга. Значит, слово свободно от изначального смысла, и если поэт принял это в свою кровь, он может говорить на птичьем языке любви, который будет волновать, даже оставаясь непонятным.

Поэтическое движение Мандельштама шло по линии раскрепощения слова, полнейшей свободы ассоциаций, преодоления временных и пространственных рамок. Вот, кажется, последнее стихотворение, написанное в Воронеже, возможно, и вообще последнее:

Как по улицам Киева-Вия  
Ищет мужа не знаю чья жинка,  
И на щеки ее восковые  
Ни одна не скатилась слезинка.

В конце короткого стихотворения — картина ухода из Киева красноармейцев в пору гражданской войны. Завершается все криком «сырой шинели»: «Мы вернемся еще, разумийте!»

Вроде бы все ясно как день, названы время и место, четко обозначены персонажи. Но есть тайна — второй, пророческий смысл. Вот так будет метаться уроженка Киева, вдова поэта Надежда Мандельштам, гонимая за мужа-преступника, по всей стране, не находя нигде твердого пристанища. И так же сухо будет лицо сильной любовью и ненавистью женщины, подчинившей себя одной цели: спасти, сохранить стихи погиб-

шего. Мандельштам это предвидел — он предвидел и куда более скрытое — и соединил горе «жинки» с горем оставляемого неприятелю города, где «пахнут смертью господские Липки» и где он однажды пережил разлуку с той, что стала его женой.

Вершина мандельштамовской поэзии «Стихи о неизвестном солдате» входят в душу взрывами страшных откровений сквозь мучительный туман тайнописи, но последней строфой озаряется весь мрачный громозд апокалипсической картины мира, созданной поэтом. Это перекличка убиенных:

— Я рожден в девяносто четвертом...  
Я рожден в девяносто втором...

В тризну по всем погубленным: в войнах, революциях и мирном душегубстве голодом и статьями, поэт включает себя:

И в кулак зажимая истертый  
Год рожденья — с гурьбой и гуртом,  
Я шепчу обескровленным ртом:  
— Я рожден в ночь с второго на третье  
Января в девяносто одном  
Ненадежном году — и столетья  
Окружают меня огнем.

Он как будто бы знал, что дата его смерти останется неизвестной, как и место погребения, если погребение вообще было, и хочет врезать потомкам в память день своего появления на свет, хотя бы одним краем прикрепить к времени.

После этого затянувшегося отступления вернемся к нашему намерению проследить поэтический путь Мандельштама. Выше приводились строки из его символического стихотворения «Silentium». Не менее знаменито вот это:

Образ твой, мучительный и зыбкий,  
Я не мог в тумане осязать.  
«Господи!» — сказал я по ошибке,  
Сам того не думая сказать.

Божье имя, как большая птица,  
Вылетело из моей груди!  
Впереди густой туман клубится,  
И пустая клетка позади...

Ни одному барду одряхлевшего символизма и не снились такие стихи. Уже в том же году «пустая клетка» заполнилась, да еще как! Н. Гумилев повел отсчет акмеистического Мандельштама от этих вот коротких стихов:

Нет, не луна, а светлый циферблат  
Сияет мне,— и чем я виноват,  
Что слабых звезд я осязаю млечность?

И Батюшкова мне противна спесь:  
Который час, его спросили здесь,  
И он ответил любопытным: вечность!

Вот так досталось отвлеченному Батюшкову от строгого и трезвого Мандельштама, человека точных координат. Боже, как прекрасна эта гениальная игра!

Он сам исчерпывающе и сжато сказал о сути акмеизма: «Прочь от символизма, да здравствует живая роза!» Новую русскую поэзию Мандельштам вел от Иннокентия Анненского, обладавшего внутренним эллинизмом, адекватным духу русского языка. А что такое «эллинизм» по Мандельштаму? «Эллинизм — это печной горшок, ухват, крынка с молоком, это домашняя утварь, посуда, все окружение тела; эллинизм — это тепло очага, ощущаемое как священное, всякая одежда, возлагаемая на плечи любым. Эллинизм — это всякая печка, около которой сидит человек и ценит ее тепло, как родственное его внутреннему теплу».

Он полюбил прочную и вескую материю камня. Воспевал камень, одухотворившийся в собо-

ры и города. Здесь начинается его проходящая через всю жизнь тема Петербурга. Первое в этом ряду стихотворение «Петербургские строфы» посвящено старшему другу Николаю Гумилеву, наставнику, умному, доброму критику, но не учителю. Учителей не было, были предшественники: Виллон, Державин, Батюшков, Тютчев, Верлен. Мандельштам упивается точным и цепким словом. Он зовет своего младшего соратника по цеху поэтов Георгия Иванова:

Поедем в Царское Село!  
Свободны, ветрены и пьяны,  
Там улыбаются уланы,  
Вскочив на крепкое седло...

В этих стихах молодого Мандельштама проглядывает восхищение глупой гусарской юностью, беспечностью и здоровьем, совсем как у старого Льва Толстого, только без оттенка зависти. Я не оговорился, сказав «гусары», — уланы не стояли в Царском Селе, это описка поэта.

Дальше стихотворение приобретает едкую сатиричность в обрисовке обитателей Царского Села: однодума генерала, кичливого князя-офицера и напугавших поэта «мощей» старой фрейлины. Как странно, что многие исследователи считали это стихотворение чисто описательным, холостой тратой акмеистических мускулов.

Мандельштам приветствует «реалии», как сказали бы мы сейчас, американизирующегося общества, раньше других подметив это явление, стихотворениями: «Кинематограф», «Американка» и «Американский бар». Первым после Лермонтова в русской поэзии он обращается к теме спорта. Лермонтов живописал кулачную потеху — русский бокс со смертельным, как положено в России, исходом, Мандельштам — теннис.

Потом и футбол появится. Поэт, у которого полушки за душой не было, восхищается игорным домом — на дюнах казино. В эту пору Мандельштам съездил за границу, хотя до сих пор неясно, где ему довелось побывать. Лучшие из «зарубежных» стихов посвящены Венеции и Риму, но, кажется, до Италии он не добрался.

Если верить стихам — а им надо верить до известного предела, ибо они не дневник, а творчество, — Мандельштам в эти годы упивался жизнью. Носил котелок, стал отращивать бачки. Он позволяет и любви заглянуть в целомудренную келью своей поэзии — «Ахматова». Война 14-го года всколыхнула его поначалу на изящные стихи «Собирались элины войною//На прелестный остров Саламин». Многих разозлило кощунственное в подобном контексте слово «прелестный». Затем он посерьезнел, отдал естественную дань патриотизму, но уже в 16-м году затянувшаяся бойня вызывала у него лишь чувство отторжения.

Очень важным является появление темы Рима в творчестве Мандельштама. Глубокий поклон Риму значил для него обретение христианства. Естественным стало для него и крещение в христианскую веру. Правда, он принял лютеранство, а не православие, но не в силу приверженности к протестантско-бюргерским символам веры, а потому что, будучи российским жителем, не хотел брать на себя культовые обязательства православия — он был религиозным, а не церковным человеком. Кроме того, не хотел упреков в расчетливости.

Он как будто присматривался к лютеранству и католичеству стихотворениями «Лютеранин» и «Аббат». В первом он живописует простые, строгие и легкие лютеранские похороны, чуть

бездушные в своей чинности, что приводит его к безрадостному выводу:

И думал я: витийствовать не надо.  
Мы не пророки, даже не предтечи,  
Не любим рая, не боимся ада  
И в полдень матовый горим, как свечи.

Все горько и справедливо, кроме местоимения «мы», — поэт-пророк напрасно распространяет на себя нашу тусклость и равнодушное смирение перед вечностью.

«Спутник вечного романа аббат Флобера и Золя», спешащий на обед в замок, предсказывает Мандельштаму: «Католиком умрете вы». Наверное, Мандельштаму в его очарованности Римом казалось, что он разделит судьбу Печорина и кн. Голицына. И аббат и поэт оба ошиблись. В недалеком будущем Мандельштам внезапно и резко охладает к Риму и сблизится с Элладой — не с античностью и ее эриниями, а с Грецией, принявшей Христа. Наследницей Греции была для поэта не «бездетная Византия», а Россия и русское православие. Но это все позже, это наполнит новую книгу «Tustia», а в «Камне» Мандельштам поет цезарийский Рим, принявший первых христиан, и папский Рим с троном заместника Бога.

И все же в «Камне» обозначилась новая любовь, что уведет его из Рима, а там и вовсе сотрет в памяти образ вечного города. С великолепной поэтической забывчивостью Мандельштам станет утверждать, что «никогда он Рима не любил». Вот начало стихов, уже и стилистически предсказывающих новый этап поэтической работы:

Бессонница. Гомер. Тугие паруса.  
Я список кораблей прочел до середины:  
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,  
Что над Элладой когда-то поднялся.

А завершает книгу опять же Греция, хотя стихотворение посвящено театру Расина: «Я не увижу знаменитой «Федры». В конце — глубокий задумчивый вздох: «Когда бы грек увидел наши игры...»

Греческие игры Мандельштама, которыми так насыщена «Tustia», начинаются опять же с «Федры», но уже не Расиновой, а той, что в каменной Трезене запятнала трон мужа своего Тезея. Мандельштам обретает не воображаемую, а на ощупь, Грецию в каменистой Тавриде \*, в той части Крыма, что так похожа на Пелопоннес: от Керчи до Судака, с греческой Феодосией, с Коктебелем, чьи низкорослые пыльные акации похожи на оливы и где на берег выбросило обломок Одиссеева весла. Одно из самых его величавых стихотворений посвящено Тавриде: «Золотистого меда струя из бутылки текла...» Завершается оно бессмертными словами: «И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно, //Одиссей возвратился, пространством и временем полный». Ну, а вершина сборника — «Сестры тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы...». Самый сильный мотив этих стихов — расставание. Это имеет почву в биографии поэта: совершилась Октябрьская революция, и началась для него пора разлук и странствий — нищая одиссея.

Но именно в этом сборнике со взором, обращенным вспять, поверх ушедших столетий, поэт начинает соединяться со своим временем, обрести в нем прочную ячейку. При его чувстве исто-

---

\* Кто-то из знающих толк в поэзии говорил: следите за повторяющимися у поэта словами, в них ключ к его сегодняшней душе. Мандельштам не расстается со словом «камень» и производными от него.

рии и пронизательности он не мог впасть в ошибку Блока, увидевшего Христа во главе революционно-уголовного шествия и приговорившего себя к нежизни, когда обнаружил роковое заблуждение, но Мандельштам избежал и слепоты, постигшей таких разных художников, как Иван Бунин и Зинаида Гиппиус, не позволившей им ничего увидеть в происходящем, кроме окаянства. Он принял мрачное величие переворота, его неотвратимость: «Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий//Скрипучий поворот руля.// Земля плывет. Мужайтесь, мужи». Последний призыв он обращает прежде всего к самому себе. И, как известно, внял призыву.

Революция приучила Мандельштама к отъездам, похожим на бегство, к терпким расставаниям: «Я изучил науку расставанья//В простоволосых жалобах ночных». Он был не из тех, кто способен покинуть свою «грешную землю» (и уехать послом, скажем, в Сан-Марино), но, подобно тысячам других сдутых с места жителей, метался по стране, ища хлеба и убежища. Он не умел прокормиться в родном Петербурге.

Эти метания приводили его то в Киев, то в Феодосию, то в Коктебель под доброе крыло Волошина, то в Батум, то в Тифлис горбатый, то в Москву. Почти всюду Мандельштама арестовывали и даже пытались раз-другой расстрелять. За что? За непохожесть, за выпадение из окружающего, за чуждость простому и грубому духу эпохи (он скажет впоследствии: «Нет, никогда ничей я не был современник»); часовым революции и контрреволюции равно казалось, что этот не уместяющийся в привычных координатах человек должен быть изолирован, а еще лучше — пущен в расход, чтоб не смущал взора. Только чудом

спас его Максимилиан Волошин. Но этого человека, боявшегося участка, о чём с удовольствием пишут мемуаристы, в глубь души было очень трудно испугать. И, выпущенный на волю после очередного ареста в меньшевистской Грузии, он пишет о Тифлисе веселые, свободные, хмельные стихи, и никакой завсегдатай духанов не мог бы так прославить шашлычно-винный город у слияния Арагвы и Куры.

В «Тристии» продолжается тема Петербурга, обретая в послереволюционном стихотворении «В Петербурге мы сойдемся снова...» ту трагическую ноту, которая похоронной безысходностью зазвучит в знаменитом «Ленинграде» (декабрь 1930 г.): «Я вернулся в мой город, знакомый до слез». Это уже безнадежность. А пока ему кажется, что «в черном бархате советской ночи// В бархате всемирной пустоты//Всё поют блаженных жен родные очи,//Всё цветут бессмертные цветы».

Обратите внимание на «поющие очи». Это продолжение Дантовой метафоры: веки — губы глаз. А губы поют. Прием — обычный для Мандельштама. Его метафоры часто можно отыскать в почве Вийона, Данте, Державина, Батюшкова, Тютчева, особенно — Лермонтова, которого он называл своим учителем. Цитаты — это цикады, говорил Мандельштам, ими неумолчно напоен воздух. Ты становишься собственником цитаты, введя ее в свой духовный мир.

Следующий короткий этап поэзии Мандельштама не стал книгой при всей своей значительности и завершенности, он вошел как «Раздел 1921—1925» в сборник «Стихотворения», изданный в 1928 году, когда поэт переживал кризис долгого молчания. В этом цикле такие шедевры,

как «Концерт на вокзале», «Умывался ночью на дворе...», «Век», «Нашедший подкову», «Грифельная ода», «1 января 1924», «Нет, никогда ничей я не был современник...», «Вы, с квадратными окошками невысокие дома...».

Могучими стихами свидетельствует Мандельштам о своей растерянности перед постигшим его открытием, что хребет века безнадежно сломан:

И еще набухнут почки,  
Брызнет времени побег,  
Но разбит твой позвоночник,  
Мой прекрасный жалкий век!  
И с бессмысленной улыбкой  
Вспять глядишь, жесток и слаб,  
Словно зверь, когда-то гибкий,  
На следы своих же лап.

Поэту и прежде случалось нередко говорить от первого лица, хотя он не злоупотреблял местоимением «Я», но то не был Мандельштам во плоти и крови, а некий его представитель, которому поэт вручал необходимую часть себя — своей тоски, печали, любви, гнева, напряжения мысли. Здесь он целиком воплотился в «Я» стихов. Это все о себе, о себе единственном, а не о том, кому он доверял право говорить от своего имени или в кого он, резвясь, играл.

Хрупкое летоисчисление нашей эры подходит  
к концу.

Спасибо за то, что было:  
Я сам ошибся, я сбился, запутался в счете.

.....

Звук еще звенит, хотя причина звука исчезла.

Конь лежит в пыли и храпит в мыле,

Но крутой поворот его шею

Еще сохраняет воспоминание о беге с разбросанными  
ногами,—

Когда их было не четыре...

И вот заключительные строки этого страшного стихотворения «Нашедший подкову»:

Время срезает меня, как монету,  
И мне уже не хватает меня самого...

В первый день января 1924 года Мандельштам вновь стал разбираться с веком, умирающим, по его мнению, окончательно лишь сейчас. В щемящей нежности и жалости к нему поэт становится сильнее века-властелина, припадающего к его руке:

...И к млеющей руке страдающего сына  
Он, умирая, припадет.

Но близка и гибель поэта, ибо она в немоте, которой не избежать:

...Еще немного — оборвут  
Простую песенку о глиняных обихах  
И губы оловом зальют.

Он человек, он мечется, пытается уговорить себя: ничего страшного, твою целостность гарантируют малиновый свет аптеки и щелканье ундервуда. «Чего же тебе еще? Не тронут, не убьют». Но в последнем он не очень уверен и поддерживает свой дух иным:

Ужели я предам позорному злословью —  
Вновь пахнет яблоком мороз —  
Присягу чудную четвертому сословью  
И клятвы крупные до слез?

Четвертое сословие — это народ, впервые признается Мандельштам в своей преданности ему — до смерти. Вот она, белеющая солью совесть. Здесь проясняется, что соль, ставшая доминантой поэзии Мандельштама, — это совесть. И она не пускает поэта от своего порога. Он остается — без утешения поэзией. Больное время шелушится советской сонатинкой, и лира со-

временного певца — пишущая машинка способна родить лишь тень былых могучих сонат.

Не исчерпав себя этим пронзительным стихотворением, Мандельштам создает вариант, в котором утверждает: «Нет, никогда ничей я не был современник», но вдруг, смиряя вызов, предлагает «с веком вековать». В стихах этого времени — мучительная раздвоенность и неспособность сделать окончательный выбор.

Еще раз с необычайным для него житейским теплом он вспоминает Петербург. Сегодняшний город дан лишь намеком на грустное запустение: незамерзший, торчащий шучьими ребрами каток и слепенькие — свет вполнакала — прохожие с ненужными коньками, а старый Петербург — добросовестным товаром гончара на канале, мандариновой кожурой Гостиного двора, золотым мокко, смолотым электрической мельницей, докторскими приемными «с ворохами старых «Нив», оперой и бестолковым последним трамвайным теплом. Все такое домашнее, уютное, что вовсе исчезло у Мандельштама, у которого и в быту и в поэзии теперь — ледяной сквозняк.

Великолепным стихотворением «Из табора улыцы темной...» он расстается с поэзией на пять лет. Будет прекрасная проза «Египетской марки», переводы навалом, натужная зарифмованная шутка о глухой, упрямой старушке, путающей Бетховена, Марата и Мирабо, но поэзии не будет. А ведь он находился как раз на середине жизненного пути — так отмерил человеку век возлюбленный им Данте, — в самом расцвете физических и душевных сил. В чем же причина внезапной немоты? Наверное, прежде всего в том, о чем он говорил в «Нашедшем подкову»: ошибся, запутался, сбился с пути. И — это уже

мой домысел — оробел перед тем окончательным выбором, от которого не уйти было такому бескомпромиссному и внутренне свободному человеку, как он. Но он еще отводит свой взгляд от чаши, которую подвигает ему рука Всевышнего. Душу корежили, уводя от главного, газетная травля, злосчастная история с Горнфельдом, жестокая бытовая неустроенность.

Разбужен для поэзии он был в 1930 году — выстрелом Маяковского. Он понял, что с этой властью и этим временем не может быть высокого договора, коли уже безупречное служение, принесение в жертву таланта и сердца не спасает от гибели. И он решился. А тут еще выпала поездка в Армению, ошеломившую его лазурью и глиной, близоруким небом и дикой кошкой царапающей речи; «орущих камней государство» сотрясло его безбожно разбазариваемую на быт, обиды, мелкие схватки, жалкие страхи душу, пробудив великую энергию творчества.

Несколько неожиданно Армения зарядила Мандельштама и социальным протестом. А потребовался для этого всего лишь приставленный к нему чиновник:

Страшен чиновник — лицо как тюфяк,  
Нету его ни жалчей, ни нелепей,  
Командированный — мать твою так! —  
Без подорожной в армянские степи.

Но за ничтожным этим чиновником — давящая сила полицейского государства, заставляющая людей «ходить по гроба, как по грибы деревенская девка!..». В последней строфе он подводит справедливый итог своему путешествию:

Были мы люди, а стали людье,  
И суждено — по какому разряду? —  
Нам роковое в груди колотье  
Да эрзерумская кисть винограду.

Хорошо сказал Никита Струве: «Уезжал Мандельштам незрячим, а вернулся всевидящим».

А вернулся он в свой родной город и вдруг увидел, что это и в самом деле Ленинград, а не Петрополь и не Петербург. И к этому городу он обратился стихотворением, которое так и назвал «Ленинград», хотя обращение сохранил прежнее: Петербург. Он пытается убедить себя, что это все еще его город, «знакомый до слез, // До прожилок, до детских припухших желез», что свет речных фонарей целебен ему, как рыбий жир ребенку.

Но интонация хрупкой бодрости ломается взрыдом:

Петербург! я еще не хочу умирать:  
У тебя телефонов моих номера.

Петербург! у меня еще есть адреса,  
По которым найду мертвецов голоса.

Конец зловеще двусмыслен:

И всю ночь напролет жду гостей дорогих,  
Шевеля кандалами цепочек дверных.

Кого он ждет? Мертвых друзей или уцелевших, или — это куда вероятнее, коль дверные цепочки для него кандалы, — тех дорогих гостей, что являются далеко за полночь и о своем появлении не предупреждают телефонным звонком.

Они явятся в свой час, не в Ленинграде, в Москве, но он их уже ждет, о чем говорят и два маленьких стихотворения, написанных после «Ленинграда».

Помоги, Господь, эту ночь прожить,  
Я за жизнь боюсь — за Твою рабу...  
В Петербурге жить — словно спать в гробу.

И бесконечно грустное обращение к жене:

Мы с тобой на кухне посидим,  
Сладко пахнет белый керосин;

Острый нож да хлеба каравай...  
Хочешь, примус туго накачай,

А не то веревок собери  
Завязать корзину до зари,

Чтобы нам уехать на вокзал,  
Где бы нас никто не отыскал.

Кажется, Николай Чуковский видел их на Московском вокзале, где они сидели на кое-как завязанной корзине в ожидании дешевого пассажирского поезда.

Мандельштам уже согласен на Сибирь, но хочет уйти туда сам, чтобы пасть от руки равного, а не от века-волкодава, кидающегося ему на плечи — сзади («За гремучую доблесть грядущих веков...»).

Органная эта мощь прозвучала у Мандельштама между двумя легкокрылыми печальями: «Я скажу тебе с последней//Прямотой://Все лишь бредни — шерри-бренди,//Ангел мой!» и «Жил Александр Герцевич,//Еврейский музыкант,—//Он Шуберта наворачивал,//Как чистый бриллиант».

До чего же ясно видел Мандельштам свою судьбу! В горчайшем стихотворении «Колют ресницы. В груди прикипела слеза...» он за семь лет до второго ареста и лагеря уже все знал:

С нар приподнявшись на первый раздавшийся звук,  
Дико и сонно еще озираясь вокруг,  
Так вот бушлатник шершавую песню поет  
В час, как полоской заря над острогом встает.

И в разгар этих провидческих наитий он вдруг пишет и печатает (!) невероятное по вызову стихотворение: «Я пью за военные астры, за все, чем корили меня», где дерзко перечисляет ценности прошлого, оставшиеся и поныне достоянием сво-

бодного мира: от музыки сосен савойских до бискайских волн и сливок альпийских, от «роллс-ройса» до масла парижских картин, — веселый и наглый гимн европейской наполненности бытия. Ох и погуляла же критическая дубина по его лысеющей голове!

А ему и горюшка мало, «в нем росли и переливались волны собственной правоты» — высшее, чего может достичь художник. Он лишь просит Анну Ахматову сохранить его «речь навсегда за привкус несчастья и дыма». И она сохранит — навсегда.

В стихотворении «Полночь в Москве...» он, как будто отказавшийся от всякого современничества, точно определяет себя по времени: «Я человек эпохи Москвошвея, — // Смотрите, как на мне топорщится пиджак... // Попробуйте меня от века оторвать! — // Ручаюсь вам, себе свернете шею!» Тут нет противоречия: да, он над временем и он же во времени со всеми его малостями: клоунами Бимом и Бомом, медведем на бульваре (бедняга Топтыгин назван вечным меньшевиком природы), с бутылочной гирькой кухонных часов, но он не предает времени, ради которого «разночинцы рассохлые топтали сапоги». Он примет смерть, как пехотинец, но не прославит «ни хищи, ни поденщины, ни лжи». И он приказывает себе не хныкать, не жаловаться. Он это сумеет, ибо «человек эпохи Москвошвея» стоит над временем — для него эпохи взаимопроникаемы и в городе, где «с дроботом мелким расходятся улицы», к Рембрандту в гости идет Рафаэль, не чающий с Моцартом души в Москве «за карий глаз, за воробьиный хмель».

Похоже, что петербуржец Мандельштам и сам не чает души в Москве, хотя у него нахо-

дится для нее и немало жестких слов. В трех барочно избыточных стихотворениях он, как там ни крути, славит Москву, соблазняющую его «разбойником Кремлем», Воробьевыми горами и рекой Москвой «в четырехтрубном дыме» (МОГЭС); он приветствует молодых рабочих «татарские сверкающие спины» — «Здравствуй, здравствуй, // Могучий некрещеный позвоночник, // С которым проживем не век, не два!». Какая радость существования в этом задыхающемся, почти нищем, безбытном человеке, к тому же точно знающем свой конец.

То усмехнусь, то робко приосанюсь  
И с белокурой тростью выхожу;  
Я слушаю сонаты в переулках,  
У всех лотков облизываю губы,  
Листаю книги в глыбких подворотнях —  
И не живу, и все-таки живу.

И как еще о многом надо ему сказать! Поражает многотемье этой поры — поэт распирает чувство сиюминутной жизни и тревожат тени предтеч: одарив Батюшкова дивной одой, он в другом стихотворении ласкает имена Тютчева, Веневитинова, Баратынского, Лермонтова, Фета и бородатого Хомякова. И вдруг, словно спохватившись, что забыл первую любовь, по-домашнему привечает Державина, а с ним и Языкова, неожиданно соединив эти имена. А там им завладевает Ариост — к итальянцам у Мандельштама особое отношение: Данте его кумир кумиров. Мировое литературоведение не знало ничего равного мандельштамовской большой статье (целой книге) об авторе «Божественной комедии».

Все еще во власти адриатических грез, Мандельштам попадает в Старый Крым. На страницах нашей печати не раз сетовали на заговор мол-

чания вокруг страшной трагедии Украины — голода тридцатых годов, организованного Сталиным для уничтожения мелкобуржуазной стихии крестьянства. Это не так: не молчали А. Платонов и Б. Пильняк, не смолчал и Мандельштам.

Холодная весна. Голодный Старый Крым,  
Как был при Врангеле — такой же виноватый.  
Овчарки на дворах, на рубищах заплаты,  
Такой же серенький, кусающийся дым.

.....  
Природа своего не узнает лица,  
И тени страшные Украины, Кубани...  
Как в туфлях войлочных голодные крестьяне  
Калитку стерегут, не трогая крыльца...

По возвращении в Москву Мандельштам получил неожиданный подарок: комнату в писательском доме по улице Фурманова с готовым стукачом за стеной. Борис Пастернак, приглашенный на новоселье, простодушно порадовался за собрата: «Теперь, чтобы писать стихи, вам не хватает только стола». Никто не умел так раздражать Мандельштама, как Борис Леонидович, что не мешало ему написать лучшие слова о пастернаковской поэзии. Едва гость ушел, Мандельштам в яростном порыве разделался с щедрым даром, молчаливо требовавшим от него ответного поклона. Для этого ему не понадобилось даже стола:

Квартира тиха, как бумага —  
Пустая, без всяких затей,—  
И слышно, как булькает влага  
По трубам внутри батарей.

.....  
А стены проклятые тонки,  
И некуда больше бежать,  
А я как дурак на гребенке  
Обязан кому-то играть.

Какой-нибудь изобразитель,  
Чесатель колхозного льна,  
Чернила и крови смеситель,  
Достоин такого рожна.

Какой-нибудь честный предатель,  
Проваренный в чистках, как соль,  
Жены и детей содержатель,  
Такую ухлопает моль.

.....

И вместо ключа Ипокрены  
Давнишнего страха струя  
Ворвется в халтурные стены  
Московского злого жилья.

Хочется говорить о каждой строке Мандельштама, это поэт без пустот, без проходных стихов, но что поделаешь, и после жизни ему так же скупно отмеряется площадь, как и до смерти. А ведь в эти годы были созданы восьмистишия, где столько природы, где «Шуберт на воде», и «Моцарт в птичьем гаме», и «Гете, свищущий на вьющейся тропе» (слышите свист?), и «Гамлет, мысливший пугливыми шагами»... Тогда же появляется бесподобный цикл памяти Андрея Белого, чьей смертью не слишком жаловавший его при жизни поэт был потрясен. Мандельштам не любил символизма Белого, даже поразительный язык его прозы оставался ему чужд, но именно Белому читал он свой труд о Данте. То был высокий собеседник, а их осталось, увы, немного, живая память целой эпохи, гоголек, заводивший кавардак на Москве, «собиратель пространства, экзамены сдавший птенец, // Сочинитель, щегленок, студентик, студент, бубенец». Без него слишком пресной, прямой и простой станет мысль, а быть может, «простота — уязвимая смертью болезнь»? Вся практика нашей скорбной жизни убеждает, что нет ничего опаснее простоты и кривее прямизны.

По-мандельштамовски не просто и не прямо оплакав Белого, а с ним и свое прошлое, Мандельштам вышел на последнюю прямую, которая скривит его в гибель, произнеся с набатной гулкостью в стране, «взявшей на прикус серебристую мышь» — индийский образ тишины, молчания из другого стихотворения, а по-русски — воды в рот набравшей, все, что он думает о кавказском горце: «Мы живем, под собою не чужа страны»...

Но перед тем он дал себе пережить последнюю бурную влюбленность — в поэтессу Марию Петровых.

Ты, Мария,— гибнушим подмога,  
Надо смерть предупредить — уснуть.  
Я стою у твоего порога.  
Уходи. Уйди. Еще побудь.

Последняя строка — чудо лаконизма; сколько чувств выражено такими скупыми средствами: два глагола, три точки.

На этом кончилась жизнь и началось житие. Напомню вехи: пощечина Алексею Толстому, возможно, ускорившая все остальное, арест, путь по Каме в ссылку, Чердынь, попытка самоубийства, Воронеж.

Жизнь возвращалась медленно, поэзия вернулась внезапно и бурно апрельскими днями тридцать четвертого года, когда пробуждается природа и так сладко пахнут синие пласты чернозема. «Чернозем» — чуть ли не первое стихотворение ссыльного Мандельштама. Нет, раньше было стихотворение, навеянное скрипкой Галины Бариновой, давшей концерт в Воронеже. Музыка всегда была для Мандельштама острейшим переживанием и таким интимным, что он не мог говорить с близкими людьми о своих кон-

цертных впечатлениях. Мандельштам зажался, молчит, уводит глаза — значит, он с концерта. Но мог говорить, будем высокопарны, с Музой. Пробужденный музыкой и землей, Мандельштам исполнился любви к жизни. Стрижка детей, когда «машинка номер первый едко//Каштановые собирает взятки», заставила его почувствовать блаженную полноту мира и свою способность этой полноте отзываться:

Еще стрижей довольно и касаток,  
Еще комета нас не очумила,  
И пижут звездоносно и хвостато  
Лиловые толковые чернила.

Ему надо разделаться с Камой-рекой, по которой он совершил страшное свое путешествие «с занавеской в окне, с головой в огне». Он делает это чеканными двустушиями, особенно поражает последнее:

А со мною жена пять ночей не спала,  
Пять ночей не спала, трех конвойных везла.

Да, потому что конвойные — те же узники, они стерегут чужую неволю, а чужая неволю стережет их. В этом суть тоталитаризма — все связано одной цепью — общим пленом. Мандельштаму достаточно двух строк, чтобы сказать то, на что другому великому узнику понадобился гигантский бухгалтерский поименник «Архипелаг ГУЛАГ».

И вот он уже может бросить тем, кто пытался запечатать ему рот:

Лншив меня морей, разбега и разлета  
И дав стопе упор насильственной земли,  
Чего добились вы? Блестящего расчета:  
Губ шевелящихся отнять вы не могли.

Свою правоту он подтверждает весело и нагло в роде бы шуточным, на деле же глубоко серьезным, пророческим стихотворением, паразитическим для ссыльнопоселенца, живущего Христа ради, поэта, отторгнутого от литературы, печати, читателей:

Это какая улица?  
Улица Мандельштама.  
Что за фамилия чертова —  
Как ее ни вывертывай,  
Криво звучит, а не прямо.

Мало в нем было линейного,  
Нрава он не был лилейного,  
И потому эта улица,  
Или, верней, эта яма  
Так и зовется по имени  
Этого Мандельштама.

Та же мысль на высокой ноте звучит в «Стансах»:

И не ограблен я и не надломлен,  
Но только что всего переогромлен...  
Как Слово о полку, струна моя туга,  
И в голосе моем после удушья  
Звучит земля — последнее оружие —  
Сухая влажность черноземных га!

В жизни Мандельштама стало много пейзажа, он ездит по области и отзывается простору, да и Воронеж — небольшой город — куда ближе природе, нежели Ленинград и Москва, и природа врывается в его лирику дивными стихами про щегла. С тех пор для многих в мире Воронеж стал «страной щегла».

Мой щегол, я голову закину —  
Поглядим на мир вдвоем:  
Зимний день, колючий, как мякина,  
Так ли жестк в зрачке твоём?

Хвостик лодкой, перья — черно-желты,  
Ниже клюва в краску влит,  
Сознаешь ли, до чего щегол ты,  
До чего ты щегловит?

Что за воздух у него надлобье —  
Черн и красен, желт и бел!  
В обе стороны он в оба смотрит — в обе! —  
Не посмотрит — улетел!

Мандельштам сам споткнулся об этот гимн птице — красоте — вечности и создал дивные варианты стихотворения, затем извлек из рукава еще один самоцвет, перенеся любовь на другую чудную птицу — снегиря.

Я помню, как в довоенном Коктебеле Сева Багрицкий, сын поэта и сам поэт, унаследовавший от отца не только дар стихосложения, но и смуглый тембр голоса и умение налить им звучащее слово, читал на террасе волошинского дома эти стихи. «Мои!» — сказал он резко, чтобы прекратить расспросы и доносы, и мы все поняли, чьи это стихи. А потом он читал невероятное о земной оси, которую надо услышать поэту, как последнюю истину. Вон куда уже добрался Мандельштам! Я это к тому, что стихи ссыльнопоселенца звучали в сталинской ночи — не все взяли на прикус серебристую мышь. Сева Багрицкий, погибший на Волховском фронте, не виноват, что в его единственном тощем сборничке, изданном посмертно, оказалось стихотворение Мандельштама.

Воронеж дал Мандельштаму не только новые темы, но и новое мироощущение. Он стал отзываться тому, к чему прежде оставался глух, безразличен.

Он был потрясен фильмом «Чапаев», с влажной простыни экрана ему «в раскрытый рот»

прискакал бесстрашный комбриг. И подвиги арктических летчиков будоражат душу. Льются, льются стихи, как никогда изобильно, будто чернозем проник в его вещество, наградив буйным плодородием. Ему кажется, что возможно сращение с действительностью, и ради этого он готов прийти, «головой повинной тяжел». Но искупление воображаемой вины оказалось невозможным. Он никому не нужен, да и самому ему становится мерзок несовершенство жест раскаяния. Он возвращает себе прежнее скорбное и высокое ощущение своего воронежского бытия.

Еще не умер ты, еще ты не один,  
Покуда с нищенкой-подругой  
Ты наслаждаешься величием равнин,  
И мглой, и холодом, и вьюгой.

В роскошной бедности, в могучей нищете  
Живи спокоен и утешен.  
Благословенны дни и ночи те,  
И сладкогласный труд безгрешен.

Несчастлив тот, кого, как тень его,  
Пугает лай собак и ветер косит,  
И беден тот, кто, сам полуживой,  
У тени милостыни просит.

И наконец он приходит к своей поэтической вершине — стихам о неизвестном солдате, с которых начался наш разговор.

Это жизненный итог, он готов принять свою солдатскую, свою острожную судьбу. Но поэтический ток не иссяк, как никогда звучны его медь, скрипки и орган. Он прощается с морем: «И когда я наполнился морем, // Мором стала мне мера моя», с землей и «клеякой клятвой листов», с прекрасными женщинами, что «сырой земле родные».

Вот хроника последнего года несвободной свободы Мандельштама. В мае 1937-го кончился срок его трехлетней ссылки. В июне его лишили права жить в Москве. Осенью Мандельштамы на два дня едут в Ленинград для сбора денег. В марте 1938-го Литературный фонд дает Мандельштамам путевки в дом отдыха в Саматиху. 2 мая Мандельштама арестовали. Кончилось жите, начались страсти...

За пределами этого очерка осталась блистательная проза Мандельштама: повесть, рассказы, остроумнейшие наброски, приближающиеся к высокому фельетону, статьи, рецензии, лишь упомянуто несравненное исследование о Данте. Поэт проверяется прозой. Проза Мандельштама — продолжение его поэзии, она столь же метафорична, интонационно богата, полна кружащих голову разрывов, неожиданных, ошеломляющих ассоциаций.

Я не коснулся его поэтики, вернее, многих поэтик, ибо Мандельштам чуть ли не единственный поэт, который в движении своего поэтического времени менялся до неузнаваемости. Змея, меняя кожу, остается в той же одежде по расцветке и узору, только новой, с иголочки. Мандельштам, сбрасывая поэтическую кожу, становился совсем другим. Можно ли поверить, что ранняя символистская лирика и, скажем, «Ода Бетховену» или «Стихи о неизвестном солдате» написаны одним поэтом?

Явление Мандельштама неохватно. Мне хотелось лишь сказать своим соотечественникам: братья мои бедные, истомленные вечным поиском хлеба насущного, оглушенные политическим красноречием, задуренные циниками властолюбцами, остановитесь на мгновение, оторви-

тесь от ящика Пандоры — этой смерти ума и примите в душу — что столетие назад в мир пришел великий поэт Осип Мандельштам, которого предали, как Христа, и, как Христа, отдали на муки и страшную казнь. Он взошел на Голгофу, но Преображения за все десятилетия так и не свершилось.

Та звезда, что зажглась на небе век назад, не погасла, как Вифлеемская по исполнении смысла: навести на вертеп, где ежился от холода новорожденный Бог. К яслям Бога-Нахтигалья не пришли с дарами ни цари, ни волхвы, ни пастухи. И ко гробу никто не пришел, да и не было гроба. И звезда продолжает гореть усталым светом в надежде, что те, ради кого он принял муки, заметят ее и поймут знамение. Мандельштам ради всех нас принес свою жертву, ради нас вышел на крестный путь и прошел до конца.

---

РИО МГПО «Мосгорпечать». Москва, ул. К. Маркса, 20

Сдано в набор 15.02.91. Подписано к печати 18.03.91. Формат 70×90<sup>1/32</sup>.  
Бумага офс. Гарнитура «Тип Таймс». Усл. печ. л. 12,25. Уч.-изд. л. 13,24.  
Тираж 200 000 экз. Заказ № 249

Диапозитивы изготовлены в типографии Центросоюз. 107213, Москва,  
Переведеновский пер., 21.

Отпечатано на малом предприятии «Боргес». Москва, 129243, Мало-  
Московская, 21

